ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2012

РОМАН **СЭМА СЭВИДЖА «СТЕКЛО»**

ЯН КАРСКИЙ В РУБРИКЕ «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА»

Основан в 1955 году

[5]
2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Сэм Сэвидж *Стекло.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц

146 *Из современной немецкой поэзии.* Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс

154 Пол Гэллико *Верна.* Рассказ. Перевод с английского Олега Дормана

Документальная проза

170 Ян Карский *Мое свидетельство миру. История подпольного государства.* Главы из книги. Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

Статьи, эссе

216 Жорж Перек *Думать / Классифицировать.* Эссе. Перевод с французского Валерия Кислова

239 Дмитрий Померанцев *Что в имени тебе моем?*

Писатель путешествует

248 Григорий Стариковский *Копенгаген*

Письма из-за рубежа

259 Александр Стесин *Проводы Пятого солнца*

Реплика

270 Александр Ливергант *Инкогнито проклятое, или Дело наше веселое*

БиблиофИЛ

273 *Среди книг* с Ларисой Савельевой

278 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

282

© "Иностранная литература", 2012

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

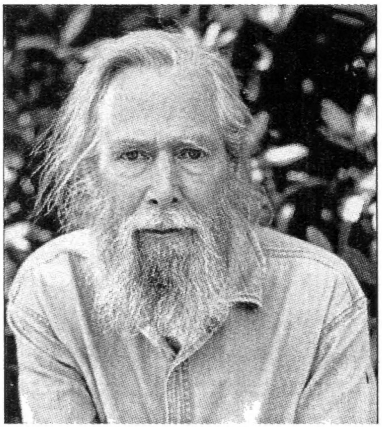
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Сэм Сэвидж



Стекло

Роман

Перевод с английского Е. Суриц

Жаль, выше головы не прыгнешь. Не то нам, как на ладони, открылось бы до чего безнадежно мы озабочены собственными заботами. Что ж, придется довольствоваться теми мыслями, какие у нас есть, и не думать о том, о чем хотелось бы думать.

Джаспер Джонс в беседе
с Деборой Соломон //
Нью-Йорк таймс, 19 июня, 1988.

Всю жизнь я слишком далеко была
от всех,
Я не махала, я тонула.

Стиви Смит[1]

Copyright © Sam Savage, 2011
© Е. Суриц. Перевод, 2012

1. Джаспер Джонс (р. 1930) – американский художник, скульптор, гравер, представитель поп-арта; Дебора Соломон (р. 1957) – американский журналист; Стиви Смит (1902–1971) – английская писательница и поэт. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Я вот все думаю. Я чересчур много думаю, мне еще Кларенс говорил, если я с ним стану спорить, когда он нес разную муть, с ним бывало, с пьяных глаз особенно. Я сейчас не собираюсь рассусоливать, как он пил да как он нес разную муть, я теперь про Кларенса вообще не думаю, просто к слову пришелся, вот и упомянула, а упоминая о ком-то, о нем, естественно, думаешь, исключительно в этом смысле, и все. А вот о чем я на самом деле думаю, так это о путешествиях, но опять же не в том смысле, чтоб суетиться, быть наготове предпринять какие-то, скажем, шаги — броситься на автобусную остановку и прочее, или даже листать цветные брошюрки, — как будто я действительно могла бы пуститься в путь, только пожелай, хоть желать-то как раз я желаю, но смотря что значит "в путь", смотря что значит "желать". Желать в этом именно смысле — значит иметь желание, но притом его не связывать ни с какими предстоящими действиями, безнадежное желание, вот что это значит, наверно. И, по-моему, самое подходящее слово для такого желания — *склонность*, вот. В последнее время у меня все больше и больше *склонностей*, и одна из них — *склонность* к путешествиям, безнадежная тяга, охота пуститься в путь, странствовать, кочевать неведомо куда. Но вот еще подумала и вижу, что даже слово *склонность* тут слишком сильное слово, поскольку обозначает хоть слабенький, но порыв, а он у меня в последнее время уж слишком, уж чересчур слабенький. А на самом деле, если честно, нет у меня желания путешествовать, даже безнадежного и невозможного желанья нет, особенно сейчас, когда я вот только что снова стала печатать. Скорей мне нравится иногда воображать места, какие можно бы посетить, если отправиться в путешествие, что я и делала несколько минут назад, пока меня не отвлекла эта мысль про Кларенса, совершенно непрошенная причем. Я сидела за столиком у окна, за которым я завтракаю и на котором в данный момент стоит моя пишущая машинка. Я и сейчас, очевидно, за ним сижу. Сижу я прямо, расставив локти, ну, только чуть-чуть ссутулясь. Я в голубом платье. Я буду печатать всякую всячину и помимо Кларенса, в том числе и то, что еще взбредет мне на ум, мало ли. Вот говорю, и приходит в голову, что в огромной куче всякой всячины, какой голова набита, Кларенс стал только частностью. А прежде чем это сказать — непроизвольно, я объясняла уже, — я о нем вообще не думала. Столик маленький, круглый, ножки книзу сужаются, пластиковая столешница. Я тут завтракаю, потому что окна выходят на восток и можно перед ними сидеть с чашечкой кофе, когда восходит

солнце. Солнце встает, сияя, над фабрикой мороженого, и свет сияет и течет сквозь большие окна, и я делаю первый скромный глоточек. И часто вместе с этим первым глоточком слова "ведь я этого достойна" приходят в голову и там сияют. Наверно, такие минуты и есть то самое, что называется "маленькие радости жизни". Солнце всходит, фабрика мороженого грохочет, и мне иногда воображается, что этот грохот именно и есть звук восхода, как в стихах у Киплинга, я их в детстве любила, где заря приходит в бухту, точно гром из-за морей[1]. В этой комнате все окна смотрят на восток, но свет сияет и *течет* исключительно в одно, в среднее из трех, одно светлое среди двух темных, поскольку эти два в основном заклеены записочками и кусками скотча, в них солнце только еле-еле сочится, и только несколько косых лучей, пробившись в щели, ложатся на пол яркой лохматой рогожкой. Увидал бы Киплинг, как заря приходит вовсе даже в нашу улицу, причем из-за фабрики мороженого, он был бы не в восторге, я уверена. А то бывают дни, когда тучи напрочь застят небо, и я даже разобрать не могу, где оно, это солнце, и такая на меня нападает тоска, непонятно даже, зачем это все влачить, и, когда пасмурные дни зарядят один за другим без просвета, а в последние годы за ними такое все чаще водится, дела до того доходят, что я могу разреветься из-за пустяков. Под "делами" я подразумеваю в основном свои мысли. Открыла холодильник как-то утром и там не оказалось молока, кажется, ну и подумаешь, а я села и разревелась. Проснулась, а снова дождь. Лежала, слушала, как он шумит, тешилась мыслью, что вот скоро встану, свернусь калачиком со своим кофейком в своем большом кресле у окна, воображала, как буду смотреть на дождь, и так приятно, что сама сидишь в тепле, сухая. И после этого встать в полумраке, прошлепать на кухню и обнаружить, что молоко прокисло и теперь придется либо пить кофе без молока, либо тащиться в лавку под дождем — ну и, естественно, я села и разревелась. В добавление к столу у меня есть кресло и скамеечка для ног, прямо перед креслом, и это, наряду с диваном, книжной полкой, угловой подставкой под телефон и двумя прямыми стульями — они составляют комплект со столом, — вся моя мебель для гостиной, не считая радио — желтого маленького "Сони" на подоконнике, рядом с креслом. Когда сажусь в кресло, ноги я ставлю на скамеечку, мне рекомендовано, из-за отечности, но я не потому их туда ставлю, я их туда став-

1. Редьярд Киплинг. Мандалей. Перевод Михаила Гутнера.

лю потому, что мне так удобно. Сижу, смотрю через бугристые колени на свои ноги, зрелище в последние годы все печальней, из-за этих ветвящихся речными дельтами синих вен. Мне удалось распознать Замбези и Магдалену, кажется, хотя насчет Магдалены надо еще проверить по более подробному атласу. Кресло обито чем-то черным, бархатистым, скамейка тоже черная, но другого оттенка, мои ноги обиты шелудивой кожей и в последнее время стали дряблые, ткнешь, и ямка остается. Когда я была маленькая, как-то папа при мне сказал, что мама в черной мерехлюндии, и я подумала — зачем так говорить, ведь я же вижу, она на аллее, в синем автомобиле. С тех пор мне нравится это выражение, с ним связаны забавные картинки, хоть вслух я теперь его уже не произношу, с кем я теперь говорю, никто не поймет, о чем речь, но, сидя в своем черном кресле, иной раз и вспомнишь. "Эдна в черной мерехлюндии", — так я иной раз думаю. Под теми, с кем я теперь говорю, я имею в виду, с кем пришлось пообщаться за последнее время, то есть молодых людей за стойкой в кафе, официантку в стекляшке, Поттс, ту девицу из агентства, того мужчину в мастерской пишущих машинок, водителя автобуса, больше никого не припомню. Есть у меня и другие знакомые, они бы, конечно, поняли, что значит черная мерехлюндия, но в последнее время я с ними не разговариваю, не то что я с ними не разговариваю в том смысле, что мы в ссоре, просто в последнее время я ничего не говорю в их присутствии — прошлым летом, вот когда я перестала что бы то ни было говорить в их присутствии. Или еще мне выражение нравится — "впадать в отчаяние", как будто ты скользишь, скользишь и не удерживаешься, соскальзываешь, впадаешь в отчаяние. Отчасти в таком смысле я соскальзываю, впадаю в свое большое черное кресло. Есть и другие выражения, похожие — "на грани срыва", "на краю банкротства", "за гранью приличия", "вне пределов порядочного общества" и так далее и тому подобное. Уже по этим выражениям вы легко можете заключить, что на любом поприще нас подстерегают ухабы и ямы. Я причем совершенно не собираюсь оправдываться. Я на службу не хожу с середины января. Как-то рано утром, в тот самый час, когда вообще-то в будний день я кидалась вниз по лестнице, паникуя, что пропущу автобус, я не кинулась вниз по лестнице. Постояла-постояла на площадке и вернулась. Я не раздумывала, о чем тут раздумывать. "Эдна вдруг так и застыла, с абсолютно пустой головой", такое было чувство. Конечно, я кидалась вниз по лестнице мысленно, то есть я хочу сказать, в панике, что опоздаю, не то чтоб физически скакать через

три ступеньки, что в моем возрасте было бы самоубийственно, буквально. И я, когда в последний день была на службе, даже не предполагала, что не вернусь. Толком ничего не уложила, свои замшевые наушники и те оставила болтаться на спинке стула. Сперва звонила каждый день, что, мол, больна, потом в несколько дней раз. Потом и вовсе звонки свои прекратила, дожидалась, когда сами позвонят. Теперь никто не звонит. Я перестала ходить на службу, потому что нет сил как надоело. И просто загадка, как этот аппарат вдруг снова оказался у меня на столе. Я его несколько недель назад сюда поставила. Выволокла из самого дальнего угла чулана, разгребя кучу хлама — книги, шмотки, одеяла, обломки стула — все пришлось вывалить на кровать, чтобы добраться до нее, до пишущей машинки. Как поставила ее на стол, хотела сразу же печатать, даже по клавишам прошлась несколько раз, проверила, нет, не западают, но сразу же я поняла, что лента пересохла. Конечно, этого следовало ожидать, столько лет вещь простояла у меня в чулане, но лично я этого не ожидала, про эти ленты я вообще не думала, а я ожидала на самом деле, что сразу сяду и стану печатать. Даже не помню, сколько лет, наверно, десять, или одиннадцать, раз я живу в этой квартире четырнадцать лет, и через первые года два-три вообще перестала здесь печатать. И вся загадка в том, почему я вдруг решила снова за это дело взяться, снова начала печатать после такого перерыва. Один день я пялюсь в окно, или спокойно жую за своим столиком овсянку, или, как уже упоминалось, я плачу, а на другой день я печатаю, здрасте. Не скажу — весело печатаю, или даже бодро, но ведь печатаю же, аккуратно, с приличной скоростью, соответственно. Когда я еще только переселилась в эту квартиру, я кое-кому писала письма, хоть все трудней было придумывать, что́ бы такое написать, кроме всякой чуши, как поживаете, сама я ничего, соответственно, если, конечно, не оправляешься после гриппа или чего-то подобного, и тогда об этом, ясное дело, упомянешь. Скоро стало ясно, что я ничего не пишу такого, что не уместится на открытке, и я стала посылать открытки, тогда и перестала печатать, поскольку открытка — такая вещь, которая пишется от руки, и, наверно, вскоре я упрятала машинку в чулан, и так рухляди хватает, вечно на нее натыкаешься. Конечно, можно и открытки печатать на машинке. Недостаток в том, что они, во-первых, будут мятые, придется держать их под книгой, пока разгладятся, а во-вторых, печатные буквы гораздо мельче обыкновенного почерка, и на открытке, значит, уместится гораздо больше слов, и зачем же, спрашивается, вместо писем пи-

сать открытки. В итоге придется сочинять всякую муть, чтобы заполнить место, потому, мне кажется, открыток, как правило, никто не печатает. Конечно, можно послать и мятую открытку, ничего страшного, на почте нигде не указано, что нельзя посылать, все равно их там сплошь выравнивают этим прессом для погашения, или как называется эта штуковина, которая волнистые черты вышлепывает на марках. Когда я сказала, что теперь опять печатаю с приличной скоростью — соответственно, я имела в виду свой возраст: я печатаю с приличной скоростью для своего возраста и при таких своих руках. Чуть не сказала, что пальцы у меня, как когти. Но мои пальцы на когти не похожи, хоть они стали тоньше, чем были, и вздулись костяшки. Наверно, у меня руки как руки для женщины в моем возрасте. Рукава моего платья застегнуты на четыре белые пуговицы. В детстве я собирала марки, без особого восторга, но взрослые постановили, что надо собирать. Подчиненные отца получали письма со всего света, и он им велел самые интересные оставлять для меня, не то бы они их отнесли домой собственным детям. Я не любила собирать марки, тем более даже не думала их клеить в синие большие альбомы, которые мне покупал папа, но самые красивые я держала возле постели, в шкатулке красного дерева с вырезанным по крышке корабликом о старинных, о четырехугольных парусах, и я иногда их разглядывала. Больше всего мне нравились марки из стран, о каких я не слыхивала, из дальних углов Британской империи и, главное, из Французской Экваториальной Африки, экваториальной — какое невозможно заманчивое слово! Каждый день меня укладывали на мертвый час, пока я не стала неприлично большая, но вместо того чтобы спать, я, бывало, вынимала марки, разглядывала и воображала, как путешествую по этим местам, катаюсь на слонах, встречаю крокодилов и тому подобное. В общем, не очень помню, о чем именно я тогда грезила наяву, помню только, что подолгу грезила, а когда упоминаю про слонов и крокодилов, это исключительно догадка. В смысле — а почему бы нет? Время шло, и мое положение делалось все более невыносимым. Все чаще я грезила наяву, и не только в мертвый час, и все дольше я бывала далеко. Я была далеко в своих грезах наяву, мне наяву грезилось, что я далеко. Под "положением" я имею в виду свою повседневную жизнь, которая в те поры включала папу и маму. Мне было года четыре, лет пять, наверно, когда я окончательно убедилась, что повседневная жизнь с ними для меня невыносима. Они привели меня в мой первый день в детский сад, "они" в данном случае, это

мама и няня, дюжая немка, которая обо мне заботилась, пока мама кружилась в вихре светской жизни. У нее, наверно, было имя, но если я его когда и знала, то теперь забыла. Слова "Гертруда Клеммер" витают возле самых ранних воспоминаний, но, возможно, это кто-то из книжки. Имя, не имя, неважно, для меня она была няня, и я ее видела гораздо чаще, чем маму с папой. Она от нас ушла, когда мне было шесть, ее сменила череда других, и ни одна не задерживалась надолго. Я, кстати, не уверена, что она была немка, может, голландка. В конце концов, я несколько раз путешествовала по Европе, когда стала взрослая, ездила в Мексику, Венесуэлу, один раз в Восточную Африку, ненадолго, но так я и не добралась до стран, которые были на моих любимых марках. Путешествовать взрослой, со всем грузом взрослости и грусти, оказалось совсем не так сладко, как я воображала, когда была маленькая.

(*пробел*)

Пустое место означает, что здесь я перестала печатать — пошла искать нянину фотографию. Подумала — неизвестно, она немка или голландка, и решила, что надо еще глянуть на фотографию. Смешно, конечно, надеяться, что, глянув на фотографию, можно определить, кто-то немец или голландец, но все равно я пошла искать. В последнее время замечаю, у меня куча ни с чем не сообразных мыслей. Как раньше, я, например, жаловалась, что меня отвлекла мысль про Кларенса, которую я еще обвинила в том, что явилась незванная. На самом деле, вот прикинула, и ведь непонятно, как это мысль *вообще* может быть званной, что, видимо, следует из моих слов. Во всяком случае, я лично едва ли способна призвать какую-то мысль, выдрать ее из огромной кучи всяческих мыслей, если только я ее *уже* не думаю, в каком-то смысле *думаю*, в каком-то смысле *уже*, и, конечно, это скорей не куча, а путаница, клубок, заросли всяческих мыслей, как джунгли. Звать мысль — все равно что подзывать из толпы незнакомца с целью выяснить его имя. Ну, конечно, вы можете его подозвать жестом, или крикнуть, или подойти и дернуть его за рукав, как вы бы, естественно, и поступили, если бы, предположим, кого-то увидели на вокзале и захотели узнать его имя, потому, например, что с виду он такой человек, с каким вам хотелось бы познакомиться. Чтобы мое сравнение было наглядней, вообразите, что подойти к этому человеку вы не можете, скажем, вы калека, или вы дико устали, или вы арестованы и прикованы наручниками к полицейскому. Вы видите этого человека, с каким хотите познакомиться, мо-

жет, он знаменитость, и он бы мог вам помочь, вас вызволить из беды, но вам нельзя привлечь его внимание по каким-то таинственным причинам, мы здесь в них не будем вдаваться, ни помахать, ни крикнуть, ни даже глазами выразительно повращать. Единственный способ, каким вам разрешено привлечь его внимание, это окликнуть по имени, а вот имени-то вы как раз и не знаете и хотите узнать. Приходится, конечно, предположить, что люди рядом с вами, полицейский, доктор, ну мало ли, тоже не знают этого имени, или знают, но отказываются вам открыть, считая, очевидно, что вам вредно общаться с этим человеком, или, может, это им самим вредно для их положения в обществе, если, особенно, вас задержали несправедливо, или они просто вам назло не хотят говорить. Чувствую, я не совсем понятно объясняю. Причем я стараюсь растолковать ту совершенно простую вещь, что насчет призывания мыслей даже вопрос не стоит: они берут и приходят, и все так мудрёно выглядит именно потому, что все чересчур просто. Так, по-моему, часто бывает с простыми вещами, они ускользают, потому что у них нет углов, не за что толком уцепиться. А еще, по моему, будет полезно сравнить разум с улицей: люди, машины, разное всякое, ну, собаки, листья, туда входят, сворачивают, их туда задувает, заносит, клочья бумаги, пыль, например, плюс к листьям, и никакой возможности нет сказать, что еще туда свернет, и за угол нельзя заглянуть, проверить, что на подходе, как-то там, скажем, отогнать, направить, стоя, скажем, на перекрестке и размахивая руками, как постовой, одна машина туда, другая сюда, под машинами причем я подразумеваю, конечно, мысли, а под *туда* и *сюда* подразумеваю — впустить их в разум или же нет. Если так это себе представить, используя самые конкретные образы, сразу ясно, до чего нелепо предположение, что мысли можно призвать. Они приходят, и всё. Тут еще одна вещь с этим связана, и мне она в данный момент не вполне ясна. Возможно, все прояснилось бы, если б я еще немного поразмыслила, но мне дико надоела вся эта тягомотина. Чувствую, я вся раздергалась, а ведь когда начала, решила строго держаться в рамках. В смысле, печатать когда начала. Решила быть краткой и точной, но сразу же повалило, куча разных вещей, нежданно-негаданно, буквально хлынуло, прямо нашествие, и, как я только что окончательно объяснила, совершенно незваных вещей. Тут, правда, следует уточнить, от уточнений, как и от подобных нашествий, никуда ты не денешься: хоть мы не можем призывать мысли наобум, ниоткуда, зато стоит им чуть-чуть замаячить, кончик носа высунуть, что ли, и уже мы можем их выстроить, чтоб постепенно обду-

мывать, распределять, распределяют же номерки в очереди к прилавку. Например, когда напечатала насчет склонностей, на языке вертелось еще много всяких разных вещей, но я их отодвинула, заставила обождать в очереди, пока не кончу про склонности, и только потом уж, конечно, взялась за все прочее, что толпилось в голове, за мебель, скисшее молоко, собирание марок и так далее, вплоть до незнакомца на вокзале. По моему опыту нельзя сразу вытащить несколько номеров, тем более — ну, как ты их дальше распределишь в одной голове. Как сгрудится там слишком много разных вещей, я их записываю на бумажке, не то вообще про них думать забуду. Иногда я эту бумажку приляпываю к окну, чтоб была на глазах. Фотография, какую я искала: мы с няней, у нас дома, в саду. Я думала, я ее сунула в почтовую тумбу, так я называю картонку, куда складываю все письма, какие хочу сохранить, ну и большинство фотографий. В общем-то, я так ее не называю, собственно, вряд ли хоть раз произнесла два эти слова вместе и вслух, разве что, когда мы в Англии были, где так почему-то называют почтовый ящик. Мы там всего три недели пробыли, вряд ли я особенно часто их произносила даже тогда, но вот минуту назад, когда гадала, куда могла подеваться эта нянина фотография, я уж точно подумала: "Видно, она в почтовой тумбе". А иначе с чего бы я взяла, что именно там ее надо искать? Если только, конечно, я зрительно себе не представила эту картонку. Но я уверена, ничего я такого зрительно себе не представила. Часто у меня застревают разные слова в голове, иногда мои собственные слова, иногда чужие, осколки разговоров, обрывки стихов и песен, краткие оповещения типа: "Сейчас я открою окно", перед тем как я открою окно, а чтобы я зрительно что-то себе представила, это очень редко. В картонке фотографии не было. Я использовала ее как закладку, вспомнила, заложила во "Властелина колец", несколько лет назад пыталась читать — в смысле, снова пыталась, когда из-за него такой шум поднялся в связи с этим фильмом, хоть мне показалась такая же скука, как в первый раз, давным-давно, — а когда ставила обратно на полку, я, наверно, забыла вынуть закладку. Да, явно забыла, раз она прямо торчала из книги. Обычно я для закладок использую шнурки, а не фотографии. Помню, Кларенса раздражало, когда я так вот металась туда-сюда, скажу одно, потом другое, другое причем полностью отменяет первое, потому вообще получается как бы чушь, отвлекаюсь в сторону, вместо того чтоб двигаться неуклонно вперед, хоть я бы это не назвала неустойчивостью, что звучит как дряблость и дрожь в коленках. Он это называл шатаньями, а по мне, так это просто мысли,

и всё. У Кларенса ум всегда пер напролом, куда ему надо, а глядя, как я мечусь туда-сюда, он говорил, сбрендить можно. Но если честно, что-то было чуть ли не зверское в его собственных мыслях, если вообще можно их назвать мыслями. Ни намека он не испытывал на те трудности, какие мы, кое-кто, испытываем, в мыслях продираясь вперед. Справедливо будет сказать, что Кларенс не был мыслителем. Собственно, он мог делать то, что он делал, и, кстати, писать, как писал, потому что других вариантов в упор не видел, фразы его топали по страницам, как солдатики, и каждая вооружена опасно активным, острым глаголом. И кой-кому нравилось, да, строевая поступь этих фраз кой-кого влекла за собой, и, как сами эти фразы на марше, его читатели не обязаны были думать, куда идут. Я всегда так оценивала его писательство и прямо сказала бы, если бы кто поинтересовался моим мнением, хотя в "Ночном лесе" фразы далеко не столь кошмарны, как они стали потом. Кошмарны, я имею в виду, исключительно с этой стороны, со всех остальных сторон они, конечно, прекрасны. Наверно, в дальнейшем мне придется прерывать печатание по ряду других причин, не только чтоб искать фотографию няни, и, предвижу, в тех местах я тоже буду оставлять пробелы. Я уже несколько раз останавливалась, прерывалась, так сказать втихую, не додумавшись оставлять пробелы, и теперь не помню, где эти места, и теперь уже ничего не поделаешь, ничего не вставишь. Мне может минутка-другая понадобиться, чтобы что-то обдумать, это одна причина, в таком случае я держу руки над клавиатурой и жду, когда можно будет продолжить, если, конечно, мысли не свернут в прошлое, вообще не запутаются, мало ли, и уж тогда я сложу руки на коленях. Наверно, я уставлюсь в окно, если до путаницы дело дойдет. Если совсем перестану печатать, вот тоже основание для пробела — совсем перестану *на время*, я имею в виду, чтоб чем-то другим заняться, не то что навсегда перестану, кое-чем, кстати, я могу заняться прямо сейчас, не вставая из-за стола: картинку, например, нарисую, или, положу голову на руки и отдохну, а можно что-нибудь съесть, яблоко например, которое тут оказалось. Или я попечатаю, а потом встану, из-за судорог, потянусь, закину руки за голову, потопаю, чтоб прошло. А может, если не холодно и не дождь, потопав и потянувшись, я открою окно и выгляну, обопрусь локтями на подоконник и выгляну, а то даже на ковре несколько часов полежу, как собака. Да мало ли еще по каким причинам можно прерваться, скажем, я обедаю, или пошла в кино, или, может, я сплю, или куда-то отправилась погулять, хотя последнее мало вероятно, как я с самого начала объяс-

нила. Подумывала, не менять ли размеры пробела в зависимости от времени моего отсутствия — чем шире пробел, тем дольше время, — но по зрелом размышлении поняла, что это будет непрактично: бумаги не напасешься, целые кипы уйдут, если я, например, отправлюсь погулять, пусть даже в пределах квартала, я же, как черепаха, ползаю, и какой из меня ходок. И сомневаюсь, что захочу перечислять все свои действия, пока не печатала, не стану же я излагать, вот я встала, пошла по-маленькому, вот я встала, пошла проверить, нет ли почты, и прочее в том же духе. Наверно, увидев эту нянину фотографию, которую я использовала как закладку и сто лет не видела, я решила выволочить машинку из чулана, хоть само по себе это не отменяет загадки, а только на шаг отодвигает назад, к вопросу, почему, после стольких лет, я стала рыться в почтовой тумбе ни с того ни с сего. Роюсь в уме у себя, вот я что делаю. Говорю это, а сама вижу картинку: кто-то весь в смятой газете, кто-то скорей женского пола, если судить по прическе. За окном сейчас у меня тьма. Не кромешная тьма, поскольку живу я на городской улице, где полно фонарей, но, в общем-то, тьма, соответственно. Я включила свет в комнате, верхний свет и настольную лампу у кресла. В последний раз, когда я отмечала нечто подобное, ярко сияло солнце, когда отмечала, в смысле, день сейчас или ночь, то и другое, причем только внешние признаки того, что действительно происходит, а именно движенья планет, вращения земли вокруг своей оси и (для нас) смены дня ночью, ночи днем, что бы там ни случилось. Вот говорю, и представляется мне планета Земля, как она смотрится с Луны на фотографии, которую привезли с того жуткого места — сине-белый стеклянный шарик вертится посреди пустоты. В данный момент она завершила примерно три с половиной оборота, с тех пор как я снова стала печатать. Когда я была в девятом классе, географ нам рассказывал, как в эпоху Возрождения публика приняла в штыки идею о том, что Земля круглая, а не плоская, всех просто потрясла эта идея. Не может она быть круглой, люди говорили, ведь тогда бы все, кто в нижней части, посваливались бы с земли. Учитель смеялся, когда это рассказывал, мол, какие глупые люди, мы все тоже смеялись и думали, я уверена: "Какие глупые люди". И я, конечно, смеялась, но на самом деле не понимала, как же те, кто внизу, не посваливались. Мне и до сих пор это кажется странным. Видно, испортился, что ли, фонарь, вот почему такая тьма за окном.

(*пробел*)

В ноябре, да, по-моему, я получила письмо из издательства, где первоначально напечатали Кларенса, от дамы, которая там работает, забыла имя-фамилию, о том, что они собираются переиздавать "Ночной лес", поскольку на следующий год с тех пор исполнится ровно сорок лет, просто не верится, это ее слова, и не хочу ли я написать краткое предисловие? Ее имя-фамилия была Ангелина Гроссман. Сперва *я* подумала, что ей надо ответить, напомнить о кое-каких печальных обстоятельствах, для меня до сих пор печальных, хотела я ей написать, но, возможно, и для них там, в "Вебстер и Дэвис", поскольку у них было время обо всем поразмыслить. В общем, ответ с отказом, небрежный, может, открытку, может, даже карандашом, простую причем, какие на почте продают, не цветную открытку. А потом я решила, что вообще не буду писать, просто не отвечу, и все, таким образом выражая свое равнодушие и презренье, и я бросила это письмо в мусорную корзинку. А потом оттуда вынула и стала думать. А потом я его порвала. Пока я металась туда-сюда, потом пыталась снова объединить мелкие клочья, причем лента норовила приклеиться не туда, я дико устала, просто была совершенно разбитая. И тут меня стукнуло, что, если я откажусь, они обратятся к Лили, мне назло обратятся, поскольку я в свое время сказала им пару ласковых. Конечно, они бы должны знать, что Лили просто не в состоянии ничего написать, должны бы усвоить, но я вообразила, что они попросят ее наговорить на магнитофон, а потом примут ее этот вариант Кларенса, абсолютно односторонний и убогий вариант, а потом наймут кого-то, чтобы причесал грамматику. Нелепая мысль, конечно, и сам факт, что я ее обмусоливала, говорит о том, как я устала, запуталась и вообще. В конце концов я этой Гроссманше послала открытку с картинкой: медведь. Написала, что не могу (подчеркнуто *не*) написать краткое предисловие, но могла бы подумать о длинном введении или даже, я написала, самостоятельной книге (*самостоятельной* подчеркнуто дважды), и там, конечно, много будет о Кларенсе, но будет не только о нем, но и о моей жизни до и после, а без этого никто не может посягать на понимание Кларенса. Если именно по этой причине пишущая машинка теперь у меня на столе, значит, история чересчур затянулась. Я вытащила машинку из чулана в январе, да, по-моему, когда про письмо и думать забыла, а оно, как я уже излагала, пришло в ноябре или даже в октябре, а теперь у нас апрель.

(*пробел*)

Сегодня сижу-обедаю, и вдруг раздается звонок в дверь. Ну что значит обедаю, нельзя сказать, чтобы я толком ела, в полном смысле уплетала, так, размазывала еду по тарелке, чечевичную кашу из банки, несколько дней назад открыла и забыла, а потом обнаружила в холодильнике, когда сыр искала. Съела довольно-таки большой кусок сыра, пока разогревала чечевицу, и перебила аппетит. Говорю *кусок* сыра, а не *ломтик*, хоть это был ломтик, потому что ломтик звучит слишком бодро, что не вяжется с атмосферой, царившей, пока я его ела, скучной и чуточку грустной атмосферой, да еще я эту чечевицу на плите помешивала. Это был чеддер. Марки не знаю, он мне без обертки достался из центра "Хлеб жизни"[1], где я иногда беру еду, если все свои купоны использовала. В основном сыр именно и беру, когда захожу в этот центр, я не ем их этой готовой пищи, какую развозят по подобным заведениям, рассчитывая, видимо, на вкус типичного бедняка. Ему она, наверно, кажется натуральной. Даже не вспомню в своей жизни такого времени, когда ела, можно сказать, с аппетитом. У меня не хватает жизненной энергии, Кларенс сказал; воли к жизни не хватает, так он выразился. Хотя нет, ой, что́ я, вспомнила, это же я, я сама первая сказала, Кларенс только подтвердил. Он кивнул, да, вот что он сделал, сидя рядом со мной на постели, в доме с желтыми обоями, когда я вернулась из Потопотавока. Если у меня получится книга, придется кое-что пояснить насчет Потопотавока. Да, и зачем я сказала, что *вдруг* раздался звонок. А как еще ему раздаться, спрашивается? Если, конечно, в нем нет особого такого устройства, чтобы постепенно раскочегариваться, начиная от звяканья. Надо было сказать — я *не ожидала*, что раздастся звонок, потому что он давным-давно не раздавался, месяцами, это уж точно, и я растерялась, когда вдруг он раздался, и вообще это *гудок*, строго говоря, какой там звонок. Моя первая мысль была не открывать. Давно, когда еще печатала вовсю, я была на такое способна, я и на телефонные звонки не отвечала, и все говорили, какая выдержка, и все восхищались, не обижался никто, даже на чьи звонки я не отвечала, несмотря на тот факт, что автоответчиков тогда еще не изобрели, и, если вам не ответили, вам приходилось названивать снова и снова, пока наконец не дозвонитесь, чуть ли не день целый угробив на это дело. И все время вы при этом не знали, то ли вам не отвечают, по-

1. Организация при католической церкви для оказания духовной и материальной помощи нуждающимся.

тому что дико заняты, или ужасно больны, или в такой тоске, что звука человеческого голоса не в состоянии вынести. Вы не знали, лично ли вас избегают, или просто человека нет дома, что легко могло быть, с Кларенсом например, вечно он где-то таскался. И трезвонили-то в основном Кларенсу, вот еще причина, почему я не отвечала. Хотя теперь я опять занята, опять печатаю, я еще не освоилась с тем, что я занята, не втянулась, и пока не заимела сопутствующих привычек, например, привычки не открывать дверь на звонок. Иногда я жалею, что у меня нет в квартирной двери такого глазка, куда глянешь и видишь, кто там. Конечно, любой, кто там, может пальцем заткнуть глазок, хотя это само по себе наводило бы на размышления: это может означать, например, что тот, чей палец на глазке, задумал мне сделать сюрприз, даже крикнуть "Сюрприз!", вплоть до того, в ту самую секунду, когда я распахну дверь, можно подумать, я стану ее распахивать перед кем-то, кто заткнул мой дверной глазок пальцем. Я рассуждала о том, что меня побудило бы или не побудило открыть, и неужели я до того раскисну, что открою даже кому-то с пальцем на дверном глазке, понадеявшись, а вдруг это резвится мой старый знакомый, но тут снова раздался звонок. Я подумала, может, это рассыльный с пакетом для меня, хотя это тоже маловероятно, если прикинуть. "Без особых надежд Эдна чуть приоткрыла дверь и обнаружила Поттс из нижней квартиры", — чем дело и кончилось, здрасте. Хоть я с самого начала знала, конечно, что это либо Поттс, либо домохозяин, поскольку Поттс единственная кроме меня сейчас живет в нашем доме, а домохозяин может явиться насчет оплаты квартиры, за которую я толком не плачу с тех пор, как не хожу на работу. Или еще из Агентства, мало ли, кому-то приспичило. Я сейчас не собираюсь рассуждать про Агентство. Моя квартира на самом верху, это третий этаж, Поттс живет этажом ниже. На первом этаже никто не живет. Когда я только въехала, там была страховая контора, но через несколько лет она прогорела, а потом был какой-то избирательный штаб, но недолго, и с тех пор там пусто. То есть в смысле людей пусто. Джиамати, домохозяин, там держит свое барахло. Поттс живет в этом доме давно, почти так же как я, сперва жила со своим мужем, он умер от скоротечного рака, но это уж когда дело было, а теперь одна, с кучей растений в горшках, целым ассортиментом жутких пучеглазых золотых рыбок и ручной крысой. Но все равно мы с ней не сдружились. С моей стороны просто полное отсутствие теплых чувств по отношению к Поттс, даже в смысле тухлых добрососедских чувств. И во-

все не сходятся два одиночества, я заметила. Мы оказываем друг другу мелкие услуги, стараемся не действовать друг другу на нервы, по возможности не сцепляться. Поттс низенькая, толстая, глаза темные, большие, на выкате и маленький ротик, она его открывает и закрывает между фразами, будто их потягивает глоточками, и короткая шея. Вся приземистая, но притом шустрая, и общее впечатление прочности — как такой мелкий прибор, прочный тостер. Раньше у ней была совершенно неамериканская манера курить без рук, насобачилась, дымящая сигарета вечно свисала с нижней губы, даже когда она говорила, сквозь дым мигая слезящимися глазами. Что ей и придавало такой шлюховатый шарм, но его как рукой сняло, сразу же, едва она отставила эту привычку. Она через несколько дней уезжает к сыну в Калифорнию, или это в Техас, забыла, в Юту, возможно, он там инженер-нефтяник. Я ей обещала цветы поливать, уже месяца три назад обещала, потом забыла. У нее несколько сыновей, сколько точно, не знаю, она про них с ходу начинает вдохновенно трещать, как только мы друг на друга наткнемся, обычно на лестнице, а то в продовольственном магазинчике на углу, и я изо всех сил напрягаю внимание. Я снимаю наушники, стараюсь не отвлекаться, не щупать товары, пока она говорит, если мы в магазинчике, не возить рукой по перилам, если на лестнице, но я все равно не сумела ни об одном из них составить четкое представление. Возможно, я не виновата, возможно, они просто такие расплывчатые. У меня бывали знакомые с таким неопределенным характером, что самое смутное представление о них это все, на что ты можешь надеяться. Мистер Поттс был, кстати, такой и вполне мог передать эту свою черту сыновьям. Я назвала того, который в Техасе, если это Техас, инженером-нефтяником, потому что Поттс его так называет, но убейте меня, если я понимаю, что такое инженеры-нефтяники и с чем их едят. Печатая эти слова, я печатала для меня лично полную тарабарщину. Что и показывает, как легко думать всякую чушь, особенно когда ты печатаешь, как легко языку от нас улизнуть, и гуляет он сам по себе, и от молодых он именно что улизнул, по-моему. Мы-то, мы говорили о пиршестве языка, а тут же просто урчанье, гул, ни малейшего смысла. У нас был Пруст, и был Джойс, и мистер Во, любопытнейший, мы за них держались, чтоб не свихнуться, а у этих сплошное комикование или страшилки. И я не знаю, с чего меня вдруг повело на претенциозную муть, ах, видите ли, не сходятся два одиночества. Понятия не имею, они сходятся или нет. И не знаю, какой именно рак доконал мистера Поттса, я к ним не спускалась,

пока он болел, а потом он умер, и тут уж было бы глупо выяснять медицинские подробности. Хотя мне до сих пор интересно, был такой здоровенный, и вдруг, удивительно быстро, превратился в покойника — для рака удивительно быстро, я имею в виду, от сердца можно умереть буквально в два счета. С отъездом Поттс я останусь одна на весь дом. Она держала картонку, полную "скоропортящегося" (ее выражение) — сыр, сельдерей и прочее, бананы в темных точках по шкурке, молоко, открытая пачка корнфлекса. Я хотела взять у нее эту картонку, потянула, но она ни в какую. Прижала к груди и метнулась на кухню. Я осталась ждать на площадке. Поддевала куски облупленной краски и складывала в карманы на юбке, у меня такая черная юбка и карманчики сбоку. Стены сверху покрашены в желтый, а снизу в коричневый цвет, с тех пор, наверно, как здесь жили дети, чтоб не видно было отпечатков ладошек, наверно, и краска вся грязная, даже там, где не облупилась. Через открытую дверь я слышала, как Поттс на кухне вынимает из картонки продукты, плюхает на стол, потом открывается, закрывается дверца холодильника, потом все тихо и, кажется, слышно, как она изучает каждый предмет. Потом выпулила, как крученый мяч от ракетки, и мы вместе спустились поглядеть на растения.

(*пробел*)

Квартира у Поттс точно такая же, как моя, и эркер, и всё, но впечатление совершенно иное — как чулан, загромождено и душно, а у меня полно воздуха и светло. Через несколько минут мне прямо дурно стало от этой сгрудившейся мебели (драпировки, ковры, что-то бугристое, темное), и везде эти растенья в горшочках и разная бьющаяся дребедень. Тесно, затхло, такое вот впечатление. По-моему, она вообще никогда ничего не выбрасывает, за исключением, конечно, отбросов, мусора и тому подобного, ну и сношенных тряпок, наверно. И личные вещи мистера Поттса до сих пор повсюду валяются. Даже спортивные журналы, которые он читал, как безумный, лежат расхристанной кипой на трехногом столике возле кресла-качалки, будто он просто пошел покурить. В прошлом году у меня толчок засорился, так я спускалась вниз, пользоваться ванной. Клетчатый халат, который он надевал, когда утром выскакивал на улицу за газетой, до сих пор висит в ванной на двери, и, я заметила, один карман вздулся от смятых клинексов. Вот уж не хотела бы я, чтобы вещи Кларенса повсюду у меня валялись. Представляю: прихожу домой, может, в темноте, может, полные руки продук-

тов, и оступаюсь о его ботинки. Я бы, конечно, не подумала: "Ах ты Господи, опять эти ботинки Кларенса посреди комнаты!" Я, возможно, и думала нечто подобное одно время, когда он действительно везде раскидывал свои ботинки. Под "одним временем" я имею в виду все время, пока мы были вместе, — в этом смысле, то есть по части ботинок, он был неисправим. Но если бы, когда уже его не было, я так и поостставляла его ботинки по всей квартире, как Поттс обошлась с вещами Артура, оступись я об них, я бы подумала: "Ах ты Господи, это же *осиротелые* ботинки Кларенса!" И мне бы, конечно, стало больно. Когда сюда переезжала, я ничего из вещей Кларенса, ни единой нитки, с собой не взяла. Каждую нашу книгу осмотрю, прежде чем паковать, и, если он на форзаце надписал свою фамилию, он всегда надписывал, когда купит новую, я эту книгу не возьму, оставлю. Открыть книгу и обнаружить его фамилию, это же предсťавляете, как мне было бы больно.

(*пробел*)

Мы постояли перед аквариумом, Поттс мне объясняла, как надо кормить рыбок — рыбки странные, явно с отклонениями, короткие, обвальные тела, глаза выпучены и развевающиеся плавники. Они прозрачно плавали туда-сюда. Она влезла на табурет, сунула руку по локоть в воду и мне демонстрировала правильный метод удаления водорослей со стекла особым скребком, который приобрела специально для этой цели, для меня специально, чтоб пользовалась, когда стекло чересчур зарастает, улиткам не справиться, а рыбки отчаянно метались туда-сюда. Они не метались, в общем. При такой толщине и этих плавниках-переростках как ты будешь метаться, или, тем более, изящно плавать, скорей они толчками дергались взад-вперед, как головастики в длинных ярких шарфах. Когда меня спрашивала, согласна ли я поливать цветы, она про рыбок и не заикнулась, я бы запомнила, если б она говорила про рыбок. Накатала инструкций насчет цветов на целую страницу и про рыбок еще на одну и обе присобачила к холодильнику на магнитах. Мы смотрели на холодильник и вместе читали — в смысле, она читала вслух, а я следила глазами, кивая, не то чтоб мы читали хором. Я ни слова не поняла. Мы обходили квартиру, Поттс впереди, быстро-быстро, как игрушка, которую завели, запустили бегом, а я на несколько шагов приотстав, согнувшись, вся внимание. Я выше Поттс, и я, хочешь не хочешь, увидела, что у нее плешь, ярко-розовый кружок с полдолла-

ровую монету, на самой макушке. Явно, у нее эта история не так давно, уж я бы заметила. Я никак не могла оторваться от этой плеши, все думала, что за симптом, и, может, надо ей сказать, вдруг она сама пока не знает, или не говорить, вдруг она сама это над собой учинила, на нервной почве дергала волосы, мало ли. Я остановилась — заглянуть в крысиную клетку, даже и не клетку, в общем, обыкновенный аквариум, с проволочной крышкой, как аквариум для рыб, — террариум, строго говоря, или, возможно, вивариум. Сперва мне показалось, что он пустой, но потом я разглядела — голый безволосый хвост высунулся из виниловой трубы, которая на боку лежала в опилках. "Найджел спит, — Поттс сказала, — у него была трудная ночь". — "Крысу я на себя не беру", — сказала я. Она просияла: "Ну что вы, что вы, друг по клубу 'Мышь и Крыса' приглашает его *к себе* в дом. Найджел обожает новые знакомства". Растения, которые требуют побольше воды, она сунула в ванну, всю заставила. Я могу их поливать ручным душем, она сказала и продемонстрировала правильный метод, расплескав воду по всему полу. Хоть ванна была заставлена сплошь, еще растения стояли по всем поверхностям, по столам, подоконникам, позади унитаза, в кухне. Когда мы останавливались перед растением, она мне, возле каждого, сообщала название и рассказывала то-сё, в каком магазине его покупала да как один раз чуть не загубила, чересчур увлеклась удобрениями, и прочее в том же духе, причем монолог свой она произносила, вперясь в очередное растение, будто ему все это объясняла, отнюдь не мне. У меня просто уши вяли. Мы кончили обход перед колоссальным папоротником, он взметывал листья фонтаном из огромной кадки, черной, блестяще-керамической, и ростом был мне чуть ли не до плеч. Это, она сказала, последний подарок Артура, он купил его в самый последний день, когда еще настолько прилично себя чувствовал, что был в состоянии выйти, и этот папоротник, она объяснила, помимо регулярного полива, необходимо еще дважды в день опрыскивать. Она взмахнула пластиковым спреем. "Это важно, важно", — причитала она, тряся бутылкой, как увещевающим перстом. Это была ее идея — взволочить свой папоротник ко мне в квартиру, — чтобы я не утруждалась бегать вверх-вниз по лестнице, ее слова, хоть на самом деле, она, конечно, опасалась, что вряд ли я не забуду дважды в день его орошать, постоянно об него не спотыкаясь. Я человек непрактичный, она это знает, конечно, и я не большой знаток природы. Она как-то подарила мне герань, давным-давно, они только-только с мужем сюда переехали. Я куда-то сунула эту герань и ду-

мать забыла, пока в один прекрасный день, уже несколько недель спустя, стала убираться в спальне и вдруг вижу на туалетном столике горшочек, и в нем сучки и сплошная пакость. Мы с Кларенсом нигде подолгу не задерживались, уж какие там цветы, разве что срезанные цветы, разве что под конец, но тут руки уж до них не доходили. Наверно, потому руки не доходили, что мы тогда жили в доме с обоями, где было полно цветов. На обоях, в смысле, было полно цветов, был цветочный узор на обоях. Такие желтые розы.

(*пробел*)

Согнувшись над этим папоротником, руки по плечи в листве, мы вцепились в края горшка, со своей стороны каждая, и его подняли. Тяжеленный неимоверно, а керамика скользкая, и через каждые три-четыре ступени его приходилось ставить и придерживать коленками, чтоб не бухнулся вниз, пока мы переводим дух. Поттс на голову меня ниже, и каждый раз, когда мы поднимали папоротник, он ее мазал листьями по лицу, сшибая на сторону очки. Она их так и оставляла, у нее не было выбора, поскольку заняты обе руки, так и болтались на кончике носа до следующей остановки, а два раза плюхнулись в гущу листвы, и пришлось нам остановиться, и стоять, пока она их ищет, раздвигает листья, вглядывается, косится, будто муху ловит. На площадке мы повернулись и кое-как его протиснули в дверь, я причем, входила первая, пятясь. С кандачка я не могла решить, куда его поставить, и не хотелось, чтобы Поттс у меня торчала, пока мы это будем обсуждать, и я предложила просто плюхнуть его на пол возле стола, и головой повертела, указывая на стол с машинкой, причем я сказала "плюхнуть", давая ей понять, что мне плевать с высокой горы, где он встанет. Тут он и стоит, на полу, прямо возле стола. Я его задеваю локтем, когда передвигаю каретку, щекотно, приходится делать перерыв, чтобы почесаться. Кое-какие листья сломались, видимо, на пути вверх по лестнице, — висят резко вниз, как крылья увечной птицы, — а может, это я их сломала, протискиваясь к своему стулу. Придется его переставить. Сейчас полвторого ночи. Я два часа целых убила на эту Поттс. В промежутках, возникающих то и дело посреди клацанья клавиш (чуть не написала "грома клавиш"), когда я останавливаюсь, чтобы подумать, прежде чем продолжать, (или, наоборот, вернуться, запечатать что-то, утаить под цепочкой ххххх), я замечаю, как все стихло, причем под "все" я подразумеваю город, по крайней мере, часть города под моим окном, хотя раньше кто-то на улице, не уни-

маясь, орал "Марта, Марта". Объясняю про тишину: это смолкнул гул, гул, который длится весь день, захватывая и часть ночи, — гул компрессоров на крыше фабрики мороженого, океанский гул машин на Пряжке, какофония, слитный гул людей и машин внизу, на улице. Я к нему притерпелась, даже не слышу бóльшую часть времени, в холодный сезон особенно, когда окна закрыты, а сейчас они у меня закрыты. Я его слышу, только когда он стихнет. Вообще, получилось типичное не то, я совершенно не так хотела. Сдалась мне эта Поттс, я хотела просто упомянуть ее, походя, что называется, в скобках. "Эдна мимоходом вставила нéсколько слов про Поттс, соседку", — так это предполагалось. Я думала использовать встречу с соседкой, как пример того, что происходит в пробелах, в пустых промежутках. Пример неудачный, сама вижу. Абсолютно не передана вся глубина скуки, которая определяет эти промежутки, которая их, в общем, и заполняет. Я темп ускорила, это раз; а во-вторых, хоть волочить вверх по лестнице этот папоротник было тяжеловато, в смысле, физически, но нисколечко не было скучно. А благодаря ее очечкам даже комично, хоть и не слишком. А вообще, в пустые промежутки ровно ничего не происходит, и, когда пустой промежуток тянется годами, годами, так долго, что ушли бы тысячи белых страниц на то, чтоб только дать понять, насколько это долго, и какая тут скука смертная, а уж часок с Поттс даже отдаленно не даст понять, да, и что я заладила — скука, скука, на самом деле все гораздо страшней.

(*пробел*)

Я с утра пораньше на своем месте. Солнце еще не всползло на крышу фабрики, но уже ходят автобусы, улица забита машинами, по звуку судя, и компрессоры работают вовсю. Если бы сейчас пришлось открыть окна, я бы надела наушники. Под "своим местом" я, конечно, имею в виду свой стол, а еще я бы могла его назвать своим постом, или даже своим последним постом. Здесь я начеку, в засаде, палец на спусковом крючке, на клавиатуре точней, и это последняя линия обороны против тоски. Чуть не сказала: последняя линия *безнадежной* обороны — как Последний рубеж подполковника Кастера[1]. Я прислонила фотографию к кофейной кружке, чтобы разгля-

1. Имеется в виду подполковник американских войск Джордж Кастер (1831—1876), 25 июня 1876 г. погибший при Литтл-Бигхорне в неравной битве с индейцами.

дывать, пока печатаю, — ну, где мы с няней, ту, о которой я собиралась порассуждать, когда вклинилась Поттс, наряду с разными прочими темами. Семь оборотов назад примерно. Вчера ничего не печатала, и позавчера, на то и пустое место наверху. Няня в простом длинном платье с оттопыренными карманами (карманы не такого цвета, как платье), на мне же платьице коротенькое, в сборочку, и карманов не заметно. Фото черно-белое, и мое платье кажется белым, но оно было бежевое, я помню. У меня большие банты в волосах, они кажутся черными, но на самом деле, наверно, они темно-синие, или бордовые — ленты, то есть, темно-синие, волосы у меня были каштановые, а бантов я вообще не помню. Обе мы не улыбаемся. Стоим у одной из высоких шпалер, они окаймляли нашу подъездную аллею, и некоторые по европейской моде были выстрижены в форме разных зверей. Папа давал идею, но остальное — гнуть, подтригать — исполнял садовник, стоя на деревянной стремянке, и папа снизу выкрикивал ценные указания. Зверь в данном случае медведь, кажется. Собственно, медведь скорей в центре фото, мы с няней просто стоим рядом, и зря, наверно, я сказала, что это моя фотография с няней, это фотография медведя, а мы тут сбоку припека. Позади медведя дом, где мы жили, большой кирпичный дом на горе — горы вы на фотографии не увидите — с громадными трубами, их вы как раз увидите, они вдоль фасада, и на крыше купол, но вы увидите только макушку. На этом куполе окна со всех сторон. Сторон этих шесть, не то восемь (сколько в точности забыла), и он похож на верхнюю часть маяка, только в данном случае окна — одна голая видимость, туда ни лестницы не ведут, ни двери. Помню, мы стояли с папой на лужке, и я попросила, отведи меня в купол, а он мне ответил, помню, что туда нет хода. Эркерные окна в моей квартире мне напоминают тот купол, то есть как он выглядел бы изнутри, доведись мне туда попасть. Роскошный сад — статуи, фонтаны, все такое прочее и, как я уже упомянула, шпалеры в виде животных — окружал этот дом. Я совсем маленькая была, когда мы с няней гуляли по саду и нашли мертвого крота. Мы показали его садовнику. Няня в него ткнула носком ботинка (она носила черные шнурованные ботинки, как горничная, как повариха, потому что они были слуги, наверно, потому что мама никогда шнурованных ботинок не надевала), и он подобрал крота и сунул в карман. Почему-то это самое ясное из моих детских воспоминаний: только призадумаюсь о тех временах, и крот — он тут как тут. Железная ограда из черных высоких копьев окружала это, все вместе взятое, — дом, сад, конюшни и так далее. Потом, показывая эти фотографии, я буду гово-

рить, что ограда нужна для того, чтоб звери не сбежали. Кроме детского сада и кори, ничего такого особенного не упомню до самых своих пяти лет, и когда на тропке недалеко от нашего дома на меня напала большая, белая с темным, собака. К счастью, меня спас почтальон, правда, с меня было почти содрано платье. Да, а еще как-то, во время грозы, я пыталась пройти в комнату к родителям из своей спальни по узкому карнизу, он бежал по дому снаружи, и оступилась, и свалилась в живую изгородь, и меня спас мамин шофер, отнес меня в дом на руках, и по сей день запах мокрой листвы во мне вызывает отрадное чувство, меня будоражит, и чуть-чуть даже кружится от него голова, потому, наверно, что он связан с таким моим спасением, правда, зачем мне понадобилось к родителям и почему я не воспользовалась дверью, ума не приложу.

(*пробел*)

Папа был красивый. Пышные пшеничные усы, внушительный подбородок и наступательная походка — если бы стояли у него на пути, вы бы, конечно, посторонились. Именно благодаря этой внушительности и этой наступательности, думаю, он и оказался там, где оказался, то есть он далеко пошел. Мама была хорошенькая. Широко расставленные серые глаза, вздернутый носик, роскошная грудь и тяжелый характер. Она имела склонность к срывам и вспышкам, читала "Вог" по-французски и не сильно мной увлекалась, когда я была маленькая. Папа имел склонность к накоплению капитала, но, когда не осматривал прокатные станы и плавильные печи, он увлекался гольфом, фазаньей охотой, чтением "Нью-Йорк геральд трибюн" и техническими новинками. Иногда, помню, сажал меня на колени и мы играли в лошадки, начинали исподволь, разгонялись, переходили в галоп, и раз както я шлепнулась на пол и в кровь расшибла голову. Это, помоему, у меня самое раннее воспоминанье о папе. Он был настоящий спортсмен, мой папа, и тут я имею в виду, что в спорте его интересовал сам спорт, а не что-то еще, как Кларенса, когда он, Кларенс в смысле, занимался каким-нибудь спортом с целью потом описать, спускался по буйным рекам в резиновой лодке, охотился на крупного зверя, а один раз, например, спрыгнул с аэроплана на парашюте. Красивые, обаятельные, богатые, кажется, ну что еще надо для счастья, но не тут-то было. Такая загадка моих папы с мамой. Когда разглядываю их фотографии в самом начале, где мама, такая, совершенно молоденькая, и думаю о том, чем все обернулось, мне даже не верится. У нас была роскошная столовая,

стол красного дерева, за которым могли, широко расставив локти, есть двадцать человек гостей, но гости бывали редко, из-за, няня говорила, маминых нервов. За едой папа и мама друг на друга глядели с противоположных концов этого длинного стола, и серые мамины глаза метали злые паузы в папу, и папа их ловил в свои громадные усы. Высокая рифленая колонна, хрупкая ваза, вот что такое была их семейная жизнь. Опасно шатаясь в том рискованном пункте, где мамин характер упирался в папин подбородок, она того гляди могла рухнуть и разбиться вдребезги. Мне не полагалось разговаривать за столом, или я сама не жаждала, чтобы, не ровен час, не грохнуть их эту вазу. Так ли, иначе, одним словом, теперь уж неважно, но как вспомню наши обеды, прежде всего меня поражает это молчание: я сижу на витом золоченом стуле, в пучине, разделившей родителей, от каждого далеко-далеко, сооружаю из еды острова и моря, в морях взбиваю водовороты, и спинка стула больно режет лопатки. Когда рассказывала все это Кларенсу, он говорил — да, прямо кино, в том смысле, наверно, что так же шикарно и пышно, но может, вдобавок, что не совсем реально. Несмотря на все свои нервы, мама стремилась вращаться в свете, чаще гораздо, чем мог папа. Теперь, когда в этом копаюсь, я думаю, что именно из-за нервов она и ходила по гостям, чтобы отдохнуть, когда папа слишком сильно на них действовал, он же, как ни старался, не мог не действовать ей на нервы, в точности, наверно, как я, никак я не могла не действовать на нервы Кларенсу, а он, наоборот, мне, и это вообще, я так думаю, загадка живущих вместе людей, близких людей, долго живущих под одной крышей, хотя у нас с Кларенсом какая там одна крыша, без конца мотались из дома в дом, годами, и дома становились все больше и больше, а потом все меньше и меньше, но все равно мы были с ним под одной крышей, мы были вместе. Сначала, когда оказались вместе, мы печатали в одной комнате, за одним столом в квартире, где тогда жили, и это была моя квартира в Нью-Йорке, но потом мы печатали в разных комнатах, если только могли, если были эти разные комнаты и если в них не было холодно, как было во Франции. У нас была куча знакомых художников и писателей в те ранние дни. И мы все свято верили, что станем знаменитыми, но никто не стал, кроме в некотором смысле Кларенса. Он стал знаменитым в том смысле, что среди людей, которые читают охотничьи и приключенческие рассказы в журналах, причем запоминают, кто их написал, и те же самые люди впоследствии купили его роман. Я почти до конца написала одну книгу, перед тем как его встретить, но я никому

ее не показывала, а потом хотела еще одну написать, но она у меня не пошла, как-то меня заело, хотя само письмо стало лучше, и, когда я кому-то показывала отрывки, никто вообще ничего не понял, и все спрашивали, что я этим хочу сказать. Когда жили в Филадельфии, мы печатали на разных этажах, встречались за едой, и когда были гости, и мы сами ходили по гостям каждый вечер, и мы друг другу читали все, что напишем. Я принималась за романы, и они у меня не шли, а Кларенс всё читал и читал мне свои, и я кое-что предлагала и перепечатывала, что он написал, и вот тогда я и начала постоянно перепечатывать. Мы говорили друг другу, что все у нас впереди. И все больше и больше мы говорили только о тех, у кого все впереди.

(*пробел*)

Когда они привели меня в детский сад в тот самый первый день — "они" причем, как я уже говорила, были мама и няня — я только глянула на детей, и множество голов, как мне запомнилось, ужасно громадных, повернулись ко мне, чуть не сказала, "нацелились на меня, как пушки", хоть человеческие головы, тем более детские, на пушки ничуть не похожи. Я только глянула, и сразу бросилась на пол, навзничь, и завизжала, и так каждый день, пока они не сдались. Они решили, что я должна общаться с другими детьми, почему-то считая, что для меня это будет полезно, хотели, видимо, приучить меня к коллективу, хоть слов таких они не употребляли, конечно. Или они надеялись, что детский сад исправит мой характер, а он у меня был кошмарный. Дома-то я переваливалась на живот и визжала, как и до сих пор, как я бы, например, и сегодня перевалилась, и лежала бы, и визжала, если бы меня не сбила машина, утром, например, чуть не сбила, а не надо ходить по улице в наушниках потому что — если бы, значит, машина меня не толкнула в спину, а тут уж не до того, чтоб переваливаться на живот, — если бы, скажем, я все же *могла* перевалиться на живот, когда меня толкнула машина, то я лежала бы и визжала. Думаю, что в тот первый день в детском саду я легла на спину, прежде чем завизжать, исключительно для того, чтобы видеть, какое впечатление произвожу на других детей, правда, теперь уж не помню, какое произвела впечатление. Я тогда так мало знала других детей, что не могла бы в точности определить, какое оно, это впечатление, да и какая, в сущности, разница, смеется ребенок, или он злобно скривился. Если я кого и видела из детей, пока не пошла в школу в Коннектикуте, — кроме родственников, и то изредка, ну, и еще какие-то проплывали в окне маши-

ны, когда няня меня брала покататься, — так это ирландских и итальянских мальчишек, у которых хватало духу взобраться на гору, чтоб поглазеть на наш дом. Все стриженные под ноль — из-за вшей, мне сказали, — и уши торчат перепендикулярно, буквально. Железные прутья нашей ограды были так расставлены, что головы застревали, из-за этих ушей, и мальчишки стояли, громко выли или тихо постанывали, пока их садовник не вызволит, крепко надавив сапогом на макушку, после чего они разбегались, зажав руками уши. Я раньше любила рассказывать, что папа изобрел такую ограду специально, чтоб ловить детей, но это едва ли правда. Зато правда, видимо, то, что мои родители, ни папа ни мама, не любили детей. Присылайте главу, Гроссманша написала в ответ, там посмотрим. Прочла я это дело и думаю: да вы что? когда это жизнь делилась на главы? Кларенс иногда говорил, что пора начать новую главу. Или он говорил — перевернуть страницу?

(*пробел*)

Хорошо бы выбраться из этой квартиры, в кино пойти или в парк. Сто лет в кино не была, несколько месяцев, это уж точно, поскольку была зима. Причем парк, в данном случае, совсем не такое зеленое место, где приятно бродить, как можно себе представить, исходя из того факта, что оно называется парк, — "карликовый парк", вот что, строго говоря, это такое. Огороженный в основном, асфальтированный треугольник между двумя вкось пересекающимися улицами, и там одно дерево, четыре скамейки, и цветы на узком газоне у ограды с одной стороны, в данный момент анютины глазки и нарциссы. Рожковое дерево, которое сюда осенью пересадили, еще не пустило листков. Может, погибло в течение зимы. На том же самом месте клен посадили два года назад, так он погиб. Рожковое дерево росло у задних ворот родительского дома. И все, по стволу даже, было в мерзких длинных шипах, а у этого, в парке, шипов нет никаких, вообще. Сорокопут, прозванный птица-мясник, насаживает свою жертву на шип. Он насекомых ловит, и ящериц, и мелких пташек, сожрет, сколько влезет, а остатки оставляет на шипе, про запас. Мы смотрели наверх, на голые ветки рожкового дерева, и ствол был в шипах, и Кларенс мне рассказывал про застольные манеры сорокопута. Дело было в Миссури. Тротуар у нас под ногами сплошь застлали желтые крохотные листочки, ковром. А, когда это было. В данном парке нет таких птиц, одни голуби и воробьи. Если сегодня туда выберусь, не забыть бы зонтик.

Много-много страниц назад, когда рассказывала, как выволокла из чулана машинку, я упомянула, что лента пересохла, — упомянула и перескочила на другое, со мной бывает, да так и не рассказала, что я предприняла по этому поводу. Сейчас мало где продаются ленты для пишущих машинок, в нашем районе, я выяснила, для моей машинки вообще ничего подходящего нет, и вот, по совету одного продавца в одном магазине, я на автобусе, точнее, на двух автобусах, переехала через реку в те места, где никогда не бывала, где куча низеньких домиков, я их приняла за склады, и на улицах сплошь цветные, так что, пялясь в слепые от дождя окна, куда ж я попала, думаю, это ж другая страна, а потом еще несколько кварталов я перла пешком под зарядившим дождем до магазина, где, тот человек сказал, продаются машинки. Ну, думаю, видно я спутала адрес. И когда добралась наконец, увидела магазинчик, который, за исключением плакатика в духе пятидесятых в витрине: девица (плиссированная юбочка, жемчуг на шее) сидит за машинкой — со стороны показался старомодной продовольственной лавкой, и больше ничего. Под плакатиком дремал большой серый кот, на сложенной толстой фуфайке, по-моему. Толкнула дверь, стою и жду, когда поднимет глаза от журнала человек за прилавком — такой старый, толстый, в плотном свитере. Под свитером, по-видимому, у него была надета рубашка с чем-то крупным, бугристым в карманах, такой он был весь шишковатый, или это из-за какой-то жуткой болезни. Вот он наконец-то поднимает глаза, и я вижу, до чего он усталый. Подходящей ленты у нас нет, он говорит, оглядев мою ленту. Единственное, говорит, что могу для вас сделать, это предложить от машинки другого бренда ленту, но той же ширины, поскольку только ширина и имеет значение. Вам надо будет смотать эту ленту со старых катушек и перемотать на катушки своей машинки, он говорит. Это, в общем, был даже не магазин, или не магазин главным образом, а главным образом это была мастерская по починке машинок. С десяток примерно машинок, видно, их оставили тут чинить, выстроились на металлической полке по стене за прилавком, и с каждой на витой проволоке свисала картонная бирка. Пока продавец где-то там сзади мне подыскивал подходящую ленту, я налегла на прилавок и шею вытянула, но бирки в основном висели чересчур высоко или не той стороной, и фамилии я не могла разобрать. А мне интересно было разобрать, ведь я никого не знаю, у кого бы до сих пор машинка была — кто до сих пор на ней печатает в

смысле, а не то что она у него в гараже или на чердаке завалялась, таких-то, видимо, пруд пруди, — была бы родственная душа. Я только на двух бирках разобрала фамилии. Одна бирка свисала с огромной светло-зеленой Ай-би-эм, электрической машинки, такие под конец наблюдались на каждом шагу, в офисах в смысле на каждом шагу, а не в частных домах, в частных домах я их как раз вовсе не наблюдала. Такая громадная, я даже удивилась. Поднять-то я бы ее подняла, но не смогла бы втащить по лестнице, живи я на верхнем этаже. Я живу на верхнем этаже, но, я хочу сказать, живи я на верхнем этаже и будь я хозяйкой такой громадной машинки, мне бы ее ни за что сюда не втащить, и пришлось бы менять на что-то поменьше. Правда, поменять ее было бы, конечно, пара пустяков, поскольку Ай-би-эм одна из лучших машинок, *считается* одной из лучших точнее, поскольку я вовсе не намекаю, что якобы убедилась на собственном опыте. Конечно, всегда можно кого-то нанять посильней, чтобы ее втащить, хотя это же каждый раз бы пришлось нанимать, когда ее отдаешь в починку, правда, с Ай-би-эм такое бы не часто случалось, а может, и вообще никогда, но, с другой стороны, иногда ведь случается, явно, не то откуда здесь взяться этой машинке? Судя по бирке, хозяин ее некто Г. Пул. Когда говорю, что не имею собственного опыта с машинкой такой модели, я имею в виду, что мне не приходилось долго на ней печатать, достаточно долго, чтоб убедиться в ее надежности, зато у Бродта была именно такая, он на ней ежедневно печатал отчеты, и пару раз, когда он болтался на верхних этажах, я подходила к его столу и на этой машинке печатала. Я сразу прикинула, что на бирке должна быть фамилия мужчины, исходя из размеров машинки, хотя, конечно, это с тем же успехом могла быть и фамилия сильной женщины, или женщины с сильным другом, даже почему обязательно сильным, а то и женщины с совершенно обыкновенной в смысле силы подругой, если хорошенько подумать, они бы могли ее вместе втащить по лестнице. Мы с Поттс могли бы втащить ее вместе по лестнице, мы бы за нее взялись с двух сторон, мы же папоротник втащили, и на каждой ступеньке мы бы останавливались, чтоб отдышаться. Еще одна фамилия, которую я смогла разобрать, была на бирке при совсем старинной машинке, до того уже древней машинке, что я даже удивилась, неужели кто-то на ней до сих пор печатает, но, выходит, печатает когда-никогда раз ее сдали в починку. Спереди была надпись *Ундервуд*, золотым изысканным шрифтом, до того облезлым, стертым, что, не знай вы случайно, что это знаменитая фирма машинок и фамилия основателя, вам бы в жизни не дога-

даться, что там такое написано. Эта машинка оказалась собственностью кого-то с длинной фамилией, теперь забыла. Фамилия была Понятовский, я хочу сказать, хотя, конечно, это с тем же успехом могла быть совсем другая фамилия, тоже длинная и непонятно откуда выскочившая. Пока я разглядывала машинки и думала все, о чем сейчас упомянула, хотя, очевидно, не в этих именно словах, поскольку я в тот момент не печатала, просто думала смутно, стараясь прочесть фамилии на бирках, а минут через пять даже и не стараясь прочесть, только пусто на них пялясь, пока продавец, я уже упомянула, шарил где-то сзади, подбирая для меня подходящую ленту. Я слышала, как он чем-то шуршит. Наружность у него была малоприятная, но я старалась не настраиваться против него, старалась из-за машинок. Глазки маленькие, одутловатый, дерганый, и напомнил он мне мелкого противного зверька, хомячка, что ли. Он, правда, был лысый, качество, которого не ожидаешь от хомячка, если только это не больной хомячок. Но больным он мне не показался, показался недовольным, да, но людей с недовольными физиономиями пруд пруди, так что это не отличительная черта. В полицейском рапорте, например, о ней даже не стали бы упоминать. Когда вас разыскивает полиция, какая еще у вас может быть физиономия? Испуганная, наверно.

(*пробел*)

Казалось бы, приходит человек в магазин и просит ленту для пишущей машинки, предмет почти никому в наше время даром не нужный, — ведь сам этот факт располагает к взаимопониманию. Я, со своей стороны, излучала максимум тепла, какой только можно излучать во время сделки подобного типа, и даже несколько раз воскликнула “изумительно”, когда он меня учил перематывать его эту новую ленту на мои старые катушки. На самом деле, я только бормотала, я человек не восторженный, даже наоборот, и восклицать “изумительно” выше моих сил. Я тем не менее из-за машинок готова была полюбить этого человека, несмотря на его неприятную хомячковую внешность, если бы он хоть чуть-чуть утрудился быть полюбезней — полюбить в смысле издали, как любишь людей, у которых что-то покупаешь на постоянной основе. Я, например, раньше всегда с удовольствием ходила за яйцами и молоком в мой маленький магазинчик из-за толстухи за кассой, которую знала годами, хотя на самом деле с ней двух слов не сказала, только “здрасте” и “спасибо”, и то иногда, причем что значит знала, когда речь о людях, знать в полном

смысле слова вообще никого нельзя. Звали ее Элви, это я знала, слышала, другие так обращались, и она выросла на молочной ферме, я как-то подслушала, она рассказывала одной, передо мной в очереди. Нет, не того я ожидала, когда увидела этот плакат в витрине, и вошла в дверь, и увидела эти машинки со старомодными картонными бирками и объявление на стене ПОЧИНЯЕМ ВСЕ МОДЕЛИ; я ожидала встретить родственную душу. Я изучала лицо продавца, пока он мне выписывал чек, и ничего подобного, даже ни малейшего намека ни на что подобное я не увидела. Тут был человек унылый, удрученный, который, ничего не попишешь, недоволен своей судьбой. Чего и следовало ожидать, конечно, от того, кто посвятил свою жизнь пишущим машинкам, то есть уходящей натуре, уходящей прямо у него на глазах, как ни старайся он этот процесс задержать, уходящей, вдобавок прихватывая с собой, можно не сомневаться, все его сбереженья, а тут еще больная жена, оплата врачей и так далее, и я изо всех сил старалась ему сочувствовать. В конце концов, я тоже посвятила свою жизнь пишущим машинкам, пусть в ином несколько плане. Ну ладно, я и тут не ставлю на нем крест, заказываю две ленты. Говорю, что их мне, наверно, на год хватит, и еще прибавляю: "Через год увидимся", и улыбку из себя выдавила. Мы же, в конце концов, преданы пишущим машинкам оба, как же он-то не понимает? Боюсь, у меня был даже заискивающий вид. "Приходите, мадам, через год, — он говорит, — вам прическу сделают". Он увидел, как я обомлела. Я, по-моему, подняла руку и пощупала свои волосы, да, лохматые, из-за ветра, они у меня лохматые и совершенно седые, только несколько жидких прядок потемней, почему-то пока еще есть. Он объясняет: "Тут будет салон красоты". — "Значит, вы закрываетесь?" — спрашиваю. "Закрываемся", — и так, со значением. Даже со злостью. "Мало заказов, наверно?" — это я все еще пыжусь. "Как на сохи". — "Не поняла, простите?" — "Пишущие машинки, — он объясняет, — они теперь так же нужны, как соха для вспашки". Интересно, а он заметил, какие грязные стали окна в его лавчонке, хоть я сама только в эту минуту, только когда все мои потуги его полюбить окончательно потерпели фиаско, только тут я заметила, какая здесь грязь. Даже пишущие машинки заросли пылью, будто бы люди, которые их здесь поостaвляли, за ними никогда не придут. Чуть не написала "*вдруг* заросли пылью", чтоб точней передать свои ощущения в ту минуту, точней передать в смысле, как в ту минуту все разом и вдруг изменилось, но побоялась, что меня неверно поймут. Посмотришь на что-то, когда ты в одном настроении, а потом смотришь, когда уже

ты в совершенно другом, и впечатление совершенно другое. Прямо у тебя на глазах вещь меняется, как на сеансе иллюзиониста. В свои тяжелые дни, если мне, допустим, позарез надо выйти из квартиры, и я наконец все равно из нее выхожу, я как бы совсем на другую планету ступаю, чем бывает эта планета в мои хорошие дни; даже листья на деревьях другого оттенка. В плохие дни я не говорю "здрасте" и "спасибо" тетке в магазине, и глаза бы мои на нее не смотрели, до того она гнусная. Я это к чему веду, а к тому, что я и вправду заметила, что машинки вдруг заросли пылью. Я попросила еще две ленты. Не знаю, с чего я взяла, что четырех мне хватит. Я тогда даже и не сказала бы, на что именно их должно хватить. Втиснула все четыре коробочки в сумку, сломала молнию. Дождь перестал, но ветер был холодный и дул мне прямо в лицо по дороге обратно к автобусу. Я шла, прижимая к груди сумку. Устала, по скольким я магазинам шастала, уже на двух автобусах ездила, и домой я поехала на такси, хоть теперь уже я не могу себе позволить такси. В Париже мы чуть что садились в такси, разъезжали без зазрения совести. Тогда такси были в основном старые такие черные "ситроены", и дверца для пассажиров открывалась вперед, чтоб удобней влезать-вылезать. Если описывать мою жизнь в Париже единственной фразой, то получится "влезать-вылезать из такси". И создастся впечатление, что я там как сыр в масле каталась, а на самом-то деле мы в Париже пробыли меньше месяца, и все время, все время я там терзалась.

(*пробел*)

Я сидела за кухонным столом и решала кроссворд. Самое начало десятого, город еще грохочет, а на кухне потише, подальше от улицы. На мне были мои очки в золотой оправе, которые с узкими прямоугольными линзами, очки для чтения якобы, но теперь я читать уже не читаю, так что это у меня очки для кроссвордов. Я согнулась над газетой и то и дело нервно постукивала карандашом по краю стола, это, видно, у меня манера такая, когда решаю кроссворд, — отвратная манера, Кларенс говорил, если он пытался писать, а я стучала, — как вдруг раздается звонок в дверь, я даже вздрогнула. Думаю — ну, на сей раз точно Джиамати, и уже представляю себе, как он стоит на площадке толстый, красный и задыхается, но это опять была Поттс в черной блестящей пижаме, босая и с виду вот-вот ударится в слезы. В прямоугольнике света из моей двери стоит, воздев руки ладонями вверх, — молитвенно, так это замышлялось, уверe-

на, она же у нас ретивая католичка, — хотя мне она больше напомнила пляжницу, нацелившуюся на большой надувной мяч. "Эдна, — она говорит, — я должна вас просить о великой милости. Мне *ужасно* неловко. Сами понимаете, как мне неловко, и я вас ни за что бы не побеспокоила, будь у меня хоть еще кто-нибудь, вообще". Я снимаю очки, она вдвигается в фокус, смотрит на меня своими жидкими, как у бассета, глазами в надежде на чудотворный прилет сладостно-красного пляжного мяча. "Милости?" — отзываюсь, как эхо. И, возможно, я вздернула брови, не знаю. У меня такая манера, брови задирать, особенно правую бровь, но я сама не всегда отдаю себе в этом отчет. "Просто себе не представляю более отвратного жеста", — Кларенс как-то отозвался по поводу моих бровей, хоть жестом я бы этого не назвала. И зря она бросается такими словами. Поттс как будто прочла мои мысли, сморгнула. "Он не придет за Найджелом, — и буквально в слезы. — *Сказал*, что придет, а сам не придет, *нет*". Протянула это *нет*, вытянула, раскатала, сплющила аж до тихого стона, а потом она вдруг делает шаг вперед и обеими руками цапает меня за руку. "Помогите мне, Эдна!" Я в ужасе пячусь, выдергиваю руку. "Ну, хорошо", — говорю. Я даже сама удивилась, до чего у меня сухой, замороженный голос, просто надменный, и я себя переборола, смягчилась. "Не волнуйтесь, — говорю, — что-нибудь придумаем". Я терпеть не могу сцен и чувствую вдруг, как во мне прямо поднимается раздражение, жжет и давит в груди. Раздражение, неловкость. Стою, вся зажатая, мне ужасно не по себе. Она уселась на мой стул для печатания и хоть бы глянула на пишущую машинку, на листы на столе, ну и на полу кой-какие. На пижаме серебряные полумесяцы по обшлагам. Выкрасила ногти на ногах в красный цвет. Я села в кресло, голову свесила, зажала руки коленками, вслушиваюсь вовсю. Что-то такое типа прощения и предательства, дружбы и долга, и о правилах крысо-мышиного клуба; разветвлений тысячи, всё путается, но суть ясна: у нее нет никого, кто бы взял на себя заботу о крысе. Я встаю с кресла, делаю первый шаг. Она следит за мной глазами и все говорит, говорит. Я через всю комнату подхожу к окну. Смотрю в окно. Разглядываю машины. Изо всех сил стараюсь слушать. Издаю какие-то мелкие звуки, выражаю, в смысле, согласие, сочувствие, интерес, все что ей угодно. Правда, скоро я уже не в состоянии, я не могу, отвлекаюсь, надеваю, фигурально выражаясь, наушники. Голос сзади выравнивается, жужжит: невыключенное радио, кто-то на телефоне в соседней комнате, и вообще — какое мне дело. Я резко оборачиваюсь. Поттс смотрит на меня, теряет-

ся, смолкает. Я подхожу прямо к тому месту, где она расселась, нависаю над ней. Говорю, что прошу прощенья. Что я устала, мне пора спать. Она говорит, что ей лететь завтра утром, день рожденья внука, билет возврату не подлежит. И я бросила ей этот мяч, и мы взволокли крысиную клетку наверх, держась за нее с двух сторон. Она не такая тяжелая, как папоротник, но, взбираясь по лестнице, нам пришлось ее накренить, и крыса вывалилась из своей пластиковой трубы. Опилки сбились в кучу, ее засыпали. Она бьется, брыкается, разбрасывает опилки, а они опять на нее ссыпаются. Брыкалась она отчаянно, поднималась, снова соскальзывала на стеклянный пол своей клетки. Конечно, лучше бы Поттс, со своим росточком, шла впереди. Мы поставили эту клетку на пол, рядом с папоротником, и крыса юркнула в свою трубу. Поттс подняла проволочную крышку, разравняла рукой опилки, потом пошла к себе и снова возникла с ведерком сухого корма и мешком для мусора, набитым опять же опилками. Пыталась мне деньги всучить. Я уклонилась и, рассыпаясь в благодарностях, она ушла. Я втащила мешок и ведро на кухню. Крыса вылезла из своей трубы, теперь стоит на задних лапах, передними опирается о стекло, смотрит на меня. Такая пятнистая крыса, черная с белым. У Поттс, за те десять лет, что она живет подо мной, перебывало несколько крыс разных тонов и оттенков, причем ни одной веселой или обаятельной, все, на мой взгляд, довольно отвратные, особенно их ноги, они всегда розовые и всегда напоминают, жуть такая, крохотные человечьи ручки, ручки крохотных человечков. Все они всегда умирали года через два, и были горючие слезы, а через пару дней новая крыса.

(*пробел*)

Поттс не удосужилась мне сообщить, что ее крыса ведет ночной образ жизни. Мне бы и самой догадаться, конечно, после тех крыс в Мексике: когда мы жили в Мексике, два месяца, как-то летом, крысы бродили по ночам, где им вздумается. А еще, было дело, здесь тоже спасу не было от шумных ночных мышей, пока Джиамати не прислал человека, тот разложил яд — аж плинтусы отдирал и туда яд засовывал, — и с тех пор я ни единой мыши в глаза не видела. Не знаю, много ли сегодня смогу напечатать, в таком состоянии. Так я себя чувствовала в последние месяцы перед Потопотавоком, даже когда солнца не было. Может, даже устала — не то слово. Пустая, выпотрошенная — вот это слова. Я уже почти заснула, и тут началось: сперва робкий легонький

треск, будто спички кто-то ломает, потом сухой хруст, как попкорн едят, потом кто-то скребется, потом шуршит, как ветер сухие листы гонит по тротуару, потом надсадный скрип, будто дверь заело на ржавых петлях, а уж потом шелест, шелест, будто возят по полу сухой бумажкой, кругами, и это, по-моему, вызвано тем, что он, Найджел, бегает внутри по маленькому желтому колесу. Я было попробовала слить этот звук воедино с более широкими шумами улицы, но он не сливался, он выделялся, он настырно твердил *я тут, я тут, я тут, я живой.* Дверь спальни была у меня, как всегда, открыта и всего несколько метров прихожей меня отделяло от этой крысы. Я терпеть не могу оставаться взаперти в темной тесной комнате, с тех пор терпеть не могу, как та тетка, которая пришла после няни, повадилась запирать меня в чулане, когда я визжу, когда у меня начинался, как они все выражались и тетка эта туда же, припадок визга. Ее звали Расмусен. Это фамилия, но так только все ее и звали, кроме папы, а он, когда веселенький, подшофе, ее называл Распутин. У нее была большущая грудь, очень светлые волосы, маленький носик, широкое белое лицо, и оно шло пятнами, когда она злилась. Няня — та меня брала на ручки и качала, когда начинался припадок визга, а эта — эта прямо видеть меня не могла. Правда, она не каждый раз меня запирала, а только если приступ длился долго, часами, часами, мне теперь кажется, и уж тут она наконец теряла терпение. Я лежала на полу ничком и визжала, а она, потеряв терпение, налетала сзади, хватала меня за руки-ноги и волокла по полу (я хваталась за ковры, стулья, и прочее) к чулану, какой поближе, рывком поднимала на ноги, впихивала меня в чулан, а потом вставляла стул в дверную ручку. Сижу бывало на полу, в кромешной тьме, частенько на груде старой обувки и колочу в дверь ногами. Один раз до того сильно стучала, что вышибла этот ее стул, бросилась в сад и там бегала и орала, пока садовник меня не загнал под лебедя, зеленеющего листвой. После этого случая она стала дверь подпирать плечом, но я только еще сильней колотила ногами в дверь, меня раззадоривало, что я брыкаю ее через деревяшку. Я билась, бросалась на дверь, колотилась об стены — и, как сейчас помню, даже об потолок, хоть теперь это кажется маловероятным, — визжала, колотилась, кидалась как, ей-богу, мотылек на абажур. Ну, не совсем как мотылек, мотыльки, допустим, не визжат, по крайней мере мы их не слышим, хотя, вполне возможно, они издают такой тоненький-тоненький звук, он за пределами нашего слуха, и на том спасибо. Вот бы жуть была, если бы вдобавок к пощелкиванию об абажур и об лам-

пу, мотыльки еще пронзительно, злобно визжали. Если бы так обстояло дело, кто-нибудь, можно себе представить, сказал бы: "Это там Эдна в чулане, визжит, как мотылек". Распутин припудривала мои синяки своей пудрой, чтоб никто не заметил, а я перед сном пудру смывала в ванной и разглядывала синяки в зеркале, с удовольствием разглядывала.

(*пробел*)

Только успею привыкнуть к одному из крысиных звуков, уже соскальзываю в сон, она берется за что-то новенькое — прекращает хрустеть, например, и начинает бешено метаться. Но еще хуже всех этих звуков — промежутки, когда она замрет, ни гу-гу, и пытает меня тишиной. Лежу, вытянувшись под одеялом, издерганная, на пределе, и жду, когда она опять начнет, жду, причем *с нетерпением*, чтоб она начала. И вспоминается мне, как крысы в Мексике ходили по своим делам, кажется, в полном молчании, как важно они на меня взглядывали, когда остановятся под фонарем. Как достойны, степенны, как учтивы они были, кажется, в сравненье с этой бесноватой тварью в моей гостиной. Я терпела-терпела, потом встала и закрыла дверь. Теперь шум был еле слышный. Но если напрячься, я все-таки его слышала, так что дело было еще хуже прежнего, потому что напрягалась я изо всех сил и *не могла не напрягаться*, раз он был такой еле слышный. Я думала про мистера Поттса, как он лежал в предсмертной тьме, сжираемый раком, а рядом с постелью у него шуршала-жевала крыса. Меня как будто сжирал рак. Снова я встала, выволокла из-под столика свой большой вентилятор и включила, хоть было слишком холодно для вентилятора. Натянула на голову одеяло, подушки на уши. Шум и шорох крысы, слабый и живой, наконец-то исчез, утонул в более сильном шуме, механическом и электрическом жужжании вентилятора. Звуки мертвых вещей, я имею в виду, вещей механических, электрических, редко раздражают до такой степени, как звуки, которые производят живые существа, я заметила. Храп, например, или чавканье, когда ест человек, или тихое посвистывание, когда он работает, как, например, Кларенс посвистывал, и это лишь некоторые из неприятных звуков, какие издает человек; а со стороны животных — это лай среди ночи, это урчанье, когда ты пытаешься сосредоточиться, плюс все эти дела, связанные с крысами и мышами, о каких я уже рассуждала. Видимо, в случае людей и животных, мы, хочешь не хочешь, думаем, что они издают свои эти звуки с единственной целью действовать нам на нервы. Я как-то запустила

в Кларенса стаканом с водой, чтобы только он перестал посвистывать. А эти попугаи в Венесуэле — ведь буквально его изводили. Хоть полночи не спала, я проснулась чем свет и первое, что я увидела, когда кинулась в гостиную, была крыса, спящая у себя в трубе, высунув оттуда свой крысиный хвост. Даже не знаю, что отвратней, маленькие розовые ручки или этот длинный, безволосый, до странности жуткий червь. Я смотрела, как он лежит, этак мирно, слегка изогнувшись, и мне пришло в голову, что эта слабость и вялость — сплошное притворство, и в любую секунду он как возьмет, да как пойдет стегать. Солнце только что встало, и я вернулась на свой пост, правда, пока еще не начала печатать — пила кофеек, приготовлялась печатать, мысленно очерчивала разные темы, за какие примусь сразу же, как только начну, — и тут слышу, Поттс уезжает, бухает чемоданом по ступенькам, — тринадцать ступенек, тринадцать раз ба-бах — потом процокала по вестибюлю, открыла дверь подъезда — дверь тихо охнула — и закрыла со вздохом и щелканьем. Хлопнула дверца машины, мотор зашелся, затих. Было очень тихое утро. Сегодня воскресенье. Поттс, как правило, не издает никаких таких звуков, чтобы у меня в квартире слышно, разве что зимой, когда топает по лестнице в своих сапогах на гремучем ходу. Но я же знаю все равно, что она уехала, и совсем другая тишина опустилась на этот дом; не тишина из-за полного отсутствия звуков, я хочу сказать, а тишина из-за полного отсутствия людей. Как-то смутно я всегда сознавала, наверно, что где-то она тут, прямо у меня под ногами, занята собственной жизнью. Да, но зря я сказала, что другая тишина *опустилась* на дом, ведь на самом деле она *поднялась*, она поднимается ко мне из нижней квартиры, сквозь пол просачивается там, где стоит мой стул; поднимается, в смысле, как дым. Вот думаю об этой тишине внизу, а в голове картинка: аквариум, и рыбки плавают тихо, туда-сюда, пошевеливая плавниками. Интересно, а Поттс догадалась перед отъездом поднять шторы? Рыбки у меня на картинке плавают в густом сумраке. Ничего, подождут до утра своего завтрака.

(*пробел*)

Ночью спала при закрытой двери и с включенным вентилятором. Утром спустилась, покормила рыбок, потом прошлась по кварталу к стекляшке за фабрикой мороженого, позавтракала. По дороге сюда я иногда вижу рабочих, стоят-кустятся на газончике, у них перекур, и они в теплых комбинезонах даже в жару, но сегодня ни одной живой души

не встретила. Официантка сказала — я просто в шоке, видя вас в буден день. Объяснила ей, что у меня отпуск. После завтрака пошла в парк, посидела, потом пошла домой, пообедала. Собиралась прилечь на несколько минут после обеда, а чуть не до вечера проспала. Крыса вылезла из своей трубы; слышу, шуршит опилками. Не понимаю, зачем людям надо цацкаться с крысами, и вообще, с любыми животными, кроме собак и кошек. Ну и еще попугаев, наверно. Когда были в Венесуэле, мы какое-то время жили в отеле, и там было полно попугаев. Диких попугаев причем, отель выставлял им еду для поощрения, и они висели по всему двору, по всему саду и поднимали кошмарный шум, свист, вопли, попурри, одним словом. Мне даже нравилось, но Кларенс, он все время, пока мы там пробыли, пытался работать, так он жаловался администрации, и ему обещали утихомирить птиц и, конечно, ничуть их не утихомирили. Я ему говорю: "А ты что́ думал, их перестреляют?" Мы были в Венесуэле из-за того, что там они снимали кино. Работали по сценарию, все причем соглашались, что сценарий отвратный, а потом главный автор, на которого вешали все нелады при съемке, вдруг вспылил, укатил и оставил Кларенса это дело расхлебывать, хоть Кларенс в сценариях ни бум-бум и работу получил исключительно будучи другом этого самого главного автора, который вспылил и укатил, как ни умолял его Кларенс остаться. Не помню названия фильма, и было ли у него название, поскольку он так и не был окончен, хоть потребовал человеческих жертв. Кларенс страшно с этим сценарием натерпелся, ведь пришлось использовать все те ужасные части, какие уже отсняли. Режиссер и продюсер не хуже других понимали, что дело дрянь, но все время собачились насчет того, какое направление надо придать сюжету, то одно решат, то другое, и Кларенс из-за них по сто раз переписывал одни и те же сцены. Тогда же в Венесуэле не было кондиционеров, только электровентиляторы, а жара стояла дикая. А когда огромная каменная пирамида, которую соорудили специально для этого фильма, сгорела дотла, Кларенсу пришлось начинать все снова-здорово, убирать ацтеков, переносить всю историю в монастырь, был потому что брошенный монастырь неподалеку от места, где мы снимали. Пирамида была очевидно не из настоящего камня, она была деревянная и покрыта холстом, так раскрашенным, чтобы было впечатление камня. Бывало я во дворе сижу, пью чай со льдом, пишу письма всем, кто только придет на ум, а Кларенс пьет виски у нас в номере, и сквозь гвалт попугаев — и других птиц тоже, там было полно всяких шумных птиц — я различаю тук-тук-тук его машинки. Не раз, даже, по-

моему, много раз за последнюю неделю примерно, его видели в окне: орал на попугаев. У электрических вентиляторов были в то время металлические лопасти, на таком расстоянии причем, что кулак можно всунуть. Мы все время ругались, пока там жили, Кларенс не одобрял моих дружеских отношений кое с кем из съемочной группы, и вот я говорю, говорю, объясняю насчет этих отношений, а Кларенс, без рубашки, потный, за своим письменным столом, вдруг вставляет карандаш в вентилятор между лопастями. Грохот поднимается кошмарный, и я, конечно, смолкаю, жду, когда он это дело прекратит. Но еще он злился, уверена, потому что я не помогала ему с этим сценарием. На самом деле, ну не могла я ему помочь, если бы даже захотела. Есть некоторые вещи, которые я просто никак не могу писать, в смысле просто никак не могу себя заставить. И классовая обида так и перла из Кларенса, когда мне приходилось ему отказывать, и он меня обвинял во всех смертных грехах. В конце концов, он-таки сунул кулак в этот вентилятор, и ему сжевало костяшки. Потом, если кто-то замечал эти шрамы, рассказывал, что их заработал в бою. Давал понять, что в кулачном бою, конечно. Печатать на этом столе не очень удобно — он не настолько прочный, чтоб выдерживать тряску. Знать бы, что снова начну печатать, я бы лучше письменный стол купила. Печатаю, а страницы, которые уже напечатаны и аккуратной стопкой сложены рядом с машинкой, сдвигаются по столешнице, ползут миллиметр за миллиметром (если можно так выразиться), пока не сдвинутся к самому краю, и тут уж они выдвигаются, нависают над столом и потом вдруг обрушиваются каскадом, вслед за уже многими-многими ссыпаются, ссыпаются, как лемминги. Вообще-то я бы на кухне могла печатать, была бы охота. Стол там крепкий, сверху белая плитка, или — да, я его могла бы в гостиную перенести, между прочим, если б хватило пороху. У меня не хватит пороху. Носильщикам придется ему ножки отвинчивать, чтоб протащить сюда, это раз, но на кухне солнце не всходит, оттуда не увидишь восхода. Может, лучше крысиную клетку в ванную перенести, тогда эта тварь не будет постоянно у меня перед глазами. Я уж думала, может, отнести ее обратно к Поттс, но нет, одной мне это не осилить. И где ее в ванной поставишь, не совсем понятно, кстати, разве что на корзину с бельем. Теперь я вижу, что выставила Кларенса в смехотворном виде, вовсе не хотела причем, когда описала, как он высовывался из окна и орал на попугаев. Многие, наверно, будут гадать, зачем это ей понадобилось, но он будет выглядеть еще смехотворней, если я начну вдаваться в детали. Я ведь даже не упомянула, что,

когда он высовывался, орал и прочее, он был весь голый, только в драной соломенной шляпе. Отельная обслуга выбегает, стоят, поддевают друг друга локтями, скалятся, только заслышат его вопли. Эту шляпу он ни днем ни ночью не снимал, говорил, мне в ней удобно, а на самом деле не хотел, чтоб видели, как он оплешивел. Кто познакомился с Кларенсом в то время, даже отдаленного понятия не имел, какой он был до того, какой он был во многих отношениях необыкновенный. Сказав "какой он был до того", я дала понять, будто бы что-то трагическое вдруг случилось, после чего он "стал совсем другим человеком", как говорится. Наверно, многие, кто это читает, подумают: "До того, *а до чего,* собственно?" Ну, в данном случае, в случае с Кларенсом, это было ни до чего, вообще если я говорю, какой он был необыкновенный *до того,* то просто в смысле — до того, как еще лет десять он пробыл Кларенсом.

(*пробел*)

У меня был день рожденья, и мама на него не явилась. Мы долго стояли, просто ждали, а потом папа шепнул что-то злое, горничная покраснела, и все же внесли торт, и торт был бисквитный. Всего гостей было: я, да слуги, плюс папа — на несколько минут. Задувать свечи я отказалась, няня их за меня задула, встала на колени, голова к голове со мной, будто бы мы вместе их задуваем, но я-то знала, что ничего я не задуваю. Она объяснила, что мамы нет, потому что затянул светский вихрь. Мама, она сказала, не может оттуда выбраться, как бы ни старалась. Я, наверно, сильно расстроилась, потому что, помню, няня потом принесла мне в комнату еще кусок торта, но я только отколупнула глазури, остальное раскрошила и протолкнула в вентиляцию. Через несколько дней вижу: муравьи ползают из вентиляции туда-сюда, и пришел садовник, чем-то попрыскал на решетку. Думая про этот светский вихрь, я представляла себе тогда огромную воронку. Очень похоже на водоворот Мальстрём[1] у меня в книжке с картинками, только не вода вихрится, а люди, мужчины, женщины в вечерних нарядах кружат, кружат, дико колотят руками-ногами, норовят взобраться по чуть ли не отвесным стенам воронки, чтоб их не засосала жуткая бездонная дыра в самом центре. Потом, когда я стала взрослая, тот же образ несколько раз возвращался ко мне в ноч-

1. Водоворот в Норвежском море.

ных кошмарах, правда, но в вихре этом была я одна. По-моему, папа, истинный спортсмен, огорчался, что я не мальчик, и мама тоже огорчалась, и они годами старались породить мальчика, но так и не породили. Эти усилия, наверно, бодрили папу, а маму нет, она говорила няне, что чувствует себя после этого, будто ее волтузили-колотили, причем она говорит это няне, а я рядом сижу. Не только у мамы с няней, у всех была манера говорить, как будто меня рядом нет, потому, наверно, что я была девочка, или они думали, что я вся в своих мыслях, витаю в облаках, не слушаю, что при мне говорится. Через несколько лет маме, видимо, надоело, и она начала запираться у себя в спальне. Но папе, поскольку он был мужчина и, думаю, очень даже в соку, папе не надоело. И еще много времени прошло, много ужинов-обедов, когда мама на дальнем расстоянии лепила ледяные паузы и метала их в папу, а я на среднем расстоянии, свесив голову, разводила грязные лужи из своего пюре, а потом он много раз дергал дверь, хрипло шептал, гремел ручкой, но в конце концов понял все-таки, что это вошло у нее в дурную привычку, и тут ему тоже надоело, и вот в ту пору, когда ему надоело, но не всё, он после ужина стал уходить к себе в кабинет и пил коньяк, пока не покраснеет лицо. В кабинете было уютно, там сидишь себе, ничего не врезается тебе в лопатки, и каждый, кому хотелось тихо-спокойно посидеть где-нибудь в доме, всегда сидел в кабинете, каждый, но только не мама. Когда папа пил, он сидел там долго, там был стол, обтянутый кожей, и книги в кожаных переплетах, и старый дворецкий Питер, тощий, прямо скелет, обтянутый кожей, стоял у папы за креслом и подливал. Все там было уютное, и потому, наверно, папе было уютно там сидеть, даже когда он грустил, и потому, возможно, он там просиживал подолгу, в грустях, но в уюте. Был еще у нас большой уютный пес Руперт, он обожал слушать папины рассказы, даже когда он, папа то есть, так надерется, что кроме Руперта никто его не понимал. Но скоро кабинет папе тоже надоел, и тут, поскольку ему не всё еще надоело, он стал снова грохать вверх по лестнице и колотил в мамину дверь кулаками. Так повторялось, мне кажется, много-много раз, и однажды, когда это снова повторилось, маме надоело, и она пригрозила его пристрелить, она один раз пригрозила его пристрелить, всего пулями изрешетить через дверь, и мне, наверно, только так кажется, что это без конца повторялось, очень уж было страшно. Даже не знаю, пригодится ли это. Моя спальня была напротив маминой по коридору, и, когда папа начинал колотиться к ней в дверь, я думала, куда бы мне отправиться в

путешествие, а когда он уходил вниз, я, бывало, включу свет, открою свою шкатулочку с марками и раскладываю марки по постели, как будто по океану покрывала у меня разбросаны островные страны. Я так и сяк их раскладывала, кучкой, как Фиджи, цепочкой, как Марианские острова, и долго думала, куда мне раньше поехать. Я представляла себе, как король или президент, или кто там изображен на марке, сходит на берег вместе со свитой, чтоб меня приветствовать, в свите причем у него слоны и кони, как правило, и, воображая все это, я засыпала, а наутро горничная мне помогала вызволить марки из спутанного белья.

(*пробел*)

Бессонные ночи, полные диких мыслей, бестолковые дни, припадочное печатание, сплошные пробелы. Иногда я печатаю и думаю, чаще думаю, не печатая, в кресле, в постели, сидя на скамейке в парке. Этой ночью глаз не сомкнула. Лежу часами, уставилась в темноту, туда, где потолок, глаза открыты напрочь, как заело, и думаю: так, наверно, я буду выглядеть, когда умру. Встала с постели, прямо вывалилась, посидела на полу несколько минут, прежде чем поднялась и пошла в гостиную. Давно рассвело, я слышала, как шевелится крыса. Включаю свет, а она поднимает голову, на меня смотрит. Я попробовала себе представить, что она удивилась, обнаружив меня в гостиной в столь неурочный час, но у меня не очень получилось: у крыс насчет мимики бедновато, ну, кроме, конечно, выражения боли и тому подобного, но это все животные могут выразить — это даже насекомые могут выразить. Несколько листков я провезла ногой, к самому креслу. Села в кресло, подобрала листки, перечитала, проверила, вдруг они не на уровне. Кончу страницу и бросаю возле кресла, как всегда, бывало, вечерком, когда перечитывала все, что напечатала за день. Тогда, перечтя страницу, я, бывало, свешу руку со спинки стула, болтаю рукой над полом, но все держу страницу, думать о ней забыв, а сама уже читаю следующую и, перед тем как дочитать эту следующую до конца, ту, первую, выпускаю, шелести себе на пол, выпускаю эдак рассеянно, с легким презрением, мне казалось, в пику Кларенсу с его манерой бешено комкать бумагу и метать в мусорную корзину, или, самодовольно скалясь, складывать аккуратной скирдой. Иной раз так выдернет лист из-под каретки, что та аж взвизгнет, а я прямо подскакиваю. Кларенс всегда шумно комкал бумагу, мне теперь кажется. Раз мы поспорили насчет комканья бумаги, что это

такое, необходимая нервная разрядка, его мнение, или пещерная дикость и сплошная показуха, как считала я. В конце концов, уже ему крыть было нечем, он скомкал бумагу и запустил в меня. "Не на уровне" — это одно из папиных любимых присловий. Когда слугу рассчитывал, то всегда за то, что оказался не на уровне, если, конечно, слуга не попался на воровстве, тогда шла в ход эта причина; да что слуги — сам президент Рузвельт (Франклин Делано Рузвельт в смысле) — оказался не на уровне, потому что папа не одобрил его экономическую программу. Эта программа, он говорил, типичная туфта. И вдруг няня тоже оказалась не на уровне; не знаю почему. Я вечно боялась, что окажусь не на уровне, и мама была не на уровне, это уж точно. В день открытия охотничьего сезона, когда мне было десять, обнаружилось, что она ночью сбежала с одним господином по имени Роджер Пип, он еще часто играл с папой в гольф. Когда папа нашел записку, которую мама прикрепила к ошейнику его любимого подружейного пса, он был на переднем крыльце в темной твидовой охотничьей куртке, так он ее испортил, лацкан отодрал. И после этого, видимо, он окончательно рухнул, стал почем зря глушить виски, а не коньяк. К сожалению, он уже не умел пить не пьянея, после третьей стопки иногда орал на меня, а после пятой вообще лыка не вязал. Через полгода, после того как мама сбежала, меня отдали в школу, сперва в одну, в большой дом, где были две пожилые дамы, и мы там обедали, потом в другую, где были другие девочки, мне ровесницы, и мы там жили. Действительно ли я помню, как папа нашел ту записку и разодрал куртку, еще большой вопрос, а вообще это маловероятно, поскольку он редко отправлялся на охоту прямо из городского дома, всегда из лесной сторожки, так что на самом деле я вовсе не знаю, как ему стало известно, что мама сбежала, — может, он только постепенно в этом убедился, как я сама, потом уже, когда она слишком долго отсутствовала. Светский вихрь, я поняла, окончательно ее поглотил. Поглотил, проглотил, а потом, через несколько лет, снова выплюнул, в Сан-Диего, где она и жила с человеком по имени Хенфорд Ливни, пока не умерла. Мне было девятнадцать, когда она умерла. На каждое Рождество и на день рожденья она мне посылала подарки, вечно какие-то побрякушки, и к подарку прилагалось письмо, она его подписывала Мама и в скобках Маргарет Ливни, а вдруг я забыла, кто у меня Мама. Письма были напечатаны на голубой бумаге. У нас в школе училась одна девочка из Калифорнии, так она говорила, что климат в Сан-Диего райский, там дождь бывает раз в год по обещанию. Это ж надо, я думала,

чтоб человек с именем-фамилией Маргарет Ливни жил в райском месте, где так редко бывает дождь. Машинистка была из мамы никакая, в письмах на каждом шагу были забитые слова, а то и целые строчки — xxxxxxxxxxxxxx. Да и мать тоже не ахти, вы думаете, наверно.

(*пробел*)

Клетка все тут, на полу, рядом с папоротником, куда мы с Поттс ее плюхнули. Если нагнуться в кресле, я могу заглянуть за листву и тогда я вижу, как там колобродит крыса. Побегает туда-сюда, потом поднимется в своем металлическом колесике, опять опустится, роет передними лапами опилки, внюхивается, как собака. А то замрет и смотрит через стеклянную стену своей трубы. И дрожит розовый нос. Кажется, все эти действия ей нужны зачем-то, а в то же время они начисто бессмысленны, явно. Не сильно отличаясь от моих, надо думать, если бы кто понаблюдал, как я слоняюсь из угла в угол по квартире, тут вопрос только в степени. "Эдна бесцельно мечется туда-сюда по своей трубе", — написал бы тот, кто бы меня понаблюдал. Бродт, насмотревшись, как я сную, вполне мог бы написать что-то в таком духе. Когда-то, точно не помню когда, после того как мама удрала, папе сказали, что у меня нервное перевозбуждение. Не знаю, кто сказал, ну сказали и сказали, неважно, и папа взял меня и повез сначала в Англию, в Лондон, где мы ходили к очень низенькому, очень бледному доктору с плохими зубами, и он был никакой не англичанин (возможно, русский, фамилия у него была скорее русская, я ловлю себя на том, что в мыслях его называю доктор Чехов, потому, наверно, что Чехов был тоже русский доктор), потом в Бельгию, где мы провели лето на природе южней Намура, жили в отеле, он был переделан из замка восемнадцатого века. "Мы" в данном случае уже не включает папу, он нас оставил в Дувре, на пристани, отправился по своим делам, как я понимаю теперь, бросился разыскивать маму, как тогда я воображала. Женщина, сменившая ту, что сменила Распутина, была с нами на пароходе и осталась со мной, когда папа уехал. Я ее тоже звала няня, хоть она ничуть не напоминала прообраз, потому что была американка, во-первых, и к тому же маленькая, и блондинка, и не ходила вечно в передничке, и она была веселей, но не такая заботливая, как первая няня, не такая заботливая и жалостливая, как всем с тех пор не грех бы со мной быть. Она меня научила раскладывать пасьянс, четыре вида, не считая пьяницы, причем пьяница не пасьянс, так что мы в него без

конца дулись в столовой, когда ждали обеда. В мощеном плитчатом дворике был каменный дельфин, он плевался водой изо рта, и каждую пятницу нам подавали рыбу. Я рыбу не выношу. Гостиница вечно была переполнена, буквально забита всякой немыслимой публикой, включая мужчину, который ходил, держа ботинки в руках, даже и по саду, мальчика, мне ровесника, который лаял по-собачьи, когда к нему обращались, и тощую немолодую особу, которая при случае убегала в лес и там голосила "Mon coeur est un violon"[1].

(*пробел*)

Заснула на диване. Проснулась, а уже утро. Открыла глаза, да опять и закрыла. Не хотелось просыпаться, нет, еще полежать, половить обрывки сна. А они убегают. Но проступило — жесткий диван, сведены ноги, пусто в желудке, — сознание вернулось, хочешь не хочешь, настырное, непрошеное, и никуда от него не денешься. Снова-здорово. Лежу на спине, во все глаза смотрю в потолок и слушаю: транспорт раскочегаривается к часу пик. Когда я дома, всегда этот шум транспорта более-менее тут как тут, иногда его заглушает шум компрессоров, иногда, наоборот, он заглушает компрессорный шум, и не всегда он слышен, и слушаю я его редко, разве что вот как сейчас, когда просыпаюсь и разум оправляется, ищет точку опоры, а то вдруг выпадет сладкий миг, и не сразу понятно, что гудит это на самом деле вовсе не океан. Только по воскресеньям и спозаранок гул разреженный, расхристанный, вплоть до того, что слышны голоса разных машин в отдельности, и можно отличить грузный грустный рокот старых от шелкового посвиста новеньких, ухватить ухом, как тяжелый грузовик переключает тональность, взбираясь по изволоку к Пряжке. Папоротник я передвинула. Согнулась в три погибели, вцепилась в края горшка, лицо зарыла в листву (а запах! — ну, лес после дождя) и стала толкать. Хоть несколько раз поскользнулась, ударялась коленками об пол, а все-таки я его протолкала через всю комнату. Но, не видя, куда двигаюсь, я его все толкала, толкала, пока не уперся в стену возле книжного шкафа, швырнув меня лицом в листву, и я сломала несколько листьев. Горшок взбил ковер, ковер пошел складками, весь собрался гармошкой, складки эти застряли между горшком и стеной, и сколько я сил потратила,

1. "Сердце мое это скрипка" (*франц.*). Популярный романс Конни Фрэнсис (наст. имя — Кончетта Роза Мария Франконеро; р. 1938).

как я дергала, но я их вызволила. Я нагнулась над шкафом, оперлась об него локтями, чтоб отдышаться, и тут вижу — сверху пыль. Я раньше ее не замечала, в последнее время по крайней мере, потому что, как правило, не свешиваю голову к самой мебели. Зрение у меня вполне, то есть относительно, но не настолько, конечно, острое, чтоб издали различать что-то такое мелкое и ненавязчивое, как пыль. Но теперь, наклонившись над ней, я увидела, что она лежит густым слоем, гнетущий пример того, как скапливается разная мелкость, и я даже, кстати, могла бы разглядеть ее издали, если бы удосужилась посмотреть в этом направлении, посмотреть пристально, в смысле, с целью увидеть, а не просто глазеть, озираться, как я имею обыкновение, продвигаясь туда-сюда по квартире, чтоб не наткнуться на какой-то предмет. Сухие дохлые мухи, угодившие между рамами, второй тип гнетущего скопления мелочей, который я недавно заметила. В общем, шкаф этот меня даже отдаленно не интересует уже довольно давно, с тех пор как я перестала читать, и сомневаюсь, что я смотрела в его сторону, в смысле видя смотрела, ну может, один раз и глянула несколько недель назад, когда плюхнула на него эту ленту, но я тогда так волновалась, так радовалась, что начну наконец-то снова печатать — *неожиданно* начну наконец-то снова печатать, — где уж мне было что-то там замечать. Раз увидела эту пыль, пойду на кухню, принесу тряпку и тут протру. Желтые и коричневые хлопья краски, скопившиеся под стенами на площадке и на лестнице, это, так сказать, третий тип. Книжный шкаф у меня самый обыкновенный, небольшой, фанера и лак, мебель как мебель. В нем я держу книги, какие надеюсь когда-нибудь прочесть, вместе с теми, какие прочитала, но не удосужилась выкинуть. Многие давным-давно ожидают своей очереди. И еще наверху стоят кое-какие фотографии, в витых металлических рамках, мы их в Мексике покупали. Все фотографии, которые без рамок, я держу в почтовой тумбе, я о ней, по-моему, упоминала. А еще наверху, между двумя фотографиями, лежат металлические маленькие коробочки, это мои ленты для машинки. Хорошо, что я прямо с кресла, прямо от машинки вижу эти ленты, так во мне поддерживается уверенность, что я смогу печатать и впредь. Чуть не написала "печатать, пока не кончу", но вовремя спохватилась: я же не совсем понимаю, что в данном случае значит кончить, и как узнать, когда это вот именно что будет окончено, и даже я не понимаю, что значит *это*. Пишу эти слова, смутно сознавая, что ведь приду же к концу, какому ни на есть концу, пусть даже в этом конце никакого завершенья не будет, и конец в данном случае будет

означать остановку, просто остановку, и всё. Сдвинула папоротник, и теперь вижу клетку с крысой на полу, пока сижу-печатаю. Начала печатать, и стук клавиш, после перерыва, ее, кажется, напугал, вон смотрит на меня. В остальное время она вверх тормашками вцепляется в крышку и смотрит на меня через проволоку, странно причем стуча зубами. Поттс в своей записке указывает, чтобы я ей для разнообразия диеты давала остатки фруктов — не апельсинов — и зерна. Интересно, откуда я ей возьму остатки зерна, как она себе это представляет. Когда наклонилась над клеткой несколько минут назад, бросить ей кусок яблока, протиснуть через сетку, вонь меня чуть с ног не сшибла. Мне полагается регулярно менять опилки. Я не меняла. Не знаю, как это делается и что значит регулярно, не понимаю.

(*пробел*)

На работе, когда еще я ходила на работу, бóльшую часть времени я провела в подземелье, в помещении рядом с гаражом, в подвале то есть, хоть он у них не назывался подвал. Они его называли Этаж Б — что и на кнопке лифта было указано — или нижний этаж, считая, видимо, что это звучит изящней, чем сырая дыра с паутиной, хотя, по мне, это звучало, как область ада, правда, на самом деле там было очень мило и тихо-спокойно все время, только в начале и в конце дня с грохотом въезжали-выезжали машины. Сначала поместили меня в экспедицию, на втором этаже, через коридор от буфета, но вечный стук машинок, настырная болтовня сослуживцев, сплошной гул, бухающий в уши каждый раз, как откроется буфетная дверь, — все это, вместе взятое, невыносимо действовало мне на нервы. По начальству я не бегала, на шум не жаловалась, нет, но я, наверно, громко говорила в присутствии кое-кого, и не раз, наверно, говорила, и громче, чем надо, наверно, что я не прочь, чтобы кругом было потише, и меня перевели в подвал. Там у меня было полкомнаты. Вторую половину занимал Бродт. Посредине комнаты он поставил перегородку, отделил свою половину от моей. Эта перегородка была из стекла, так что присматривать за тем, что происходит в другой половине, было раз плюнуть, зато попасть туда было не так-то просто. В моей половине мебель была — даже говорить не о чем, длинный стол у стены с пластиковой столешницей, вертящееся кресло и тележка для почты, если, конечно, тележку можно назвать мебелью. В данном случае это была как бы самая обыкновенная магазинная сумка на колесах, только вместо сетки — метал-

лические полки и колеса побольше. Дверь для всей комнаты была на моей половине, и Бродт пробирался, избочась, за моей спиной, и я, сидя к нему спиной, слышала его шаги, пока он проходил на свою половину, и там у него был длинный стол, кресло, в точности как мое, картотечный шкафчик и еще шкаф, металлический, уже побольше, с замками на ящиках. Видеомониторы висели в ряд на металлических шарнирах, и в них ему было видно все здание сплошь, вплоть до внутренности лифтов. Часами сидит, бывало, в своем кресле, банка диетического пепси в одной руке, а другой он теребит у себя на столе панель управления. Повсюду ему надо совать свой нос, вот и копошится с этой своей панелью, то одно, то другое высвечивает на экране. Крыса скребет свою крышку, стоит на колесике, тянется к проволоке. Бродт аккуратностью не отличался, чем только у него не был завален стол — факс, телефон, дырокол практически зарыт под грудами официальных бумаг, залоговые каталоги, журналы — автомобильные в основном, — конфетные фантики, поддоны из-под еды, то да сё и сдвинутая, отпихнутая всей этой чушью в самый конец стола бледно-зеленая айбиэмка, электромашинка — о ней я уже упоминала, — чтоб печатать отчеты, я считала, хоть он при мне никогда не печатал, то ли стеснялся, что печатает двумя пальцами, как теперь я думаю, то ли не хотел, чтоб я подглядывала в его отчеты, как я думала тогда. Не знаю даже, были они вообще, эти отчеты, нет ли. Может, машинка просто так стояла, и всё. Мой стол, наоборот, был голый, как Гоби, кроме одного часа примерно, утром, тут уж он был сплошь завален почтой. Бывало, выбираю эту почту из почтовых мешков охапками, ссыпаю на стол, а потом сную взад-вперед вдоль стола и распределяю конверты по ярким пластиковым штуковинам, гружу на тележку и развожу из кабинета в кабинет. Наши столы были притиснуты к противоположным стенам, и мы с Бродтом, значит, работали спиной друг к дружке, уставясь друг дружке в спину, хочется сказать, чтоб передать то мое ощущение, что его широкая спина как будто вечно нацелена в меня, вечно, можно сказать, указывает на меня, тычет, можно даже сказать, чтобы передать, как остро я чувствовала его присутствие, хоть видеть его по-настоящему я не видела, если только не повернусь в своем кресле, или не поверну свое кресло (на колесиках), а постоянно поворачиваться не будешь, и креслом не будешь вертеть. Да когда я и поворачивалась, всего-то и видела, что его затылок и плечи. Может, он спал, кто его знает. Иногда я знала, правда, что он не спит, это когда монитор скакал по всему зданию, с места на место, или

банка с пепси медленно, полусонно поднималась к его рту, а в другое время я знала, что он задрых, это когда банка выскользнет у него из пальцев, шмякнется о цементный пол, глухо бухнув, если почти полная, а нет, так звякнув пусто. В нашей комнате всегда стояла мертвая тишина, от малейшего звука мы, бывало, оба вздрогнем, поворачиваемся и киваем. После обеда мне обычно делать было нечего, сиди себе, жди четырех часов, жди, когда можно будет уйти, и я, бывало, упрусь локтями в стол, уткнусь подбородком в ладони и дремлю, или я решала кроссворды. Иногда, Бродт, скажем, ушел на свой обход, я перевернусь и по мониторам слежу, как он бродит. Несколько месяцев, как я излагала, я не хожу на работу. Месяц сменяется месяцем, и вот уже сплошь на всех деревьях опять листочки. Я теперь хожу в пластиковых сабо, спасибо, снова тепло, не нужно мучиться со шнурками. У меня две пары, зеленые и малиновые. Малиновые мне больше нравятся, зеленые я вообще редко ношу. Надела с носочками на святого Патрика, просто больше нечего было надеть, хоть они не в полном смысле слова зеленые, но я в тот день и не выходила. Наушники у меня зеленые с черным. Синие я на работе оставила. Когда я была маленькая, никто не ходил в зеленой и малиновой обуви. В этом отношении стало лучше. Он любит, Поттс сказала, чтоб его вынимали и носили на плече, причем намекая, кажется, что мне следовало бы его носить. "Он любит прокатиться, только на пол его выпустите, и он по брюкам взберется к вам на плечо". Вот какой! Все больше страниц на полу.

(*пробел*)

Я, кажется, продвигаюсь. Вчера особенно работала не за страх, а за совесть, рано утром засела, с солнцем практически, и до обеда не отрывалась. Оторвалась наконец, отступила на шаг, оглядела страницы, одни на столе возле машинки, очень много на пол свалилось, а потом я пошла в кафе. Бреду себе теплым весенним деньком и чувствую, что вот отрываюсь, приятное ощущенье такое, что иду куда-то отдохнуть после работы, в противоположность обычным моим бесцельным блужданиям. Села одна, у окна, рядом орала молодая компания. Взяла каппуччино и круассан. Грязный бородач подошел к окну, уставился на меня, через стекло стал смотреть, как я ем, я отвернулась. Когда опять повернулась, его уже не было. А потом я пошла в парк, посидела, а потом я пошла домой. Как ни замыслю прогулку, всегда вырисовывается одно и то же: или я кружу возле фабрики морожено-

го, это целый квартал, или бреду в стекляшку, или в кафе иной раз дойду, а внутрь не заглядываю, а то плетусь аж за три квартала в тот маленький парк — и сразу обратно. Проходя мимо витрины, иной раз посмотришь, а оттуда на тебя глянет нечто, сначала не узнаёшь; а как узна́ешь, подумаешь: "Матерь Божья!" Конечно, именно этих слов я не говорю, даже мысленно, — скорей я просто в шоке и думаю, сама себе удивляясь, что окажись кто-то рядом в эту минуту, я бы их так и выпалила, не удержалась. Я теперь все чаще в парк хожу, раз снова потеплело, хожу в любое время, как только на ум взбредет, он же совсем рядом, но не после сумерек, нет, из-за мужчин, они после сумерек сидят по скамейкам, злые, или, наоборот, развеселые, если, конечно, не спят. В детстве я часто ходила с няней в дальние прогулки по окрестностям за железными прутьями нашей ограды, иногда мы сворачивали по нашей улице на дорогу, и мы шли в парк на верху горы, и мне разрешалось залезать на памятник павшим в войну солдатам — в Первую мировую, само собой, — и няня меня ставила на пъедестал и крепко держала за щиколотки, и я смотрела сквозь темное, желтое марево вниз, на промышленный город средней руки, — дома, дома, рядами, почти совсем одинаковые бежали к самой подошве горы, туда, где начинались деревья, и смутно, в дымке за теми рядами, громадилось что-то, от сажи черное, из стали и кирпича, — это были заводы и фабрики, из громады росли высокие кирпичные трубы, и там я видела иногда взрыв оранжевого огня, и няня тогда говорила, что кто-то открыл дверцу домны. Наш дом стоял на верху горы, ну как наверху, не на самой вершине и не именно в парке. Папа хотел, няня говорила, чтобы мы жили именно в парке, но там все дома были неподходящие, а наш дом, хоть и не в парке, был подходящий, гораздо больше всех домов, которые в парке. Памятник павшим солдатам был высокий гранитный обелиск в центре парка, на самом верху горы, и был, няня говорила, вчетверо выше папы. Места́ сражений, в которых пали солдаты, были выбиты угловатыми буквами с четырех сторон пьедестала: Аргонский лес, Марна, Шато-Тьери, Мез, что-то еще, забыла, буквы причем глубоко врезались в гранит. Когда мы в первый раз пришли в парк, я стала выковыривать булавкой грязь и мох из этих букв, и оттуда выбрасывались букашки и гибли под ее острием. А в другие разы мы играли в игру: я закрывала глаза, притворялась, что я слепая, ощупывала бороздки слепыми пальцами, чтоб буквы угадать, и так я выучила, как пишутся все названья сражений, правда, как они произносятся, няня мне не смогла объяснить. Мез —

вот что особенно обескураживало. Мама мне объяснила, что "шато" по-французски "замок", и Шато-Тьери у меня в голове перепутался с замком в одной моей книжке с картинками, но поскольку Первая мировая война совершенно современный конфликт, картинка в моем мозгу вышла неправильная. Шато-Тьери на моей картинке был весь из слепяще-белого камня, как замок Безумного короля Людвига[1], и стоял на самом верху совершенно отвесной горы, так высоко, что птицы парили гораздо ниже. Он был весь в островерхих башнях, щипцах и шпилях, и над ним лентами реяли красные и синие стяги. У подножья горы, далеко-далеко внизу под замком, была цветущая долина, как стеганое одеяло из зеленых и желтых полей. Река невозможной синевы вилась по долине, и по реке плыли лодки, и коровы и овцы паслись на некоторых полях. Это папа мне объяснил, что картинка неправильная. Рядом с обелиском стояла пушка на огромных колесах с деревянными спицами, и трогать мне их запрещалось, чтоб руки не занозить. Длинный ствол искоса глядел в небо, и в самом низу он был всего ничего от моей головы, и как-то раз я подпрыгнула, обхватила его руками, покачаться хотела, и он горячий от солнца. Няня завопила, я выпустила ствол. Она кинулась ко мне, схватила за руки, стала их выкручивать, больно. "На-ка, глянь", — она сказала, и я глянула: пальцы, ладони, руки по локоть — все было от ржавчины рыжее. Кларенс обожал войны, у него была о них куча книг. Когда ему исполнилось восемнадцать, он сунулся в армию, чтобы позже не загребли, так он объяснял, но его не взяли по медицинским показателям: на правом указательном пальце не хватало кусочка — отец прищемил капотом машины, когда Кларенсу было шесть лет. Этим пальцем жмут на курок, потому, наверно, и придрались, хоть это не помешало Кларенсу быть отличным стрелком всю оставшуюся жизнь. Когда уж у него руки дрожали так, что лед гремел в стакане, и то — выбегает во двор и давай сшибать из пистолета консервные банки с сучьев. Ему, наверно, досадно было, что его завернули, хотя он всем говорил, что ах как ему повезло. А однажды, когда мы жили уже в Филадельфии и все никак не могли выяснить, любим мы друг друга в конце концов или

1. Король Людвиг Второй Баварский (1845–1886) был прозван Безумным главным образом потому, что умер при весьма странных обстоятельствах, но теперь этот диагноз оспаривается медиками и историками. Замок, о котором идет речь, — Нойшванштайнский замок, чудо архитектурного искусства.

нет, он пригрозил, что вступит в Иностранный легион. Не в прямом смысле, конечно.

(*пробел*)

Два дня сплошь моросит. А я все работаю. И я переставила крысиную клетку, я ее на шкаф поставила. Чтоб расчистить для нее место, всё-всё — фотографии, коробки с лентами — переправила на диван, решила, что потом соображу, куда это девать, а когда переправляла, одна фотография у меня вырвалась из рук, упала на пол и разбилась — то есть стекло на фотографии разбилось, не она сама. Крыса следила, как я выметаю осколки. Ей, по-моему, интересно, что я такое делаю. Верх шкафа, я отразила уже, зарос пылью. Я ее стерла мохнатым полотенцем, не исконной тряпкой для пыли, уж что нашла, прежде чем клетку ставить, исконные тряпки для пыли все у меня грязные, как это ни странно звучит, а потом я уселась на диван с фотографиями и аккуратно протерла каждую. Коробки с лентами, конечно, еще не успели запылиться, но я их тоже протерла. Не успела протереть, вижу — пыль на нижних полках и серый такой пушок, как мех мышиный, на книгах сверху, все явно видно оттуда, куда я села, с близкого конца дивана, куда я при нормальном положении вещей не сажусь. Обычно я сижу на другом конце, на дальнем, потому что это у стенки и в нее упираются подушки, если мне захочется развалиться, а мне очень часто хочется, если я на диване сижу, а не в кресле. Намочила полотенце, книги вытерла, все по очереди, снизу, сверху, с боков, их тоже уложила на диван, а потом я протерла полки. Мышиный мех скатался черненькими катышками. Лежат на полу, как помет.

(*пробел*)

Снова сегодня дождик с утра, ленивая, дурацкая морось, меня от такой погоды всегда тоска берет, и всегда я злюсь. "Ее маленькая, довольно убогая квартирка погрузилась в уныние и мрак" — такое ощущение, такое ощущение от света этого, который еле цедится сквозь грязные окна, сплошь залитые дождем. Когда передвинула папоротник, я про него, в общем, забыла вплоть до сегодняшнего утра, а тут вспомнила, что его надо поливать, вспомнила, видимо, из-за дождя. Принесла из кухни воду в высокой стеклянной вазе, я в нее ставила цветы, раньше, когда гости бывали, но это, наверно, еще до того, как я сюда переехала, здесь-то какие гости, о ком бы стоило говорить — верней, *с кем* бы стоило говорить, ну, были мойщики

окон, были и водопроводчики, и, естественно, Поттс, и еще кое-кто, недолго, когда еще я в библиотеку ходила, те быстро рассосались, и о чем с ними говорить. Иногда я приношу домой цветы из парка, но они чересчур короткие для этой вазы, и стоит она на кухне, толку чуть, одни слезы. И вот я решила приспособить ее под лейку, но не тут-то было, форма не та: уж я и так и сяк, а с одной стороны все равно льется на пол. Мне это надоело, я ее опрокинула, прямо вверх дном, но опять ничего хорошего — вода хлынула, отскочила от листьев и бóльшая часть опять пролилась на пол. Тут я решила — лучше я его буду опрыскивать. Давила, аж заболели пальцы, пока баллон не опустел, опять полный набрала и еще половину распрыскала, пока с листьев не стало капать, как в джунглях, я подумала, как в джунглях после дождя. И стоит теперь кадка в громадной луже, и на стену тоже попала вода. Раньше соображать надо было, чем сразу пихать туда кадку. Стою я, держу баллон в руках, и тут мне пришла мысль — не опрыскать ли заодно и окно, мало ли, вдруг что-то получится. Я выбрала то, которое не облеплено записками, среднее из трех фасадных, я, по-моему, упоминала. Все окно я не стала мыть, зачем, намочила часть, с мою голову приблизительно, потом рукавом протерла. Результат — кругловатое местечко чуть почище остального окна. Я в него выглянула, как в бойницу, и убедилась, что грязь, в основном, по ту сторону стекла. Изнутри грязь — это как бы сплошь отпечатки пальцев и отпечатки ладоней, из-за моей привычки, наверно, упираться руками в стекло, когда стою и смотрю. Вот пишу, а сама себе представляю видик, если бы кто-то, скажем, остановился внизу на улице, глянул: стоит у окна старуха, смотрит, задрала руки кверху, ладони прижала к стеклу.

(*пробел*)

Когда печатаю или так просто сижу, я часто оставляю включенное радио, но я не всегда его слышу. А не выключаю я его, потому что оно заглушает кой-какие мало приятные звуки снаружи. Но сегодня утром стою у этой своей бойницы, смотрю на фабрику мороженого, на бетонные стены, темные от дождя, и вдруг слышу женский голос: "Мы передавали 'Роскошную жизнь' Джона Колтрейна[1]. Далее — 'Джазовый квартет' и 'Кортеж'". Стою у окна, жду, и вот: вибрафон, пиа-

1. Джон Колтрейн (1926–1967) — американский джазовый саксофонист, флейтист, композитор.

ниссимо, сперва соло, потом вступает легкий звон треугольника — как, по-моему, бубенцы на упряжи, — но темп нарастает, и вступают тарелки, исподволь, как бы шурша, шелестя, и все так сдержанно, приглушенно и до того печально, как, по-моему, дождь. У Кларенса была тьма джазовых записей, включая эту, и мы их таскали с собой с места на место, хоть Кларенс, по-моему, не то чтобы очень любил музыку, и никогда он не ставил джаз, разве что при гостях. По-моему, он больше любил весь этот антураж: сидеть, слушать музыку, и курить, и говорить о бейсболе, о литературе с людьми, чье общество ему лестно, и большинство из них, наверно, по-настоящему любят такую музыку. Мне, видимо, надо будет с самого начала сказать, что Кларенс был человек приветливый, чересчур даже приветливый, так мне казалось, когда мы таскались по гостям и он там вечно позорился. В присутствии определенного типа людей — искючительного ума, или таланта, или с очень большими деньгами, словом, тех, кого он, хочешь не хочешь, считал успешными, — он тушевался, из-за своих корней, во-первых, ну а потом он ведь даже на самом пике был только отчасти успешным, и потому он после нескольких рюмок сразу зверел, и это притом, что начинал он с невозможной приветливости, и, говоря "невозможной", я имею в виду, что дело доходило до панибратства. И все потому, что, даже стараясь быть уж таким дружелюбным, он все время был начеку, блюл себя, держал оборону, и частенько он кончал тем, что разливался громким, неудобоваримым спичем и всех раздражал. Странно, чем больше он становился истинно американским писателем — американский спорт, охота, природа, то-сё, — тем больше он делался британцем, хоть никогда толком не жил в Англии, кроме, я, по-моему, излагала, нескольких летних недель — британцем, в смысле одежды, произношения, вплоть до запаса слов, — и чем больше он пил, тем больше он делался истым британцем, пока не напьется в доску, и тут уж опять вовсю прет Северная Каролина. Кларенс, когда в подпитье и только еще начинал входить в раж, замечал, как я хмуро молчу, и говорил что-то типа "А ты дико злишься, старуха". Я терпеть не могла эти шуточки — старуха! Потом-то, конечно, каялся. Иногда после такого выпендриванья, когда протрезвится и я объясню ему, что к чему, он весь скрючится от угрызений совести, его трясет — на полу, на мокрой земле, встанет, а весь пиджак в зеленых разводах, — и он стонет от горя и униженья. Настоящее похмелье в чисто физическом смысле тоже не сахар.

(*пробел*)

Снова солнце. Была за своим столом, поздоровалась с ним. Сижу, ем корнфлекс, жую и думаю, уставясь в окно на небо, занимающееся над фабрикой, и неба не вижу, потому что взгляд мне застят воспоминания. Кто-то, наверно, сказал бы, что я уставилась в туманы времени. Лично я бы ни за какие коврижки так не сказала, а Кларенс, он запросто бы сказал. После завтрака протрусила из комнаты в комнату, настежь рванула все окна, и теперь ветерок — легкий такой ветерок — может, пожалуйста, входить в фасадные окна и в задние уходить, до свиданья. Хочется сказать, что я создала встречный ветер, но нет, встречный ветер это совсем не о том, и "рванула настежь", это я тоже зря, — тут тоже картина рисуется: кто-то дергает рамы мощным взмахом могучей руки. Уж мне с ними пришлось повозиться, с рамами, и ведь со вторыми тоже, никто их не выставлял. Да и насчет того, что я трусила из комнаты в комнату, — тоже, знаете. Ну как трусила. Мне просто хотелось выразить, до чего бодро-весело я взялась за дело, а номер не прошел бы, пустись я долго и нудно описывать, как еле ковыляла из комнаты в комнату и с окнами билась. "Она ходила пружинным шагом, противоречившим ее преклонным годам" — вот как я более-менее это все ощущала, и даже, может, лучше бы тут сказать "солидным годам". В открытые окна несется дикий шум с улицы, я надела наушники. Не понимаю, с какой радости я давеча напечатала, что якобы улица гудит, как океан — ничего общего с океаном. Раньше я бросала хлебные крошки в окно голубям и воробушкам, но пришлось это дело отставить, из-за Поттс и ее супруга, от них поступали жалобы, что крошки якобы к ним залетают в гостиную. Иногда я выношу крошки в кульке на улицу, если вообще выхожу, но обычно я забываю, вспоминаю, только когда уже я на улице и вдруг замечаю птичек. Эркерные окна — вот из-за чего, во-первых, я вселилась в свою квартиру, ну и потом третий этаж, и выходит на восток, и мне тогда совсем недорого показалось, по тогдашним моим деньгам. Мне нужно видеть восход, чтоб окончательно не скиснуть, я, по-моему, уже объясняла, так что мне небезразлично, на каком этаже жить. Квартира — в старом кирпичном доме, в свое время, наверно, он был шикарный. В двух кварталах от Пряжки — вот, видимо, почему недорого, этот шум, этот уличный грохот, — несчастные люди! — и еще эти компрессоры, ну и вдобавок дом в неважнецком состоянии, уже был в неважнецком состоянии, когда я въезжала, и с тех пор он лучше не стал. Окна толком не мыли с тех самых пор, как здесь был тот молодой человек, которому я отдала телевизор. Он выставлял зимние рамы, их тоже тщательно мыл,

а осенью тот же самый молодой человек возвращался, их снова вставлял, и я ему отдала телевизор. Прошлой осенью я сказала Джиамати про окна, они заросли грязью, а он мне на это заявляет, что мытье окон на ответственности жильца, хотя почему-то оно не было на моей ответственности первые пять или шесть лет, и каждую весну и каждую осень приходили их мыть. Даже все мои старые записочки бритвой соскребут, бывало, и ничего, ни звука. Тогда мытье окон считалось до того само собой разумеющимся, что меня даже не предупреждали, что вот придут мыть. Приходят, когда время приспеет, как сезон, и всё. Подниму глаза, а в окно ко мне смотрит молодой человек на стремянке; увижу его валик и думаю: "А, значит, весна". Теперь окна такие грязные, что даже странно, как я совсем не скисла. Стол, за которым я ем, а теперь еще вот и печатаю, стоит в самом центре эркера, я тоже, по-моему, упоминала. А может, и нет. Большая часть страниц на полу, и невозможно вернуться, проверить, что я на самом деле упоминала, а что, наоборот, только собиралась упомянуть, так сказать, по ходу пьесы, а потом не упомянула. То есть невозможно *легко* вернуться, позарез бы приперло, вернулась бы. Не легко сгибать коленки (про свои коленки, по-моему, я тоже упоминала), и спину, откровенно говоря, тоже, и я не подбираю страницы мигом, сразу как упадут, и теперь я по ним хожу. Обычно я страницы не нумерую, не то чтобы забываю, а так — скучно, лень, и потом я редко вспоминаю, что надо прерваться, пока не дойду до самого нижнего края страницы, она уже чуть из машинки у меня не вываливается, а тут я в середине фразы, или в муках творчества, и совсем не в настроении возиться с цифирью. И если сейчас подберу с пола листок, я вам сразу, с кандачка, не скажу, это страница десять или страница тридцать. Я раньше считала, что печатать лучше, чем просто безалаберно думать, потому хотя бы, что можно вернуться к началу отпечатанной стопки и посмотреть, что там было. Стопку мыслей — ее не проверишь, стопки потому что нет никакой, мысли падают, падают без конца, падают в черную дыру, и, даже если удастся что-то оттуда выудить, ты не будешь знать точно, то ли это все время лежало на глубине, то ли просто тебе прибрендилось, пока ты выуживала. Иногда я себя спрашиваю, например, а что я действительно помню про Кларенса. Но когда столько страниц на полу и все не пронумерованы, стопку печатных страниц тоже никак не проверишь. Какая там стопка, груда, оползень — и все раскидано по полу, как будто я специально раскидала. Смотрю на эти раскиданные страницы и думаю — что-то с этим надо делать, а сама ничего не делаю. Разбросанные та-

ким манером по полу страницы мне напоминают те дни, когда я печатала рядом с Кларенсом, я, бывало, пускаю листки по полу, один за другим, в знак безразличия и презрения, а он свои тщательно нумерует (внизу страницы, в центре, циферка зажата дефисами) и аккуратненько складывает рядом с машинкой. Соберется достаточно толстая стопка, он ее возьмет, взвесит на ладони, как пистолеты он на выставке оружия взвешивал, и вздохнет. Как и папа, Кларенс верил в переход количества в качество.

(*пробел*)

Утром проснулась и чувствую: кружится голова. Когда в коридор выходила, держалась за книжный шкаф. Прошла, села в кресло и снова заснула, а проснулась, когда уж солнце светило в лицо. Бросила еду в этот его поддон, просунула шарики в проволочную крышку, чтоб ее не поднимать, и, когда попали на поддон, некоторые отскочили и шлепнулись в опилки. И этот запах! Дерьмо собирается по углам: видно, он предпочитает углы. Я сказала: "Прости, Найджел", сказала громко, и он глянул так, будто понял. Удивительно, у него очень умные глаза, в них поблескивание такое, что можно принять за ум, это, наверно, звучало бы странно в применении к человеку, если бы кто-то сказал, например: "Его глаза поблескивали умом", да? Сварила кофе, поставила рядом с машинкой. Кофейная гладь дрожит всякий раз, как я ударяю по клавише, и солнечный свет, отражаясь от дроглой жидкости, бросает на потолок яркие зыбящиеся круги, как запустили камушком в воду. Я была еще совсем маленькая, в своей первой школе, когда научилась печатать, и с первого дня все заметили, как у меня замечательно получается. Рано, не по годам, вот уж действительно, все говорили и удивлялись, тем более, в чем другом я была далеко не сильна, далеко не атлет. Софтбол, хоккей на траве, разные игры такого типа — тут я была неповоротлива, неуклюжа, и меня постоянно тянуло куда-то прочь. Пока училась, я все время печатала, с каждым годом быстрей. Да, будь я заурядной машинисткой, мне и в голову бы не пришло, что я смогу это кончить, сама мысль показалась бы нелепой, невозможной, при нормальной скорости. Мама меня практически с пеленок заставляла играть на пианино, и все гувернантки туда же, и музыкальные уроки, видимо, способствовали моим успехам в печатании, хотя выдающейся пианисткой я так и не стала, да и не лежала душа — всё матери назло, говорила мама, когда ей жаловался учитель. Я почти всегда попадаю на верную ноту, но играю я нудно, без

огонька, чеканил учитель и смотрел на меня с ненавистью. Не то чтобы я не любила музыку, что вы, в те наши ранние деньки, как узнаю, что Кларенс надолго уходит из дому, я включаю проигрыватель и под это дело печатаю, и особенно я любила тогда Концерт для оркестра Бартока, хотя теперь, случись мне его услышать, он бы, сильно подозреваю, мне не очень понравился. Проигрывателя у меня нет, то есть такого, чтобы работал, так что я не могу проверить, правда ли это, а если пытаюсь восстановить те звуки у себя в голове, ровно ничего я не слышу. Слышу бездну всяких разных вещей, но только не Концерт для оркестра Бартока.

(*пробел*)

Вой, скрежет, и это прорезиненное жуткое шарканье, в основном снаружи, от транспорта, и еще тяжкий стук компрессоров — вот что я только что слышала, пытаясь проверить, могу ли уловить хоть какого-то Бартока, — плюс удары моего сердца. А тогда, когда я еще любила Концерт для оркестра, стоило Кларенсу уйти, я, бывало, закрываю все окна-двери, врубаю звук и завожусь до безумия. Начну мягко так, исподволь, на нормальной скорости, но, когда нарастает темп, вступают смычковые, духовые, я тоже жарю быстрей, быстрей, я закрываю глаза, уже я не слышу машинки, чувствую только, как она дрожит у меня под руками, и начинаю раскачиваться на стуле. И, бывает, через минуту-другую слова так и выливаются из музыки на бумагу, сперва капают, потом струятся, и уже я не помню себя, я впадаю, я падаю в музыку, бросаюсь, как бросаются с высоты, не боясь расшибиться, и я медленно переворачиваюсь на лету, и вот уже пальцы мои стали орудием музыки, она ими пишет, что хочет — или это машинка, даже не знаю, — и машинка становится языком моих рук, не ума, и самой мне так легко, так свободно. Среди разных эпизодов в начале моей жизни с Кларенсом, какие считаю самыми роковыми, были те случаи, когда он умудрялся мне помешать среди этих моих занятий. Не думаю, что он это нарочно, нет, просто не подумав, входит, топает, а почему я говорю "умудрялся" — просто так это мне на душу ложилось тогда. Музыка жутко гремит, машинка дрожит у меня под руками, сижу спиной к двери, закрыв глаза, понятия не имею, что он уже тут, а он подходит и выключает проигрыватель — по-хамски выключает, так мне казалось тогда. У нас с Кларенсом были разные вкусы в музыке. Он не мог, просто органически не мог меня понять, когда я говорила: "Смотри, это Барток, это *всё* Барток", и совала ему десяток страниц

своей дребедени. Он только глянет и уходит, обходит вокруг дома, открывает все окна. А ты остановись, ты сначала подумай, и можно ведь на цыпочках подойти, ласково тронуть за плечо — и то бы я испугалась, — а лучше и вовсе скромно попятиться, присесть на ступеньки крыльца, или на качели под дубом, где мы жили в Коннектикуте, там же у нас были качели, были, и обождать, пока не услышишь, что я кончила. То есть это *в его глазах* была дребедень, я хочу сказать.

(*пробел*)

Все больше страниц на полу. Падают каскадом при малейшем поводе. Может, это стол у меня кривой, ножки с одной стороны длинее, с другой — короче. Не знаю. Я его подержанный покупала, исключительно был дешевый, может, как раз поэтому. Кто его продавал, возможно, рассчитывал, что я ничего не замечу, пока не будет слишком поздно, и верно рассчитывал, оказывается, хотя, строго говоря, я не могу утверждать, что даже сейчас это заметила, — я просто думаю, догадываюсь, что он, *возможно*, кривой, как объяснение, почему мои страницы без конца сваливаются, их же ничто не подталкивает, такое, что я могу увидеть, да и ничто менее очевидное, типа сквозняка от окна, например, или легчайшего ветерка, какой я сама поднимаю, когда стягиваю кофту, открываю дверцу в чулан. Я сижу себе в своем кресле тихохонько, едва дыша, окна плотно закрыты, никакого тебе вентилятора, а они все падают, падают на пол, и сухой треск, хоть пора бы, кажется, притерпеться, каждый раз пугает меня. То, что я не заметила этой кособокости, если она была, означает, возможно, что у меня астигматизм. Или, тоже вполне вероятно, вовсе стол не кособокий, все четыре ножки у него равны, астигматизма у меня никакого нет, а здесь косой пол. Был бы у меня стеклянный шарик, можно бы бросить, проверить.

(*пробел*)

Бродт носил коричневые брюки, а к ним коричневую рубашку с американским флагом на рукаве, со словом "Бродт", вышитым белыми буквами на кармане, и черные ботинки. Исключительно из-за этой надписи на нагрудном кармане я и считаю, что он был Бродт, мы не были друг другу толком представлены. Когда я в первый день явилась на службу, он на меня и глаз не поднял от своих мониторов, а потом уж, после этого, конечно, уж какой смысл. Ну, или смысл, может, остался, но возможность была упущена. Если вы не скажете:

"Здрасте, меня зовут так-то и так-то", сразу, с ходу, потом до невозможности будет неловко к этому возвращаться, исправлять положение. Имени его я так и не усвоила, если, конечно, Бродт не его имя, было же у парня, который к нам приходил вытряхивать мусор из корзинок, на кармане вышито "Ларри". Бродт был неприветливый; "вялый, неприятно молчаливый субъект" — так я начала бы его описание, если бы сочиняла рассказ. Никогда я его не видела возбужденным, пусть даже чуть-чуть на взводе, хотя нет, один-единственный раз видела, несколько лет назад, когда над Нью-Йорком взорвались самолеты. Телевизор перенесли в буфет, все столпились вокруг, и я видела, как Бродт стоял впереди всех, орал и махал руками. По крайней мере, он выглядел так, будто он орет. Я видела на мониторе, как он машет руками, и он был вылитый разъяренный коп в одном немом фильме Чаплина. Когда уходил из нашего подвала, он обычно шастал по коридору, обходил кабинеты, заходил закусить в буфет на второй этаж или по другой надобности на первый, или выталкивал кого-нибудь из кабинета, если человек почему-то не хотел выходить. Когда он удалялся, я могла повернуть кресло и следить по монитору за его путешествиями, пожалуйста, была бы охота. Чтоб выйти, ему приходилось сперва открыть дверцу в перегородке и пересечь мою половину, позади того места, где я сидела, ну, иногда стояла, к другой, большой, двери, которая открывалась в гараж. И когда он шел у меня за спиной, я прямо слышала, как шаги становятся медленней, медленней, а то вовсе замрут, но это редко. И чувствую, заглядывает через плечо, отмечает, как у меня продвигается дело с кроссвордом, прямо как вижу, что он хочет мне подсказать слово, но жмется. Так ни разу он ничего мне и не подсказал, и я тоже, я ни разу не повернулась, я ни разу не посмотрела ему прямо в лицо, я на него только сзади смотрела и видела только плечи, затылок, когда он сидел в своем кресле. В лицо я его видела исключительно мельком, когда, например, мне надо пройти куда-то, неважно, а он встанет посреди коридора, и ты его обходи кругом, или когда он уронит свою банку с содой, и мы оба поворачиваемся, но это я уже говорила. Иногда, если вместе ждали автобуса после работы, я смотрела на него сбоку, разглядывала его в профиль, низкий скошенный лоб, нос картошкой, грудь колесом, брюшко и тому подобное. Он со мной никогда не заговаривал, только изредка, когда мы ждали на этой автобусной остановке. И то не уверена, что он именно со мной говорил, он не поворачивал головы в мою сторону, и я в его сторону не поворачивалась, чтоб не показаться навязчивой, в случае, если он не со мной говорит, а из-за гвалта, шума

автобусов и того факта, что я на него не смотрела и по большей части была в наушниках, я обычно улавливала только отдельные, отрывочные слова. Я довольно долго уже там проработала, прежде чем подошла и попечатала на его машинке. Что ни утро, что ни вечер, он исчезал: обходы, проверки. Я видела, как он бродит с места на место на верхних этажах, и ни чуточки не беспокоилась, что вот он войдет и меня накроет. Довольно странно — одно-единственное место во всем колоссальном здании, где я могла быть совершенно спокойна, что он меня не увидит, был его собственный кабинет. Хотя — ну как довольно странно, в конце концов, вплотную находясь, лица не разглядишь. И я же не собиралась печатать длинное что-то, я даже не присаживалась. Я печатала на его машинке два раза. Первый раз я написала: "Почему вы со мной не разговариваете?" Второй раз, уже неделя-другая прошла, написала: "Привет. Привет. Привет". Как-то, прошло еще несколько месяцев, я купила ему книгу. "Уайнсбург, Огайо"[1] я ему купила и, когда его не было, положила к нему на стол. Так эта книга у него и провалялась чуть ли не месяц, а потом я подошла и ее забрала. Кажется, я иду полным ходом. "Эдна наконец-то двигается вперед" — такое именно ощущение. Мне нравится выражение "полным ходом", один из морских терминов, мы его все время употребляем, даже не думая о точном значении — полный вперед, движение, противоположное дрейфу, отклонению в сторону. Ближе к концу, когда Кларенс стал заводиться с полоборота, помню, сидим мы, завтракаем, я ему рассказываю что-то, неважно, а он вдруг как стукнет кулаком по столу, даже кофе из чашек на блюдца повыплескал, и как заорет: "Да когда же ты до дела дойдешь, к чертям собачьим!" Случилось это, я уже сказала, ближе к концу, причем я имею в виду конец Кларенса, и это особ статья, я к ней еще вернусь в своем месте, в своем месте перед тем, как все это кончить. Дрейф, отклонение, отклонение в сторону — вот в чем, как видно, беда.

(*пробел*)

"Заскочили шарики за ролики" — вот тоже интересное выражение. Мы с Кларенсом раз даже поспорили из-за этого оборота, он уверял, что надо говорить "закатились", явно имея в виду шарики-подшипники, пока я его не ткнула носом в сло-

1. Опубликованный в 1919 г. сборник рассказов американского писателя Шервуда Андерсона (1876—1941) о провинциальной жизни Америки.

варь. А с чего он это взял — да просто вырос в такой обстановке: по всему двору разобранные машины валялись. Он мне рассказывал — вечно во дворе разбитые машины, иногда сразу по несколько штук, ведь если машину угробили бесповоротно, куда ее девать, и, конечно, всюду катались шарики-подшипники. Эти шарики-подшипники, он говорил, использовали как боеприпасы при стрельбе из рогаток по белкам и кроликам. Ах, да какое там полным ходом, даже речи не было ни о чем подобном, пока я снова не стала печатать, и даже вопрос не стоял о том, чтобы прийти к заключению, найти решение, и прочее, дойти до точки, я имею в виду, где я перестану ворошить прошлое; а добраться куда-то, такой цели не было, вообще. Если у меня и была какая цель в недавние годы, так это, я уже говорила, убить время до четырех, когда можно будет уйти домой, хотя, как приду домой, я снова бралась за свое: обдумывала, перебирала, раскладывала по полочкам, разве что теперь уже в своем черном кресле. Может, слово "обдумывать" тут не совсем подходит, тут скорей подойдет "растекаться мыслью по древу". Ну, если, конечно, чересчур долго растекаться, в конце концов шарики могут заскочить за ролики, возможно, приятно заскочить, то есть *временно*, я подчеркиваю, в противоположность полной потере рассудка, навеки, или в противоположность тому состоянию, когда ты, как нанятая, без конца, растравляешь тоску, или вечно терзаешься какой-то непереносимой идеей, или к тебе напрочь прилепилось жуткое воспоминание, и не знаешь, на каком ты свете. "Шаляй-валяй" — вот как еще можно описать мои тогдашние мысли, придут и уйдут, налетят, улетят. Вообще-то, я тогда совсем потерялась, даже привыкла, что меня мотает, подхватывает всеми ветрами памяти, и потому вот снова стала печатать, а так трудно продвигаться вперед. Когда окна распахнуты, как, например, сейчас, и в них задувает умытый дождем ветерок, я прямо как на балконе печатаю. Слышу — воробушки чирикают на тротуаре, сквозь грохот фабрики мороженого я их слышу, сквозь шум машин. Утром взяла на кухне кусок лежалого хлеба, накрошила, как смогла, — он не настолько зачерствел, чтоб получились полноценные крошки, — и побросала в окно.

(*пробел*)

Положила книгу поверх страниц, какие вытащила из машинки, чтоб на пол не соскальзывали. Книгу взяла первую, какая попалась под руку, схватила с полки в коридоре, утром, когда шла в гостиную. Оказалось — "Груз мира" Петера Хандке,

помню, в свое время этой книгой зачитывалась, очень она тогда много мне говорила при тогдашнем моем настрое, а теперь название, по-моему, удивительно подошло, прямо мистика, учитывая новую роль произведения в качестве пресспапье. Подобные совпадения всегда меня волнуют и потрясают, встряхивают, я прямо как просыпаюсь, хотя перед этим вроде бы и не спала. Давно, когда была гораздо моложе, я несколько лет в своих рассуждениях систематически устраняла причинную связь в пользу случая, чтобы встряхнуться. Цель была — каждый миг превратить в поразительный случай, чтобы сквозь пленку привычки, которая, я даже тогда, даже в молодости, чувствовала, меня отделяет от подлинной жизни, ну, от того, что тогда мне казалось подлинной жизнью, как стекло между мной и миром, или, конечно, в более возвышенном смысле, как пластиковая пленка, под которой вещи в супермаркете кажутся далекими, неживыми. Я одно время всерьез над собой работала и добилась таких результатов, что, когда утром готовила кофе, наклонив кофейник, прямо искренне удивлялась, что струя льется в фильтр, а не наверх, в потолок, — радостно причем удивлялась. Конечно, я все время знала, что вода не брызнет в потолок, хотя и уверяла Кларенса, что запросто может брызнуть, запросто. Я говорила с Кларенсом, возможно, мешая ему работать, и он иногда даже отвечал, и, если его ответ хоть отдаленно соответствовал тому, что я только что сказала, я это считала редкой удачей. Кларенс говорил — это когда я все время упражнялась, — что невозможно систематически так жить. Я ему отвечала, что причем тут систематически, нет никаких систем, есть только ряд случаев, во-первых, и все, что не странно, невидимо. По-моему, это Валери сказал, ну или что-то подобное. Кларенсу, правда, я на Валери не ссылалась, его раздражало, когда я цитировала французских авторов. Но немного погодя мне все это поднадоело, я снова увидела мир, каким он был всегда, знакомый, привычный и до того весь стертый, что почти его не замечаешь.

(*пробел*)

Дворецкий умер, и на его место никого не взяли, рассчитали садовника, звери на ограде скрылись в куще нестриженных веток, прямо из клумб торчали дубы и ели. Школьники с грехом пополам выкашивали лужки, и папа по-прежнему, невзирая на погоду, часами лупил в гольф. Я из комнат слушала удары, бах, бах, такой сухой треск, как ружейная пальба, потом долгую тишину, это он шел из конца в конец луга и подбирал

мячи, а дальше снова — бах, бах, это он их гнал обратно. Иногда мяч бухался об стену, а то влетал в окно. На разбитые стекла папе было глубоко плевать, в теплую погоду все так и стояло, и ночью насекомые, хлынув в дыры, гудели и метались вокруг ламп, как бешеные, — не уснешь, когда внутри дома москиты. Зимой он затыкал дыры рифленым картоном, а летом — насекомые не насекомые ему было плевать, и я, как приеду домой, чуть не первым делом обойду комнаты, сосчитаю дыры и найму кого-нибудь их заделать. Железная черная ограда, давно без покраски, теперь уже не сверкала по весне свежо и сочно, стояла ржавая, бурая, и лучше от нее держаться подальше, не то вся заляпаешься. Кончики папиных усов, в молодости лихих, как бивни, теперь поникли вдоль висячих брыл. Не только что лицо, все тело у папы раздалось, осело, как песок в мешке, — толстозадый, красный, ходит и на ходу поддергивает штаны. Когда только-только прохудилась крыша, он мигом продал шифер, заменил какой-то дешевкой. Перегородил лестницу, ради экономии тепла, спал внизу, в кабинете, а я, как приеду, спала на диванчике в гостиной. Обои все были сплошь оплеснуты плесенью. Я была молодая еще, в мечтах: успех, прорыв, а тут — сплошная мерзость запустения. Ну и ездила домой все реже, реже, когда и приезжала, папа как-то терялся, и даже я не была уверена, что он меня узнает. То есть что сразу узнает — когда уж разговоримся, он все понемногу соображал. Чувство юмора, правда, тоже у него разладилось, ослабло, расшаталось буквально, часто густое забористое словцо — раз — и растечется жидким занудством. Гуляем, а он плетется за мною в нескольких шагах и, слышу, сам с собой хмыкает. Взял манеру говорить о себе в третьем лице — "он, значит" — "он, значит, сейчас себе соорудит джин с тоником", а ко мне обращался так: "ты, значит". Даже не знаю, ну неужели он сам считал это остроумным. Дико ополчался на тех, кто не понимал его шуток, а почти никто не понимал, и понимать было нечего. Раз как-то, в Филадельфии, нас вышибли из ресторана, до того он разорался на господина, который насчет этого оплошал. Я целыми днями читала, стряпала для папы, просто бродила по саду. Теперь, в одичалом виде, он мне был куда больше по душе. Спала я в гостиной, и папин мощный храп пробивал все стены и мешался с гудом насекомых. Будь я все еще маленькой девочкой, бежала бы в одну из дальних стран, открытых мною на марках. А так — лежу, вся вжавшись в диван, подушками обороняюсь от папиного беспощадного храпа (до наушников я пока не додумалась). Иногда совсем мочи моей нет, и — убегаю в ванную, печатаю там до утра. Вот тут-то, по-моему, я и

навострилась использовать печатанье для этой цели — чтобы не спятить. Легче не чувствовать одиночество, когда печатаешь, даже под безысходность Концерта для оркестра. Будь моя книга с главами, эту главу я назвала бы "Безысходность папиного храпа".

(*пробел*)

Одна рыбка плавала на боку, одна из трех золотых, остальные все — белые и красные. Длинный серый хвост, а сама мертвым мертвешенька. Длинные-то хвосты у них у всех сплошь, но эта *была* золотая рыбка, была раньше. В смысле, теперь стала мутно-белая, лежит и разлагается в воде, стирается в воде, вся кроме хвоста, он у них от смерти не меняется, как у нас, говорят, волосы и ногти. Я несколько дней к ним не спускалась, так что не знаю даже, когда именно она умерла и отчего, тем более, но не от голода, нет, это уж точно. Я ее выудила шумовкой, спустила в сортир, а потом покормила остальных. Папа умер, когда я еще училась в колледже. Мама раньше умерла, хотя не знаю, ему было известно или нет, мы даже имени ее между собой не поминали. Умер он внезапно, в мое отсутствие, я училась, и все мне хочется думать, что от апоплексического удара, это звучит так чинно, так по-викториански, а не как на самом деле было: от инфаркта миокарда, — бессердечность сплошная, — причем один-одинешенек, три дня провалявшись в ванной на кафеле, пока его не обнаружили. Инфаркт миокарда — это был непосредственный повод, я должна сказать, а истинная, настоящая причина — он умер с перепоя. Дом был продан, долги уплачены, и денег не то чтобы много осталось — не много, в смысле, по тем меркам, к каким я привыкла, хотя их было очень даже много по меркам людей типа Кларенса, который рос в нищете — что и было, по-моему, самое главное между нами различие, вот. За три года я существенную часть спустила, моталась по Европе, жила в Нью-Йорке в чу́дной квартире: большие окна, голубки на балконе, — а потом я встретила Кларенса, и уж сообща мы еще больше спустили, корча из себя профессиональных писателей, вместо того чтоб работать. Когда больше половины уже угробили, остаток я вложила в ценные бумаги, якобы для роста, по совету одного папиного коллеги, но так они и не выросли — и даже наоборот, правда потихоньку-полегоньку, день за днем, я и в ус не дула, ничего не замечала, заметила только уже через несколько лет, когда сумма совсем скукожилась. Возможно потому, что, как потом выяснилось, человек этот был папин коллега только узко в области охоты, в делах ничего ровным счетом не соображал, а на

жизнь зарабатывал, на самом деле, рисуя скаковых лошадок. Но деньги все равно и дальше скукоживались, и этот факт приводил Кларенса в отчаяние, он все приставал ко мне, мол, надо что-то предпринять, но я ничего не предпринимала, мне казалось, что денег нам и так хватает, надо только чуточку сократиться. Сейчас я склонна считать себя разоренной. Особенно я склонна думать на эту тему, буквально неотвязно думать на эту тему, если что-то совсем другое, постороннее, меня точит, ну, молоко прокисло, мало ли, и тут я даже могу сказать кому-то, что я, мол, разорена. Кстати, когда Поттс мне один раз совала деньги в долг, я ей так прямо и сказала. Но я не то что буквально разорена, нет, не полный же я банкрот, разве что иногда, к концу месяца, если увлекусь. Четыре ужина в столовой, два похода в кафе (кофе с печеньем), плюс такси из Центра, покупками слишком навьючилась, и вот в этом месяце *уже,* считайте, увлеклась, а он только-только начался, плюс еще, конечно, плата за квартиру, причем точней будет выразиться, *вопрос* платы за квартиру, и очень даже большой вопрос, поскольку я за этот месяц, в сущности, не заплатила, как, между прочим, и за предыдущий. Чем говорить о разорении, не лучше ли сказать "в стесненных обстоятельствах", хотя, конечно, через несколько недель я на самом деле разорюсь, да, потому что все продолжаю увлекаться (как описано выше). Одно время я прикидывала, если получится книга, не назвать ли мне ее "Бедные люди", но потом передумала, потому что такое название, без разъяснений, может увести читателя не туда, произвести ложное впечатление: совсем мы с Кларенсом не были бедны в том смысле, чтоб жить в глинобитной хижине или там есть с оловянных плошек. О бедных людях я думаю в более широком смысле, как о членах страждущего человечества. Вот напечатала, повернулась — а крыса смотрит на меня, стоит за стеклом, качается, как Кларенс в дверном проеме после кутежа, прислонясь к косяку, так мне подумалось. Ей-богу, ну до чего она мне надоела, буквально сил моих нет. Когда папа умер, я поехала в Париж, в первый раз поехала в Париж будучи взрослой. В основном в те поры наши знакомые туда ездили на пароходе, ну и я тоже поехала на "Иль де Франс", с одной подругой, Розалиной Шлоссберг. Собирались вместе провести лето, но в первую же парижскую неделю поцапались, и она укатила в Лондон в гордом одиночестве и оттуда распускала разные слухи. Подруга называется, ну нет, просто знакомая, Кларенс был мой единственный настоящий друг. Тут, чувствую, многим прямо не терпится, чтоб я сказала что-нибудь в том плане, что Кларенс был любовью всей моей жизни. С тем же успехом я могу сказать, что он был горе всей

моей жизни, мое наказание, главное препятствие на моем пути к высшим целям и все такое. Положа руку на сердце, могу сказать одно, что он был человек, с которым мне всего приятней было печатать бок о бок на многих разных пишущих машинках.

(*пробел*)

Очень я довольна машинкой, на которой сейчас печатаю, она сразу мне понравилась, едва я ее купила на Лафайетт-стрит в Нью-Йорке, за месяц перед тем, как сюда переехать, причем ведь решила уже переезжать, знала, что придется волочить лишний вес. Переехала сюда и сразу нашла работу — нет, не ту, куда недавно перестала ходить, другую, раньше, в продовольственном магазине. Это я впервые работала в нормальном смысле — в финансовом смысле, так точней будет сказать, — да уж, нормального тут маловато. Явно я ожидала иного поворота событий: ну кто станет покупать новую машинку, спрашивается, чтоб настрочить пару писем, а потом сунуть ее в чулан. До этой у меня была, в прошлом, куча разных машинок, но ни одна мне не нравилась до такой степени. Она у меня довольно большая — я бы так сказала, офисная машинка не из крупных, фирмы "Роял", и звук у клавиш густой, веский, не то что этот дешевый дробный стрекот маленьких машинок. Достаточно только послушать звук такой вот маленькой машинки, как мне вечно приходилось слушать, когда Кларенс печатал у меня над ухом в любое время дня и ночи, чтобы понять, что ничего из нее не может выйти путного, хотя, конечно, кое-что иногда и выходит, бывает, да. Когда говорю, что Кларенс печатал в любое время дня и ночи, я имею в виду манеру, которую он взял уже в зрелые свои годы: писать, когда надерется в доску. Мы тогда без конца таскались по гостям, а там толпились орды завзятых умников. Кларенс ввязывался в зажигательный разговор, и, к тому времени как мы добирались до дому, он, как правило, успевал полностью убедиться, что напал на след чего-то потрясающе мудрого и прекрасного. Был в полном экстазе от остроумнейших вещей, какие, оказывается, выдавал на гора и срочно должен был их закрепить на бумаге, чтобы вдруг не растерять, пока спит. Устроится перед своим этим кошмарным недоноском "Оливетти", частенько, между прочим, в одном исподнем, и стучит, стучит, а я пытаюсь заснуть, и время от времени еще останавливается, чтоб перечитать написанное. Всегда одобрял все, что написал в поддатом состоянии, я лежу и то и дело слышу восторги: "роскошно", "обалдеть", "они у меня попля-

шут". Слава те господи, я сама была хорошо под банкой, вообще пила в тот период, как лошадь, и скоро ухитрялась заснуть, и будила меня только тишина, или постель ходуном ходила, когда в конце концов он на нее заваливался, а в окне стоял уже серый рассвет. Конечно, на другой день он обнаруживал, что все, написанное в пьяном виде, отнюдь не столь изумительно, как ему помстилось, — часто это было прямо даже лишено смысла, а если, скажем, смысл и просматривался, то банальный, плоский, стертый, одним словом, никакой, и он тосковал, как никогда. И, конечно, в этих растрепанных чувствах, опять его тянет в гости, хоть я из кожи лезу вон, его уговариваю, мол, надо рвануть на природу, от всех этих субъектов подальше, бродить по горам и долам, соблюдать режим питания и сна и меньше пить. Я-то думала, достаточно ему хоть на время выбросить из головы мысли об этой несчастной славе, начать заново, с нуля, и все опять встанет на свои места. Но, конечно, ничего такого он себе позволить не мог, потому что в глубине души чувствовал, что теперь уж какое там встанет на свои места — теперь уж всё. И когда, наконец, я его уломала — режим сна, питания, долгие прогулки, весь этот джентльменский набор, пожалуйста, — дело обернулось катастрофой — ну как катастрофой, просто было новое разочарование, причем тогда, когда уже он больше никаких разочарований снести не мог. Кларенс жаждал писательского успеха, признания, больше он ничего на свете так не жаждал, ни к чему его так не тянуло, разве что попозже, наверно, к виски, а еще попозже — к виски и к Лили, причем для него сюда включался еще и коммерческий успех, пусть скромный, плюс чтоб было обязательно отношение как к профессиональному писателю со стороны других профессиональных писателей, откуда следовало, что надо вести себя по-писательски, исполнять разные писательские ритуалы, то есть держать корректуру, ходить, когда позовут, на презентации к другим писателям, каких мы толком не знали, а они, встретив на улице, даже не глядели в нашу сторону. Вечно он, печатая, озирался через плечо, беспокоился, терзался, под конец был прямо сам не свой — ах, что про это скажут, особенно в книжном мире, потом уже и в киношном. Верхом достижений для него, по идее, было, обедая в ресторане в Хэмптоне, подслушать ненароком, как за соседним столиком шепчутся, что тот мужчина, вон, с дикого вида бабой, писатель Кларенс Мортон. Я поняла, что это у него болезнь, наследственная, впитанная с молоком матери, потому что он родился в ничтожестве и воспитан среди людей, у которых слово "успех" не сходит с языка, а не то чтобы он вдруг в один прекрасный день раз — и избрал себе такую стезю, и,

значит, в жизни ему от этой болезни не вылечиться, хотя, когда мы только сошлись, я верила, что все у него получится. Он мог, например, описывая кого-то, с кем познакомился на презентации, когда уж я от них отказалась, заявить на голубом глазу, что это, видите ли, "успешный писатель", или выпустил, видите ли, "успешный фильм". Я всегда восставала против таких формулировок, но едва ли до него доходила суть — глянет дико и ляпнет что-то идиотское, типа "а чем вреден успех, по-твоему?" Ну, бесполезно же объяснять. А отказалась я от этих презентаций исключительно потому, что надоело и противно. И ведь кто-нибудь обязательно вдруг повернется к тебе и спросит: "А вы, Эдна, вы тоже пишете?" Ну, а я отвечаю: "Нет, я печатаю". Когда наконец его рассказы с руками отрывали в журналах, когда он написал свой "Ночной лес", он стал-таки успешным профессиональным писателем, но уже не способен был это ценить. Не способен ценить это дело — может, из-за меня, потому что мне на все такое было с высокой горы плевать. И встал в нашей семейной жизни вопрос: что ему надо больше ценить, себя или меня — ну, и тут он совсем запутался, и всё, а потом он встретил Лили. Она не ценила ничего, абсолютно, что ценила я, и при ней он сумел освободиться, он снова стал самим собой, стать-то стал, но опять-таки слишком поздно уже, да. Мне совершенно не до иронии, иначе бы я назвала свою книгу: "Как стать профессиональным писателем". Но что-то надо делать с крысиными опилками, ну больше невозможно сыпать сверху. Клетка уже почти полная, и ходы проделаны, перед стеклом, — это как муравейник. Крысятник.

(*пробел*)

Когда рассказывала, по каким причинам могу прервать печатание — надо поразмыслить, вдруг приспичит что-то еще сделать, — я упустила из виду заедание клавиш. Раньше я с этим не сталкивалась, а теперь, одну особенно, заедает каждый день, в самый неподходящий момент причем, когда меньше всего хочется отвлекаться. Я до сих пор про них не упоминала, потому что — ну как ты об этом будешь говорить и чтоб не получилось, что ты ноешь. Иной раз так увлечешься, сидя за машинкой, возьмешь такой разбег, пальцы не поспевают за мыслями, мысли толпятся, громоздятся одна на другую, их так много, мыслей, им тесно в голове, и тут я начинаю спотыкаться, у меня заплетаются пальцы, и — все: клавиши заедает, они сшибаются, перепутываются, ужас. Чтобы высвободить эти клавиши, мне надо всего-навсего их выковырять пальца-

ми, сперва те, что сверху, и так далее, — ну что особенного, в общем, даже упоминать не стоило бы, если бы тем дело и кончалось. Да, вот именно — если бы. Но когда я выковырю клавиши, пальцы-то у меня все перепачканы в чернилах, да? — и приходится вставать из-за стола и переть на кухню, или в ванную. А там не обойдешься тем, что просто взяла, сунула руку под кран, и всё — чернила тебе не пыль. Приходится ждать, топая ногой, нервно, может быть, насвистывая, пока потечет горячая вода (она поднимается из подвала, на это тоже уходит время), отмыть пальцы, а потом их вытереть полотенцем, если имеется, конечно, полотенце, а его, я обнаружила, сейчас нет в наличии, последнее чистое полотенце пущено на пыльные тряпки, я даже, кажется, упоминала, или вытереть о платье, — вот, вытерла — или о брюки, и еще помахать руками на ходу. Когда такое случается с клавишами, с ума можно сойти. Хочется бить по машинке кулаками или даже ее швырнуть через всю комнату, как однажды Кларенс, и я колочусь об каретку лбом, хотя толку, конечно, чуть, разве что морально легче. Он швырнул машинку не из-за клавиш, он ее швырнул потому, что решил в жизни больше не писать, по крайней мере, так он орал, швыряясь. Он потом еще раз ее метнул, но причина опять-таки ничего общего не имела с проблемой клавиш, вообще с машинками. И он не одну и ту же машинку оба раза бросал, потому что ту, которую в первый раз бросил, он вдрызг расколошматил, и если ее и можно было куда-то снова бросить, так исключительно в мусорный бак. А во второй раз он бросил мою машинку, но он ее не разбил, потому что он бросил ее на постель. Вот, кстати, подумала: ведь те, кому до тридцати, понятия, наверно, не имеют, как вообще заедает клавиши и как они выглядят, с чем их едят. Если книга все же выйдет, придется объяснять, как работает машинка, даже включить чертеж, и там особо выделить такие клавиши, чтоб люди понимали. В Потопотавоке у меня отобрали мою машинку. Я послала багаж вперед, приезжаю, чемоданы все в моей хижине, рядком стоят перед койкой, а машинки нет. При переезде, мол, затерялась, и мне другую якобы выдадут, но ничего мне не выдали. А через две недели вдруг вижу: стоит моя машинка в кабинете у директора. Я мимо шла, дверь была открыта, и я ее заприметила — на полу, под стулом. Он сказал, что она только-только доставлена, но так я ему и поверила. Эта книга Петера Хандке сдвинулась-таки, съехала, уволокла за собой страницы, всё плюхнулось на пол, со стуком, я даже вздрогнула. Кстати, когда животное в единственном числе, его клетку, по-моему, ни муравейником, ни тем более крысятником не назовешь.

(*пробел*)

Может, вовсе я и не иду полным ходом вперед, я, по моему, даже отстаю, плетусь. Жизнь продолжается, вот в чем проблема. Не то чтобы вовсю продолжается, но продолжается, пусть через пень-колоду. Пыхтит, сопит, можно и так, наверно, выразиться, или еле-еле плетется, я уже говорила. Почти ничего не происходит, в полном смысле слова, но, чувствую, даже за этим за всем, что тащится ни шатко ни валко, и то я не поспеваю, хоть я вам не средняя какая-нибудь машинистка. Я, по-моему, с каждой секундой больше отстаю. Вот хочу написать про то, что было пятьдесят лет назад, и Лили, и тот дом в зимней Франции с желтыми обоями ждут в кулисах своего выхода, а тут рамка у фотографии сломалась, надо же, и об этом придется упомянуть, и о западающих клавишах, о пыли, и прочее, прочее, ах, да когда это кончится?

(*пробел*)

В колледже я много кому, много чего перепечатывала. Просят, ну, я пожалуйста. Это мне придавало статус, хотя, наверно, не в том суть, на статус, по-моему, мне было всегда глубоко плевать — просто я уже тогда любила печатать, и всё. А по ходу пьесы я им подправляла грамматику, пунктуацию и правописание, естественно. У меня врожденная грамотность, пишу как дышу, это всё мои корни, конечно, социальное положение и так далее, а для некоторых это же безумно трудно. Мне достаточно произнести фразу вслух, и я вижу — тут полный порядок, а им приходится вспоминать правила, но, если человек, предположим, даже и правильно напишет, погодя, когда я разжую, подскажу, все равно я по стилю определяю, что он пишет с натугой по правилам. Даже Кларенс, бывало, спотыкался, из-за своих корней. Он со скрипом признавал, что с такой-то фразой у него не заладилось, точно так же, как не всегда он замечал, что сюжетный ход у него банальный и эпигонский. Вечно совал мне всякую всячину, чтобы перепечатала, сам-то печатал медленно, коряво, до ужаса неаккуратно, чтобы перепечатала получше и ошибки исправила. И, бывало, я себе позволю чуть больше, не только вычеркну самое дикое, а прочее причешу, в смысле грамматики. Иногда я много чего меняла, много чего меняла по существу. Ему я объясняла, что все слова, какие он *хотел* написать, остались при нем, тут как тут, но теперь прояснились его намерения. Конечно, он видел, что́ я делаю, но нет, чтоб попросить, вообще никогда ни звука. Нет, чтоб сказать: "Может, подправишь

текст, сделаешь получше, а, Эдна?" Ну что вы, исключительно: "Не перепечатаешь мне тут, старуха?" Когда орал на меня, мол, дойду ли я в конце концов до дела, это когда стал заводиться с полоборота, я рассказывала, он уже подсел на Лили (так теперь говорят?) — снюхались, но пока втихаря, в аптеке, после работы, пока еще этого не демонстрировали на публике. Лили печатала двумя пальчиками. Конечно, едва ли это имело такое уж большое значение, поскольку Кларенс к тому времени совсем перестал писать. Где-то, в своем месте, мне придется объяснить насчет Лили и аптеки, и я же не объяснила еще про Потопотавок, что само по себе кому-то покажется странным. Если бы это вдруг прочитал Кларенс, ему это показалось бы странным. Странным, да, не сомневаюсь, или, как он любил выражаться, глубоко симптоматичным. Но тут я ухожу на запасный путь, тоже интересное выражение, хоть я не стану сейчас вдаваться в его природу, не время, разве что позже когда-нибудь решу поговорить о поездах, а что? вполне возможный вариант. Мне бы сказать, *опять* я ухожу на запасный путь, поскольку факт остается печальным фактом, я продвигаюсь вперед, причем без Лили, без аптеки. И если меня снова потянет прилечь на диван, придется убирать всю эту дребедень, которую я сама и понакидала, книги, фоточки и тому подобное и эти коробки с лентами. Меня теперь не тянет постоянно прилечь, как несколько недель назад, тогда я чуть не весь день проводила в горизонтальном положении. Можно и на кровать прилечь, конечно, была бы охота, и на ковер возле стола, такое тоже бывало. Но лечь на ковер теперь меня уже вряд ли потянет — из-за мусора, мусора на полу, законченных страниц, которые сползли со стола, и еще скомканных, которые я выдирала из машинки и швыряла, причем не упоминала об этом, исключительно боясь выдать свое отчаяние, плюс листья, отломившиеся от папоротника, когда я его к стенке пихала, плюс шарики Найджела, я вечно их рассыпаю из мешка, когда несу на кухню, и этот Петер Хандке, и разве теперь что разберешь, разве теперь что найдешь, когда надо бы порыться, что-то прояснить ближе к началу. И давным-давно надо было объяснить, что, если я говорю "пол", я имею в виду ковер, большая часть моих страниц именно что на ковре. Все думаю — надо, надо прибрать, и ничего я не прибираю.

(*пробел*)

Сложила книги, которые на диване валялись, опять в этот книжный шкафчик. Их немного было. Бóльшую часть своих

книг я держу на стеллажах в прихожей. Дверь на кухню у меня в дальнем конце прихожей, ну, даже не дверь, просто дверной проем — стоя в гостиной, ты спокойно можешь увидеть всю квартиру насквозь, плюс можешь посмотреть в заднее окно, хоть на что там смотреть, — железная оградка пожарного выхода, тыл кирпичного здания через дорогу, раньше это была школа, но уже сколько лет никто там не учится и заколочены окна. Ничего ты там не увидишь, в смысле одушевленных предметов, людей, деревьев, но кухонное окно выходит на запад и служит отчасти рамкой для закатов, рамкой для части заката, остальное застит эта несчастная школа. В одной стене прихожей — дверь в спальню, и, за исключением этой двери и дверного проема на кухню, прихожая вся сплошь в книжных полках, от пола до потолка, а кое-где эти полки и над дверями. Как только сюда вселилась, чуть не первым делом позвала плотника их построить. Весь день шаркая туда-сюда, на кухню и обратно, и в ванную, она у меня в стороне от кухни, я хожу мимо полок, но я на книги не смотрю, человек, как правило, не смотрит на то, что у него постоянно перед глазами. Не то что я избегаю на них смотреть. Просто я сейчас почти не читаю книг, так чего же смотреть? Не знаю даже, зачем я их держу, может, просто многие у меня давно, кое-какие десятки лет. Они даже пахнут затхлостью, как старые тряпки, как старые матрасы. Для здоровья человека, я где-то читала, старые книги даже вредней, чем кошки. Книги же, как подумаешь, из немногих предметов нашего личного обихода, которые невозможно помыть. Крыса подняла дикий шум. Опять передние лапки в стекло уперла. Стучит зубами, прямо душераздирающий звук, глаза выпучила, буквально сейчас вылезут из орбит. Если бы я к ней относилась с большей симпатией, я бы, наверно, вообразила, что она хочет мне что-то сказать, надувает щеки, напрасно пытается сообщить что-то безумно для нее важное, или у нее это припадок. Придется ей поменять опилки, куда денешься, но это лезть туда рукой! Нет, не могу, пока она там. Видимо, на это время надо будет закинуть ее в ванну. В последний раз я много читала уже в Потопотавоке, там я, по-моему, читала запоем, не отрываясь, все больше журналы, печатать я там не могла, я, кажется, уже излагала, так что либо читай, либо бесись, либо в окно гляди, как падают листья, как падает снег, а потом, совсем потом, гляди уже на свежие листья, и все по новой. *Исключительно* журналы, если точно, — по-моему, я ни единой книги там не прочла. И телевизора у меня там не было, был в главном здании громадный такой аппарат, вечно включенный, даже если рядом никого, ну, иногда пойдешь,

посмотришь. Здесь у меня тоже нет телевизора, был, но я молодому человеку отдала, который приходил окна мыть, ах, да когда это было, и я, кажется, опять-таки уже излагала. Вот, прямо слышу, вопросы и вопросы: "Что же ты делала-то, как время убивала, когда не работала, раз ты не читала, не печатала да и телевизор не смотрела?" Мой ответ — не знаю, честно. Немного погуляешь, немного в доме приберешь, что-то приготовишь, есть-то надо, в магазине купишь ерунду какую-то, чуть носом поклюешь, посмотришь несколько минут в окно — и день прошел, то-сё, всякие мелочи, а набегают. День убить нетрудно, и не то что у меня безумно много дел, а время, оно само по себе идет так быстро. Дни, я хочу сказать, мелькают, не успеешь глазом моргнуть, летят, летят, даже скучные дни — раз и нет. Говорю, а в уме светлые окна летящего мимо поезда. Я уже довольно давно почти совсем не читаю, но даже когда бросила читать, только журналы просматривала, я некоторое время еще покупала книги, думала когда-нибудь потом прочту, и даже тогда покупала, когда уже не могла себе это позволить. В разные периоды жизни мне встречались разные люди, которые, когда не могли себе позволить купить книгу, без зазрения совести ее воровали. До нашего знакомства Кларенс регулярно воровал книги, хоть ничего другого ни за что бы не украл. Люди типа Кларенса, насколько я понимаю, считают, что украсть книжку — это в порядке вещей, самое милое дело, причем под "типа Кларенса" я имею в виду писателей с притязаниями. Нет почему, мне, кстати, и художники попадались, которые регулярно воровали краски. Много лет назад в такой денек сходила бы я в книжный магазин. Торчала в книжных магазинах часами, целые главы, бывало, прочту, стоя у полки, и кто-нибудь подойдет, пристроится рядом, спросит: "Вы, я вижу, Икса-Игрека читаете. Ну и как вам?" Сколько же еще страниц на пол посваливалось, и звук такой — шелест, шорох, — как от крыльев сразу многого множества птиц. Пиджак — единственная солидная вещь, какую, помню, я украла, — солидная в отличие от разной ерунды: шариковых ручек, скрепок, это я регулярно таскала, и не думаю, чтобы кто-нибудь, увидев, как я тащу подобные предметы, сильно этим озаботился. Этот пиджак я той осенью украла. Один мужчина постучал в стеклянную дверь, с улицы, а я сижу, почту разбираю. Бродт был наверху, так что я открыла сама, и мужчина передал мне женский кожаный пиджак — подобрал его в гараже, на полу. Я повесила пиджак на спинку стула, думала отдать Бродту, когда вернется, а сама унесла домой. Не помню, чтоб я еще что-нибудь уносила, кроме, как уже сказано, разной ерунды, вроде скре-

пок, да, и один раз большой синий стэплер, и еще раз крошечный радиоприемничек, не больше пачки сигарет. Причем наушники я оставила, думала, противно будет в уши пластиковые кнопки совать, и уже дома разобралась, что без них его не послушаешь, у него своего динамика нет, ну и я его выбросила. Я, конечно, ничего не таскала с работы на регулярной основе. И все же Бродт, по-моему, что-то учуял. Как-то в пятницу прихожу я сверху, почту распределяла, чек мой за неделю лежит на столе, как всегда, но вот открываю сумочку, чтоб туда его сунуть, а там, замечаю, все лежит не разберипоймешь как, кто-то рылся, явно. Конечно, Бродт не видел мужчину, который мне оставил пиджак, но ведь он мог наткнуться на него позже, мало ли, оказались рядом на футболе в следующий выходной, разговорились, тот упомянул, совершенно случайно, как оставил кожаный пиджак в кабинете у Бродта, и Бродт, хочешь не хочешь, сделал свой вывод. Или что-то в таком роде. Тот случай, когда кто-то копался в моей сумке, был сто лет назад, я, возможно, неверно запомнила порядок событий. Может, он копался до того, как я украла пиджак, а не после, и в таком случае он копался с какой-то другой целью, если он вообще копался. И зачем ему копаться? Мне нравится выражение "проделки памяти", в смысле, когда кто-то, если не удается вспомнить что-то так, как помнишь ты, говорит: "Тут, по-моему, твоя память тебя подводит", причем с намеком, что именно у тебя память такая проказливая. Когда-то я купила билет в спальный вагон от Севильи, в Испании, до Гейдельберга, в Германии. Всю дорогу, на каждой станции, когда поезд тормозил и замирал, я просыпалась, поднимала оконную шторку, пыталась что-то рассмотреть и понять, где мы. Над каждой платформой было название станции, но порой мой вагон останавливался на таком неудобном месте, откуда названия не разглядишь, как ни вжимайся щекой в стекло, и я удивилась, когда вдруг, посреди ночи, разглядела-таки название, по которому поняла, что мы в Швейцарии. Ну кто бы мог подумать, что поезд, направляющийся из испанской Севильи в Германию, в Гейдельберг, будет проходить по Швейцарии? Хоть я исколесила всю Европу, верней, ту ее часть, по которой в те поры было не запрещено колесить, в Швейцарию я потом ни разу не попадала, так что, не проснись я в ту минуту в поезде из Севильи, остановись, предположим, поезд в другой части платформы, я бы так и не узнала до конца своих дней, что побывала в Швейцарии.

(*пробел*)

В Америке я путешествовала на машине и на самолете, а потом, когда мы более-менее разорились, иногда на автобусе. Бывало, я и на поезде по Америке ездила, в основном между Нью-Йорком и Бостоном, а два раза мы с Кларенсом проехали на поезде всю дорогу от Нью-Йорка до Лос-Анжелеса и обратно. Я имею в виду, естественно, пассажирские поезда — Кларенс единственный из всех, кого я знаю, действительно ездил на товарных поездах, хотя он на них ездил, чтобы потом написать для журнала очерк, что, конечно, не совсем то же самое, что по-настоящему на них ездить. Явно, даже если бы я тогда не проснулась или, скажем, не сумела прочесть название той станции, все равно я раз в жизни проезжала по Швейцарии. А с другой стороны, если бы я не проснулась и так далее, или поезд на самом деле проезжал исключительно по Франции, как естественно предположить, ну какая мне, собственно, разница, в смысле, какая разница, проспать ли Францию, проспать Швейцарию? Вот я и думаю: что важней — то, что на самом деле когда-то с нами случилось, или то, что запомнилось? Наверно, вот сейчас, вот в эту самую минуту, только от сознания, что среди стран, которые мне довелось посетить, была и Швейцария, я пусть чуточку, тютельку, но меняюсь? А с другой стороны, все равно я на эту самую тютельку бы изменилась, если поезд на самом деле катил себе по Франции, а я просто вообразила, что он остановился в Швейцарии, вообразила, в смысле, потому что неправильно прочла французское название, или, например, вовсе и не просыпалась, а мне просто приснилось, что мы в Швейцарии. Конечно, если бы поезд на самом деле шел по Швейцарии, как мне твердо запомнилось, а потом свернся бы с кручи, о, вот тут была бы очень большая разница, это было бы не то, что проспать Францию, да, совсем не то.

(*пробел*)

Все получилось не так ужасно, как я опасалась. Только я подняла крышку, он кинулся в свою трубу и там затаился, хотя этот запах! Я все вычистила, выбросила кухонной лопаткой, и вылези он, я бы его огрела, а потом я помыла дно хлоркой, причем в ответ из трубы шел тоненький чих, будто отдирают почтовую марку. Грязные опилки я покидала в мешок — заранее снаружи поставила на пожарном выходе. Франция, а я как-то зимой потащила туда Кларенса, была второй безумной роскошью, какую мы себе позволили на мои деньги, но их тогда еще порядочно оставалось. Первый раз это была поездка в Африку. И сейчас, спустя столько лет, я не перестаю удив-

ляться, что участвовала когда-то в африканском сафари, причем это не то, что сейчас у них называется сафари, увеселительная прогулка, это настоящее сафари, охота с целью поубивать как можно больше крупных зверей, хотя слона мы ни разу не убивали, слон, конечно, самое крупное животное, а самый крупный, кого мы убили, в действительности был буйвол. Лично я его не убивала, все Кларенс, а я торчала в отеле с расстройством желудка. Ну не то что в отеле, это был длинный сарай, койки в два этажа, две кабинки снаружи под оловянными крышами, и там, если туда бегаешь днем, а меня часто припирало, из-за расстройства желудка, буквально погибаешь от вони и духоты. Я потому, наверно, до сих удивляюсь, что участвовала в сафари, потому, наверно, что оно совершенно не вяжется с моим характером, причем прекрасно вяжется, наоборот, с характером Кларенса. Та фотография в рамке, у которой я разбила стекло, была как раз снята во время сафари. Я ее вынула из рамки, чтобы выковырять из вмятин осколки, и временно прилепила к окну, куда обычно клею записки, да, а чем не записка? — не забыть купить для рамки новое стекло. Кларенс здесь с двумя мертвыми львами. Он над ними стоит, сапогом попирая круп одного, по-моему, это лев: там были лев и львица. Фотография снята не сразу на месте, не где мы их убили. Они лежат на земле, посреди лагеря, африканцы их только что вытащили из грузовика, тянули, тянули за лапы, пока не вывалились. На заднем фоне вы видите грузовик. Львы попáдали друг на друга. Головы на фотографии отрезаны, почему я и не могу сказать, попирает Кларенс льва или львицу. Вообще, так много отрезано, что если заранее не знать, что это львы, можно подумать, что рядом с Кларенсом лежат два мешка с песком, ну, или с пшеницей, неважно, и он поставил ногу на один из мешков. В поднятой руке у Кларенса бокал с шампанским, хотя, конечно, по фотографии вы, опять-таки, не определите, чтó у него в бокале — но это было шампанское, да, последняя из бездны бутылок, которые мы понакупили в Найроби для подобных случаев, когда мы (Кларенс, как правило) убьем крупного зверя. Лед у нас весь вышел еще за несколько дней до того, шампанское было теплое и отвратное, на мой взгляд, хоть не припомню, чтоб Кларенс жаловался. Только что я стояла рядом, с ним чокалась, и отступила, чтоб его щелкнуть. У меня ум за разум зашел, шутка ли, убить льва, вот почему, наверно, я такие важные вещи, как, скажем, их головы, пооставляла за кадром. Теперь я раскаиваюсь в этом убийстве, но тогда все было легко, я была еще под влиянием Кларенса. Мне кажется, я была тогда совершенно счастлива. Ну как счастлива, не вооб-

ще, не всегда, но, помню, я была счастлива почти все время тогда в Африке, счастлива в том смысле, что мне было плевать на чувства других, особенно львов, а им-то самим плевать на чувства других, известное дело. Это тогда, в Африке, я у Кларенса переняла манеру свистом подзывать слуг. Когда я говорю, что легко было убивать львов, я имею в виду, что морально легко, а так — пойди попробуй. И когда я говорю, что была под влиянием Кларенса, я имею в виду, под влиянием по части всяких привходящих вещей, ну, охота на львов или теннис, а в другом, во многом, он был под моим влиянием. Как-то раз, давным-давно, когда еще мы с Поттс прикидывали, не могут ли наши добрососедские отношения перерасти в кое-что посерьезней, она сюда ходила, расспрашивала насчет фотографий, и я ей все рассказала про то, как убила льва. По-моему, она пришла в ужас, поняв, какое я при этом получила удовольствие. Удивляюсь, как еще она мне доверила свою крысу. При всем при том, что так много осталось за кадром, этот снимок верно отражает действительность. Я хочу сказать, если думаешь про Кларенса в последние годы, представляешь себе главным образом, как стоит человек, одиноко, с бокалом в руке, и, если всерьез принять этих львов за мешки с песком, снимок будет даже еще ближе к действительности, будет даже еще точней отражать ощущение, какое у него было в те годы, что он в безопасности, в обороне и что он подкреплен, причем последнее относится к виски, конечно, но потом и к Лили, по-моему, к ее близости, такая иллюзия, что он подкреплен. Его на самом деле подпитывала, да, дикая энергия, какую она вкладывала в каждый свой жест и шаг, когда сам он чуть ли не окончательно скис, и он как бы заново оживал, но я зато подыхала, особенно из-за ее юной красы, самого факта, что юная краса до сих пор при ней. Черты тонкие, четкие, и она ничуточки не расплылась, не обабилась, и, главное, по-моему, Кларенса привлекало и тешило, давало это ощущение — он подкреплен, — что она в той поре, в такой силе, что мысли о смерти прямо негде тут притулиться. Говорю себе "Ладно, хватит про эту Лили", хочу двинуться дальше, но вот заело меня, застопорило, прямо заклинило, хлынуло это непрошенное воспоминание (мысли совершенно не слушаются меня): она сидит у окна в доме с желтыми обоями, черные волосы волнятся, затеняют часть лица. Южный слепящий день смотрит сквозь сетку, которую она нацепила на мое окно. Зной даже насекомых сморил. Она говорит со мной, а я не слышу ни единого слова — в воспоминании, в смысле, не слышу ни единого слова. Лили имела манеру, когда разговаривает, смотреть в ок-

но, так что чувствуешь — ты тут и не тут, не с ней, ты где-то на горизонте, а не растянулась на продавленном диване, как было на самом деле, и о будущем она говорила так, будто вот оно, вот совсем рядом, рукой подать, шагнуть и вступить, и недостижимое время не отрезает его от нас негаданной далью. Слушая ее, я вдруг поняла — в смысле, меня вдруг осенила мысль, до того ясная, просто вспышка, — да ведь они с Кларенсом два сапога пара. Нет, не то что я буквально подумала, *они созданы друг для друга* — в этих самых словах, но такое было ощущение, вдруг. Не пойму, и с чего мне вечно мерещатся эти черные волосы, когда они у нее были русые.

(*пробел*)

Позавчера, по-моему, да, вот когда я в последний раз покормила рыб. И забыла прикрыть аквариум крышкой, и повыползали улитки. Улитки явно выпозли, да, в аквариуме ни единой улитки. Я на полу искала, я искала в цветочных горшках, поскольку им там было бы естественно пристроиться, будучи улитками, пусть, положим, и не садовыми. Нашла в кухонном столе фонарик, хотела под мебелью посветить, а вдруг они туда забились. На несколько секунд загорелся жидкий желтый свет — и на этом всё. Я не стала закрывать аквариум крышкой, на случай, вдруг они все же одумаются и вернутся, как-никак водные существа. Придется смотреть, куда ступаешь, особенно идя по темному ковру, на нем практически невозможно заметить темных водных улиток. Сидела в кресле покойного Поттса, смотрела, как питаются рыбки, малюсенькие ломтики пищи опадают, как снежинки, рыба мечется туда-сюда, их ловит, глотает — снежинки опадают, хочется сказать, в зеленом воздухе лета. Как-то папа меня вынес на улицу во время пурги, он держал меня на руках, и мы бродили туда-сюда по аллее перед домом. Огромные ватные хлопья летели вниз, и я открывала рот, их ловила, и воздух был тогда черный, синий. Посмотрела я на рыбок, вздремнула в качалке мистера Поттса, и был уже темный вечер, когда я проснулась. Лампа на лестнице перегорела, и, карабкаясь наверх, я держалась руками за стенку. Вспомнилась картинка на обложке моего "Преступления и наказания" — Раскольников взбирается по темной лестнице, вот точно так же, идет убивать никому не нужную старуху. А теперь вот я, никому не нужная старуха, также иду убивать... кого-что? Время, наверно. Устроилась уже в своем собственном кресле, и тут вспомнила, здрасьте, что забыла полить цветы, и зачем тогда было таскаться вниз, спрашивается? Опять дождь. Крыса вертится в колесе — и этот шум!

Взяла манеру часами вертеться, причем и среди бела дня. Активность, что ли, развила — может, под влиянием погоды, а может, просто когда идет дождь, я больше ее замечаю. Два дня назад, печатая про светлые окна летящего мимо поезда и следующий кусок про то, что не знаю, была ли во Франции или в Швейцарии, я вдруг спохватилась, что забыла, какой в тот момент был день недели — название, так сказать, летящего мимо окна. В смысле, забыла, какой день недели был, когда я печатала, не тогда, конечно, когда в поезде ехала, хоть его я тоже забыла, естественно, по прошествии стольких лет, но в то время я его безусловно помнила — попробуй путешествовать, покупать билеты на поезд, заказывать номер в гостинице, если не помнишь, какой день недели. А раз я не помню, какой день недели был позавчера, я не помню, как следствие, какой день недели сегодня, когда я снова сижу за машинкой. В последнее время мне трудно сладить с мыслями — их удерживать, чтоб не путались. Чем больше я стараюсь навести в них порядок, тем больше они запутываются, клубком — типичная муха в паутине, бьется-бьется и только усугубляет свое положение. Как-то, озирая беспорядок в своей комнате, я сказала Кларенсу, что этот кавардак меня замучил, я с ума схожу. Ну а он решил, что я имею в виду кавардак у себя в голове, что насчет "с ума схожу" это я буквально, и тут я как заору: "Мне не доктор нужен, а уборщица!" Типично для Кларенса — слушать тебя в полуха и не схватывать суть.

(*пробел*)

Вот прямо физически чувствую — огромное, неодолимое, бьюсь об него, как головой об стенку. Точно не могу описать, толком так и не разглядела. То ли потому что оно слишком близко, то ли чересчур далеко — не могу понять. Знаю только, что оно нависает, грозит, состоит из чего-то немыслимо твердого и, того гляди, разобьет мою голову, если я не перестану об него биться, и оно преграждает мне путь. Правда изредка, когда нет солнца, и открыто окно, и щебечут птички, я его как бы не ощущаю, и я обнадеживаюсь. Готовлю первую чашечку кофе, тащу на свой маленький столик, тут не до завтрака, я слишком волнуюсь. Успеется с завтраком, потом, потом, а сперва... И я придвигаю стул, вставляю в каретку бумагу. И сразу, буквально пока я все это проделываю, спокойствие мое убывает, мелеет, несмотря на все мои (умственные) попытки его удержать. Так продолжается долго. И что-то не то с этими бегониями — чуть не все листья опали, а на стеблях белый какой-то нарост, вроде плесени.

(*пробел*)

На поезде и на двух автобусах, вот как я добиралась до Потопотавока. Второй автобус ехал часами, часами, я подскакивала, меня мотало на горной витой и узкой дороге, занавешенной ветками, и листья на них уже начинали желтеть. Я приехала раньше всех. Стою на ступенях Ангара, смотрю, а они приезжают, высыпают из автобусов и фургонов в своих идиотских шапочках. Кое-кто шатается после круженья дороги, щурится на яркое, стылое сентябрьское солнце, кто-то орет и посвистывает, кто-то тузит воздух кулаками, выбираясь из транспорта, а кто прибыл пораньше, жмется к персоналу возле стоянки, хлопает, машет. Раньше Потопотавок был лагерем для бой-скаутов, и в округе его по сей день называют Лагерь. Для обитателей он тоже "Лагерь", и друг друга здесь называют скаутами: "Привет, скаут" — это если напорешься на него на тропе, или "Скаут, передай-ка горчицу" — это в столовой. Правда, в отличие от настоящего лагеря, остальные — обслуга, начальство, если можно так выразиться, вожатыми не назывались, они были — персонал. Иногда слово "персонал" имело собирательное значение, как, например во фразе "Персонал совещается в Ангаре", а иногда — нет, как например: "Осторожно, под окном персонал", и, если в таком случае высунешься, действительно под окном обнаружишь — затаился, явно причем, индивид. Некоторые обитатели были отчасти знамениты, широко известны в узких кругах, можно сказать, но они не прославились, круги были не те, и они, эти люди то есть, рухнули, в общем, опустились до последней степени, потеряли талант, волю к жизни, или не знаю что, и считалось, что пребывание в Потопотавоке им поможет это дело восстановить, снова встать на ноги, — так это называлось. Соответственно их состоянию там царила атмосфера беспробудного веселья, отчасти, наверно, потому, что многие ничего не помнили, другие невесть что воображали и хватало пьяниц. Воображали — в смысле насчет самих себя, своего будущего, своего таланта, а не в смысле, что у них были прямо-таки галлюцинации. Лагерь состоял, с географической точки зрения, из горы и озера. Наверху горы стояло исключительно модерновое здание — стеклянный фасад, балки наружу, скошенные стены из нетесаного песчаника, — названное Ангаром в честь покатой крыши, которая так низко нависала над входом, что мужчины, кто повыше, иногда об нее стукались и матерились. Рядом стояло другое здание, поменьше и не настолько новомодное, — резные карнизы, высокие окна со стальными

горбылями, как старинная текстильная фабрика, откуда и название — Фабрика. Большинство обитателей и часть персонала здесь и жили. А остальные в разбросанных по лесу хижинах. Не знаю, случайно или нарочно большинство шумных и чересчур общительных типов селили на Фабрике, где и происходили всякие недоразумения, гулянки и драки, пусть обычно и не кулачные драки — словесные бои, водные бои, а иногда шла в ход туалетная бумага. Ну, бывало, и книгами швырялись. В основном эти драки происходили на их гулянках, по-моему. Не знаю, сама не ходила, только слышала у себя в хижине. Широкий луг через лес спускался от Ангара до самого озера. И был подгнивший причал на берегу этого озера, несколько разбитых лодок вечно уносило к другому берегу, и они застревали там в камышах. Полно водорослей, не поплаваешь, и никаких тебе весел. Большинство хижин было от меня через луг, так что я ни на кого не напарывалась, если держалась тропок по свою сторону.

(*пробел*)

Обитатели Потопотавока, исключая персонал, были либо постоянные, либо временные. Я была временная, меня взяли на три осенних недельки — пусть мол я побуду, осмотрюсь, а там они решат, насколько я здорова, так они выразились в своем письме. Я буквально расхохоталась, прочитав это их "насколько здорова", а Кларенс, о, Кларенс бесился, ведь он работал в поте лица, заполняя все эти их анкеты и бланки, пользуясь влияньем друзей, чтоб меня упечь. Из-за этих моих страниц, которые им послал Кларенс, мне причем ни звука, нахватал более-менее наобум, — из-за этих страниц, которые я и тогда уже не нумеровала, они меня взяли, уверена. Он им сказал, что якобы это первые страницы романа, первой главы романа под названием "Брунгильда на балконе", я дескать над ним работаю двадцать лет, хоть никакое это было не начало, я печатала просто так, вообще, а Брунгильда была кое в чем на меня похожа, то есть какая я была, когда про нее писала, сейчас я не очень-то на нее похожа, когда есть время порассуждать. Постоянные обычно смотрели на временных свысока, но не на временных женщин, тех пытались заполучить. Из-за женщин дрались, их не хватало, и составлялись группки, и кого-то не пускали за какие-то столики. Будто, только ступив на эту почву, моментально человек заражался духом былых скаутов, но возраст и неудача портили этот дух, сводили к подростковой безмозглости, и, как ты ни пыжься, как ни изображай отвагу ти-

па сам черт не брат, ежу понятно, что дела твои швах. Новенькие сперва тушевались: смотришь, вылезает из автобуса, губы поджаты, ввалились глаза, а денька через три встречаешь его на пинг-понге, а он уже бодренький, как синичка. "Привет, скаут, — чирикает, — сыгранем?" Персонал их распределял по отрядам, играли в футбол и фрисби в лугах, а ночью, я слышала, катались на лодках по озеру, подгребая руками. Почему-то такое я смешалась с постоянными. Не то чтобы я прямо с ними якшалась, вместе выпивали-закусывали, что вы, ничего кроме шашек, но обслуга меня зачислила в постоянные. Как ни крути, я торчала тут изо дня в день, ну и укоренилась, и никто теперь даже не думал спрашивать: "А вы тут по какому случаю?" Постоянные не уезжали, верней, не уезжали насовсем, — уедут осенью, а весной вернутся, как утки. По большей части они возвращались, надо сказать, вместе с другими, кого здесь раньше не видели или кого здесь давно не видели. Так что Потопотавок вечно обновлялся. "Это интересно, — кто-то сказал о вечном прибытии новеньких, — вечное обновление, оно омолаживает", — так он сказал в своей речи на собрании в Ангаре по случаю нового семестра. Я всех оглядела: все на одно лицо.

(*пробел*)

Перестала печатать, пошла, села в кресло. Тут стараешься вспомнить, а крыса чешется. Может, блохи? И когда чешется, главное, стучит по стеклу локтями. Не знаю, конечно, эта часть — локоть у них или нет. Я понимала, до какой степени Кларенс от меня ускользает, но, когда тут стучат, разве можно сосредоточиться, и я сказала себе: "Ладно, лучше я соберу эти страницы", имея в виду страницы, которые сползли со стола, а их уже набралось достаточно. По всему полу валяются, я упоминала, конечно, и я на них наступаю. Несколько раз чуть не поскользнулась, они же разъезжаются, когда на них ступишь. Скинула с дивана подушку, встала на нее коленками, и давай сгребать какие поближе листки. Пыталась отломанную ветку папоротника приспособить как шест, притабанить те, что подальше, но сперва он вихлялся, потом сломался. До каких смогла дотянуться, все сложила стопкой. Найджел перестал стучать. Смотрю, следит за мной и, похоже, усами шевелит, хоть не так я близко была, чтоб настолько мелкое разглядеть, как усы. Скомкала одну страницу. Уставилась в пол, мну, раскатываю, осторожно, чтоб не было никаких подозрений. Сжала мятую бумагу в тугой комок. Поднимаю голову: смотрит. "Чего уставился?" — как заору,

и — запустила в него этой скатанной бумагой. Замахнулась и ну чувствую — сейчас я это его стекло как камнем пробью. Выпустила комок, пролетел чуть-чуть, раз, и плюхнулся на пол, будто его удержала невидимая рука. Беру другой лист, еще туже скатываю по полу ладонью, а Найджел, как ни в чем не бывало, сверху за мной наблюдает. Этот подольше долетел, тюкнул слабенько об стекло. Найджел отпрянул, но в трубу свою и не подумал соваться. Ну, и я плюнула на это дело, надоело бумагу месить, сколько можно, и, главное, что это даст. Устроилась в кресле, сижу, сжимаю подлокотники, сердце бухает, взгляд, наверно, горящий, может, даже испепеляющий взгляд. А Найджел вертелся себе в своем колесе.

(*пробел*)

Сегодня четверг. Сходила в кафе, выяснила, какой сегодня день. За столиком у окна сидела одна женщина, в прошлом приятельствовали, теперь она меня вроде в упор не видит, ну и пусть, я не собираюсь о ней тут распространяться. Раз уж пришла, съела миндальный круассан и почитала газету. Обычно я газету не покупаю — сниму со стеллажа, почитаю и сую обратно, поскольку мне их новости даром не нужны и все остальное тоже, кроме кроссвордов. Я и в кафе-то пошла, не в столовку, куда обычно хожу выпить кофе, потому что в столовке газеты снаружи, на тротуаре, в автомате, и надо кидать монету. Прежде чем совать газету обратно на полку, я вырвала кроссворд, прижала к себе газету под столиком и медленно так вырывала, чтобы без треска. Как правило, я карандашиком поверх газетной шапки пишу: "Кроссворд отсутствует", — чтобы кто любит решать кроссворды и, вроде меня, только ради них покупает газету, сразу взял бы другой экземпляр. А сегодня не стала. Даже не знаю почему. По дороге домой зашла в лавку, купила батарейки для фонарика и виноград без косточек в пластиковом прозрачном пакете. За кассой сидела не Элви, другая какая-то девица, не знаю. Это ж надо, и откуда только в такое время года берут виноград. Не помню, я упомянула сезон? Возможно, и нет, но я не намерена ворошить все эти страницы, чтобы удостоверяться. Лучше я вот сейчас запишу для порядка, что время года, на которое только что я ссылалась, — поздняя весна. Не зима, понятное дело, о зиме не может быть и речи, исключено, я бы жаловалась, что замерзла, а я об этом даже не заикнулась, с тех пор как рассказала о своем походе за машинкой, а когда это было! Уже несколько месяцев нет того невозможного холода, какой мы терпели глубокой зимой и о каком бы я уж

точно упомянула, если б тогда я печатала. Иногда, когда мы с Кларенсом бывали относительно разорены, нам попадались сплошь дико холодные дома, и я печатала в перчатках без пальцев, и зимой в Потопотавоке тоже, но это уже после. Я и не думала надевать такие перчатки, кошмарно замерзая на той ферме, на юге Франции, я к ней потом еще непременно вернусь, и это странно, учитывая, что один рабочий, помнится, который вставлял оконные стекла в папином доме, как-то зимним снежным днем был в таких перчатках, и я про них знала, выходит, уже во Франции знала, что такая вещь, как перчатки без пальцев, существует на свете. Свою первую пару я купила в Оушен-сити, в Нью-Джерси, когда мы там поблизости разорились. В Потопотавоке я нашла шерстяные перчатки под стулом в Ангаре, я отхватила у них пальцы, но мои пальцы все равно синели, как ударит мороз. Вот почему, наверно, я там перестала печатать, а не из-за того, что творилось у меня в голове, тем более не из-за того, что люди болтали. Как-то, по забывчивости, их надела в Ангар, а тут один и говорит: "А это не мои, случайно, перчатки?" Потом увидел, что пальцев нет, и говорит: "Да черт с ними, бери их себе". Не помню, я раньше уже отражала тот факт или нет, что я там перестала печатать. Это был единственный раз, до того как я сюда переехала, что я перестала печатать решительно и надолго, хоть Кларенс ко мне без конца приставал, что, мол, хватит, пора завязывать, он считал, что я слишком много печатаю и толком не ем, причем он имел в виду, что не ем за столом, цивилизованно, вместо того чтоб кусошничать за машинкой, когда мы ездили отдыхать особенно. На самом деле, я терпеть не могла, когда у меня крошки в машинке, и никогда за машинкой я не ела, разве что печатала что-то, что боялась упустить, беспокоилась, как бы не вылетело из головы, пока я сижу за столом с другими, вникаю в разговор и так далее. Кларенс хотел, чтобы я вникала в пейзаж, зеленый и мирный, к примеру, или обалделый от солнца и голый, все бывает, — куда только нас во время отпуска ни носило. В кафе многие печатают на компьютерах. Пальцы бегают, а ни звука, и не могу отделаться от подозрения, что они не печатают, а только делают вид. В Потопотавоке сперва не хотели отдавать мне мою машинку, но я настояла. Сказала директору, что не выйду из кабинета, пока он мне ее не вернет. И с тех пор я держала ее при себе, таскала вверх-вниз по холмам, между Ангаром и хижиной по несколько раз на дню, и ставила на нее ноги в столовой.

(*пробел*)

Это была "смит-корона" в твердой пластиковой сумке с ручкой, как чемоданчик с виду, и таскать ее было не так трудно, как кому-то казалось, наверно. Но все равно я беспокоилась, как бы ее не украли, пока я сплю. Я с собой привезла веревку, чтоб вешать стираное белье в комнате, как я дома вешала, когда мы относительно разорялись, и куском этой веревки я на ночь к себе привязывала машинку. Веревка была плотная, я сказала, да, но все же не проволока, и каждый, кому не лень, мог перерезать ее ножницами. Мой расчет был, что поскольку они знать не знают про веревку, с какой радости им таскать с собой ножницы, тем более нож, а без ножниц и без ножа попробуй-ка развяжи узлы, какие я насобачилась вязать, когда мы с Кларенсом взбирались на горы. Правда потом, когда осознала, что больше не буду печатать, я перестала таскать с собой эту машинку, и веревкой уже не пользовалась. И вот я возвращалась домой, присела на лавочку на Пенн-Стейшн, поставила рядом машинку, и кто-то просто стащил ее у меня, пока я пробовала разобраться в своем билете. И ничего, в Трентоне сошла с поезда, купила точно такую же, хотя не была уверена, что снова собираюсь печатать.

(*пробел*)

Было темно, когда я спустилась в квартиру к Поттс. Шагнула через порог, нащупывала выключатель, и тут хрустнуло. Я была в ботинках. Не знаю, во-первых, сколько их там было, — но уж не единственный экземпляр, это точно. Подцепила бумажной салфеткой, спустила в унитаз. Кларенс любил сырых устриц и хохотал, когда я ему пеняла, что он их глотает прямо живьем. Я, наверно, избавлюсь от этих книг. В конце концов, я давно не очень-то их читаю и едва ли стану читать в будущем, раз я опять начала печатать. Иной раз, конечно, и взглянешь на корешки, что правда, то правда, идешь, например, по прихожей, и, если особенно почему-нибудь придется остановиться, отдышаться, скажем, держась за полку, ну голова закружилась между гостиной и кухней, или припомнить надо, зачем шла, ну мало ли, и одного взгляда бывает достаточно, чтоб мысль заработала и в памяти встало, о чем эта книга и что в моей жизни творилось, когда я читала ее в первый раз. В первый я раз читала "Уайнсбург, Огайо", когда познакомилась с Кларенсом. И даже не будет особым преувеличеньем сказать, как я частенько говорила в компании, что "Уайнсбург, Огайо" нас свел — во всяком случае, это Кларенс нашел удобный предлог, чтоб оста-

новиться и со мной заговорить, поскольку он как раз читал ту же книгу. Я читала на ступеньках Метрополитен-музея, там особенно пригревало апрельское солнце, а злой ветер, задувавший из парка, спотыкался, не мог одолеть ступенек, и там-то Кларенс остановился, там-то он со мной и заговорил. Он пришел просветиться по части искусства. Буквальные его слова: "Вот решил просветиться по части искусства". И он *сказал*, да, что читает "Уайнсбург, Огайо", вот как надо бы напечатать, потому что, когда пошел разговор о книге, оказалось, что он не очень-то в курсе. В этом смысле, ну как подстрекатели памяти, книги то же, что фотографии. "Свет в августе" — вот еще удачный пример: один взгляд на желтую с черным суперобложку, и опять я во Франции, в том громадном доме на ферме, где мы с Кларенсом провели целую зиму. Он в первый раз был в Европе, а я уже третий раз, не считая детства. В тот год во Франции стояли жуткие холода, такая стужа, что большущие льдины плыли по Сене — фотографии, кстати, были во всех газетах, — и холод загнал нас на кухню, и мы день и ночь топили плиту, ели и спали на кухне, а дом был громадный, пять или шесть спален. Плита была тоже громадная, но тепло уходило в трубу — мы сами чуть ли в нее не влезали, чтобы хоть немного согреться, и у меня так коченели руки, что я еле переворачивала страницы книги, которую тогда читала, и книга была "Свет в августе", но я говорила уже. Я ее купила в маленьком английском магазинчике на Rue de Seine в Париже, решила, что мне понравится, ведь понравился же "Шум и ярость", да? — но оказалось, что это вообще книга не про меня, совершенно не в моем духе книга. И все равно я ее сохраняла все эти годы, упаковывала и распаковывала с тех пор уж не знаю сколько раз. Странно, вплоть до последнего времени мне это было не в тягость. А теперь, по мне, не только что "Свет в августе" тяжелая книга — все мои книги сплошь. Хотя, может, не сами книги мне в тягость, а эти воспоминания: упаковываешь их, распаковываешь. Когда мы мотались по свету, а мы чуть не все время мотались, пока были вместе, мы таскали с собой большущие сундуки, и там были книги, и ружья Кларенса, и клюшки для гольфа. Ну, не то что мы физически их на себе таскали, когда путешествовали — этого еще не хватало — мы их отправляли загодя, по адресу, куда направлялись. Единственный раз, когда мы взяли все свои пожитки с собой — это в последнюю нашу поездку, мы тогда все сволокли на юг в "понтиаке", в фургоне. Найджел в своем кольце, оно кружится и шуршит. Я почти уже не замечаю, а как замечу, вдруг, сразу стучу ему по клетке, чтобы унялся.

Причем иногда он соскакивает с колеса, но тут же снова заскакивает.

(*пробел*)

Мы читали друг другу. Бегали по книжным лавкам, говорили о книгах и читали друг другу — вот чем мы сначала в основном занимались. Читали главы по очереди; а если попадется длинный диалог или когда пьесу читаем, мы распределяли ее по ролям. Читали больше в постели, но еще, особенно в наш ранний период, читали, сидя друг против друга на стульях, или сидя бок о бок на диване, или на скамейке в парке, в поезде на запад и обратно. Не знаю даже, почему мы перестали вместе читать, но постепенно это стало происходить все реже, реже, и постепенно, сами не заметив, как это вышло, мы начали читать разные книги, и постепенно стало неважно, что читает другой, не твоя книга, и ладно, и мы скучали и отвлекались, когда другой рассказывал про свою книгу. А читая разные книги, мы что делали — мы обставляли разные жилища, мы чуть ли не отдельные миры создавали, чтоб в них оказаться порознь и вновь себя обрести. И, конечно, так мы и сидели порознь, и постепенно мы все больше и больше времени проводили порознь, в этих раздельных мирах, а не в доме, где мы жили вдвоем. Когда Кларенс ушел от меня, я, по-моему, не стала более одинокой, чем когда он был дома, уже под конец. Если б сейчас я открыла дверь и каким-то чудом обнаружила, что он сидит на площадке, я бы, конечно, удивилась, поскольку, учитывая обстоятельства, это было бы вот уж именно что чудо, но, отвлекаясь от этой стороны дела, какая, в сущности, разница? — ну сидел бы он на площадке, читал бы что-то, мне глубоко не интересное, и мы бы, наверно, даже не попытались это обсуждать. Чего тут обсуждать. Нет, надо, наверно, отдать эти книги, раз читать я их не собираюсь. Но тогда придется терпеть голые полки. Представляю: иду через прихожую, закружилась голова, и не на что опереться, кроме голых полок. Все равно что в подземке в обморок падать.

(*пробел*)

Я когда-то была, видимо, недурна, ну как недурна, ничего себе, по-моему. “Ах, она, видимо, была недурна”, наверно, говорят, да, кое-кто говорил, глядя на меня и призадумавшись. Факт тот, что я никогда не была, что называется записная красотка. Миленькая, это да. Имела уютный, домашний вид, а что радости, я даже злилась, зная, что это сплошной обман

зрения, и лицо мне как бы не давало выглядеть самой собой — я выходила в жизнь, а лицо мне мешало. Кларенс остановился и со мной заговорил, и это не потому, что я была уж ах какая красотка, по-моему, а потому, что он был в состоянии догадаться, что у меня внутри. Если получится книга, придется вставить несколько слов насчет моей тогдашней внешности. "Худая", "сутуловатая", "светло-русая", "сильный подбородок", "зеленые глаза", "плоская как доска", "острый взгляд" — эти слова придется, видимо, вставить, если я вообще что-то стану вставлять. А еще в книге надо будет описать себя теперешнюю поподробней, чем я до сих пор описывала, а это не так-то просто.

(*пробел*)

Оперла зеркальце о кофейную чашку и могу себя видеть, пока печатаю. Разглядываю себя вблизи: вижу глаз. Как он выглядит, этот глаз? Смотрит. Моргает, наверно, но, когда он моргает, я его не вижу. В детстве я пробовала себя увидеть с закрытыми глазами. Мне хотелось знать, у меня веки сморщенные, как у моих двоюродных братцев, когда они жмурятся во время игры, или они гладкие, бледные, голубоватые, как у мамы, когда жарким вечером она лежит на тахте. В зеркале я вижу женщину (а это важно?) неопределенного возраста, ну, явно старую, но сколько лет, неизвестно. Волосы жидкие и очевидно подстрижены дома самим владельцем. Гнутая спина (в зеркале видно), на загривке нахлобучка, не то чтобы прямо горб, но заметно. Часто надевает наушники, даже в жару, из-за грохота улицы и этих компрессоров. Говорит, рада будет, когда оглохнет.

(*пробел*)

Опять звонил Джиамати. Сказала ему, что скоро. И наклеила новую записку: КОРМИТЬ РЫБ. Наклеила в таком месте, чтоб видеть, когда печатаю, прямо над той, которую написала сто лет назад, крохотными буковками, и отчеркнула красным на линованной карточке, теперь побурело все, чернила выцвели, мне бы в жизни не прочесть, да я наизусть помню: ГРОМ ВДРУГ УДАРИЛ ОПЯТЬ, КАК ВЫСТРЕЛОМ, КАК ХЛЫСТОМ РАСКРОИВ НЕБО. Я ее там поместила, потому что это одна из лучших коротких фраз, какие я знаю. Ну не то что вообще из лучших фраз, конечно, но из коротких фраз, какие я знаю относительно Мексики. Вставила новые батарейки в фонарик Поттс, посветила под мебелью и на-

шла этих улиток, да, всех, по-моему, причем зажатых в щели между стеной и фанерным тылом комода, на котором стоит аквариум, по всей длине плинтуса. Сплошь высохшие. Отправились, стало быть, на поиски более пышных пажитей, думая (типа), что заросший зеленый пруд поджидает их сразу за горизонтом. Интересно, как человечья дурь через все животное царство доходит аж до улиток — они повели себя, я хочу сказать, как типичный Кларенс. Пробовала отодвинуть комод от стены, чтоб достать их ручкой метлы, но комод тяжеленный, из-за аквариума, щель слишком узкая для этой ручки, втиснуть я ее еще кое-как втиснула, но она застряла. Так и стоит — щетиной кверху, прижатая к стене за стеклом. Взяла стакан, зачерпнула у рыбок воды, сверху полила на улиток. Не знаю, в какой момент Кларенс решил стать писателем. Позже, чем я, это точно, поскольку я старше, и семья у меня более продвинутая, чем у него. Ну как более продвинутая, это слово тут не слишком подходит, богаче культурными возможностями, что ли, в таком духе отразила бы данную ситуацию пресса. Когда мы познакомились, я уже сто лет как писала, а он чуть ли не когда уже кончил свое фармацевтическое училище, да, вот тогда только он бесповоротно решился. Говорю "бесповоротно решился", поскольку это постоянные его слова, так он мне и на ступенях "Метрополитена" объявил, в день, когда мы познакомились. Он постоянно это так формулировал, несмотря на упрямый факт, что, бесповоротно решившись, он палец о палец не ударил, чтобы изменить свою жизнь, не дал писательству хоть бы чуть ее изменить, и она оставалась у него все той же, самой что ни на есть заурядной, а его послушать, так трудовой и тяжелой. Подбавил, наверно, парочку курсов по английской литературе в свое университетское расписание, пытался читать книги вроде "Улисса", про которого ему сказали, что это сложно, но надо читать, и даже необходимо, и о самом себе начал говорить иначе, по-новому, типа — он писатель, не лыком шит, хоть это было глупо, поскольку он пока ничего еще толком не написал, но, с другой стороны, это было необходимо — как заявка на будущее. Кларенс всерьез верил, что прямо кровь из носу *обязан* читать книги вроде "Улисса", "Дон Кихота" или "Тристрама Шенди", как я ни втемяшивала ему, что это глупо, раз ему неохота их читать. Он искренне верил в подобную муть, и что он якобы *должен* просветиться по части искусства, и эта его искренность в тот период даже меня умиляла. Но он не уселся, нет, и не стал писать, когда уже бесповоротно решился, потому что все беспокоился насчет денег, думал о том, как бы зара-

ботать на жизнь, пока он "пробьется", тоже любимое его словцо. Я уже упоминала, какой отвратно расчетливый и мелочный он иногда бывал в меркантильных вопросах, но это все из-за его корней, из-за паники, как бы не впасть в нищету. Когда мы познакомились в Нью-Йорке, он жил (чуть не написала — "упорно жил") в убогой однокомнатной квартиренке в Бронксе, на работу мотался в Йонкерс, в аптеку, где служил фармацевтом, и между делом пытался писать рассказы, причем "пытался" в те поры значило, что он, как и я, кстати, сидел за машинкой, стучать стучал, но ничего не выдавал на гора.

(*пробел*)

Прилегла, подумала — дай-ка слегка отдохну. А проснулась уже я пятом часу и, пока комната не вернулась в фокус, не могла сообразить, где я. Сама услышала, как кричу: "Эй, эй", как раньше, когда, бывало, проснусь и не знаю, есть ли кто-то дома, причем "кто-то" был, понятное дело, Кларенс, кроме короткого периода после того, как он умотал к Лили, и когда этот "кто-то" был Стивен. Стивен был недолго, дело не дошло до того, чтобы просыпаться и думать, что рядом ах, именно он. Видимо, пока спала, я забыла, что живу теперь одна-одинешенька, и, когда, проснувшись, совершенно заново обнаружила этот факт, я, как теперь говорится, была в шоке. А почему я чуть не написала, что Кларенс *упорно* жил в паршивенькой квартиренке в Бронксе, — да потому, что так мне тогда казалось, так и лезло в голову подозрение, что просто он выпендривается, ведь до той поры среди моих знакомых не было по-настоящему бедных людей. Ну да, жили, кое-кто, в явном убожестве, но это исключительно потому, что деньги им надоели, а в бедности есть что-то свеженькое, приманчивое, и все они, кроме двоих, те погибли при пожаре, погодя снова стали как сыр в масле кататься. Кларенс был прямо-таки круглый невежда, когда мы с ним познакомились, и поэтому он робел. Говорить с увлечением о чем бы то ни было рисковал, исключительно получив санкцию: боялся сесть в лужу. Пристал к группке занюханных каких-то писателей, стал повторять их суждения, чьи же еще, и, сам поскольку не знал, чем ему восхищаться, восхищался тем, чем восхищались они, и это был полный кошмар. Иногда, правда, он не очень стеснялся. Раз как-то понес что-то, не поддающееся описанию, по поводу Модильяни, в котором тогда еще не разобрался, причем при моих друзьях той эпохи, мы только-только объявились в Нью-Йорке все вме-

сте — молодые писатели, — и девица одна, я потом напрочь перестала с ней разговаривать, все его подначивала, науськивала на дурацкие благоглупости. Помню: вхожу, а он разливается, Модильяни, Лотреамон, а Лотреамона, кстати, ни единой строки не нюхал. Я прямиком к радио, включаю, чтоб он заткнулся, а он только громче надсаживается, ну я его потянула за руку с пуфа и заставила со мной танцевать. Потом, правда, он заимел целый набор суждений, и уж это было святое, хоть я как дважды два доказывала ему, что тут сплошная вульгарщина и банальность. Весь наш с ним первый год он был бурно увлечен своими писаньями, причем они были пока типичное не то, а я тогда уже подустала. Мне было двадцать шесть лет, а я дико устала. В колледже еще мне надоело все, что обычно списывается на юношеские порывы, хоть у самой у меня этих порывов не наблюдалось, ну, разве что в начале первого курса, а теперь мне и взрослые порывы осатанели. Из-за чего я, по-моему, и влюбилась в Кларенса, он, по-видимому, подобной усталости даже отдаленно себе не представлял. Знакомые говорили, что я всю свою жизнь "подлаживаю под Кларенса" (по крайней мере, мне кажется, что так они говорили, то есть *теперь* я думаю, что *тогда* они так говорили), а ведь дело, по сути, обстояло с точностью до наоборот, я имела все, чего не хватало Кларенсу, имела, в смысле, благодаря своим корням и культуре. Эту книгу надо разделить на две части: "Восхождение Эдны" и "Восхождение Кларенса". Или можно вторую часть озаглавить — "Падение Эдны", да, оно как-то горше, острей и точней передаст это ощущение: падаешь, падаешь с кручи, и все до того необъяснимо, до того невозможно понять. Филодендрон (это он, по-моему), кажется, завял.

(*пробел*)

Когда окно широко открыто, я отлично слышу шум с Пряжки. Даже громче в такие дни, как сегодня, в пасмурные дни, я заметила, звук потому что ударяет в облако и отскакивает. Вот знаю, что так оно и есть, а все же странно: как нечто, такое невидимое — звук, может отскакивать от чего-то такого мягкого — от облака. Сегодня прохладней, но окон я пока не закрываю, ведь тогда придется любоваться чумазыми стеклами, печатать при проходящем сквозь них грязном свете. "Сильно немолодая особа отстукивает на машинке всю свою жизнь в комнате, залитой грязным светом", — так тоже можно бы мою книгу начать. Не понимаю, с чего это я вдруг переполошилась из-за своих окон, они сто лет уже грязные и с

каждым днем становятся чуть грязней, молекула за молекулой, я себе представляю, и так годами, плюс еще я их записочками обляпала. Мытье окон я не могу осилить. Осилить в смысле мойки, конечно, не орудий, подумаешь, орудия: швабра, ведро, пара тряпок — вот, вроде, и все. Орудия, естественно, я могу осилить, по крайней мере, с финансовой точки зрения, хоть, возможно, в данный момент они мне и не по карману, в этом месяце то есть, ну и в том, наверно, если вдруг что-то неожиданное не произойдет. Но ни в какой момент, никогда в смысле, ни при какой погоде, мне их не осилить с физической точки зрения — даже представить жутко, как бы я тряслась на полусогнутых на подоконнике, отскребая окно снаружи, где основная грязь, — в тридцати футах над тротуаром. Так и будут они все грязней и грязней, пока мир, дом напротив, и солнце не смажутся, не помутятся, совсем не погаснут. "Так, молекула за молекулой, ее мир погас", — вот как, наверно, будет, и чем вам не вторая фраза — подготовка сцены к тому что произойдет, — или не произойдет. Посмотрят-посмотрят люди на мои окна, увидят, ну, копошится кто-то по ту сторону стекла, и не смогут определить, это мужчина или женщина.

(*пробел*)

Кларенс был очень собой хорош, сильный, мужественный, так мне сразу показалось, хоть по-настоящему мужественным он стал только потом уже, когда поднабрал вес, отрастил усики под Кларка Гейбла. К тридцати он заматерел, да и тогда по-настоящему впечатлял мужественностью. Усы одно время были аж как у Эмилиано Сапаты[1]. Когда мы познакомились, он, конечно, уже был мужественный, но такой легкий, летящий, что ли, не знаю, стройный, молоденький, с ошеломленным взглядом, никакой брутальностью пока и не пахло, и на его ошеломленность в первую очередь, будто мир ему в новинку, сотворяется прямо у него на глазах, вот на что я купилась, из-за моей усталости, но я повторяюсь, — и куда это все подевалось? Первое, что он опубликовал — мы три года уже были вместе — рассказ, такое воспоминание, в общем, — как он охотился мальчишкой на белок, подробности этой охоты с маленьким ружьецом, причем ясно, что белки в то время были ох как нужны в качестве пищи, и де-

1. Эмилиано Сапата (1879—1919) — вождь мексиканской революции 1910—1917 гг.

монстрировались, соответственно, нужда и невзгоды его детства. Куда он только ни тыкался, всюду одно — не мычат и не телятся. В три-четыре места он этот рассказ посылал, месяцами держали и возвращали без единого слова. Но в конце концов на внешность, на мужественность как раз и клюнули, опубликовали-таки в охотничьем журнале — он туда лично наведался, послал рукопись по почте и явился собственной персоной спросить их мнение, а они только глянули на него и поняли моментально, что в рассказе сплошная подлинность. В ту эпоху очень ценилась искренность, подлинность. Интересно, как некоторые вещи в определенную эпоху считаются важными, необходимыми, как воздух, а после, потом, становятся абсолютно ненужными, теперь, например, будь кто-то или что-то да хоть вопиюще фальшивым — всем плевать с высокой горы. Эти детские лишения придавали его рассказам подлинность и значительность, но в то же время самому ему придавали узколобость и нетерпимость, он считал, например, что, если ты не претерпела явных, жестоких страданий, в общем-то, внешних, какие терпел он сам, какие поколениями терпела его семья, значит, ты вообще не страдала, а просто выпендривалась и делала вид. "Мученья на нервной почве" — любимая формулировочка, в смысле не настоящие мученья, и он думал, хоть сказать ни разу не сказал, не посмел, что, если ты не претерпела этих явных, жестоких мучений, никогда тебе не написать ничего подлинного и стоящего. Роковая с его стороны ошибка, и он из-за нее пихал, главное, в свои рассказы такие вещи, как война, убийства, изнасилования, словом, все, что считал значительным, без конца адюльтеры, разводы, даже геноцид евреев не обошел, и голод в Африке, приплел-таки по одному разу в качестве, что ли, гарнира, рассчитывая причем, что и рассказы станут из-за этого значительными, а они получались банальными, вот и весь результат. Я ему объясняла, что не события делают рассказ выдающимся, все с точностью до наоборот, но он был не в состоянии это усвоить. Утром нашла в холодильнике виноград, недавно купила, упоминала, кажется, но совсем вылетело из головы, он, правда, сморщился, но так ничего, и я умяла весь пакет, пока решала кроссворд, который стащила в кафе. Не все решила. Было время, я регулярно решала кроссворды, сплошь до единого слова, теперь это исключено, куда там, столько вопросов, связанных с телевизионными шоу и этими их звездами, которых можно усвоить, только смотря телевизор — упорно причем, по-моему, смотря телевизор. В последние годы даже "Нью-Йорк таймс" помещает такие кроссворды,

не по зубам для людей моего типа, людей литературных и без телевизора. По зрелом размышлении я даже предположила, что не стала на днях писать свое обычное уведомление о том, что вырван кроссворд, потому что мне чужды те, кто в наши дни решает кроссворды. Смотрю на эти кроссворды, смотрю на людей в кафе, уставившихся в компьютеры, и думаю — кто эти люди?

(*пробел*)

Виноград оказался не настолько вкусный, как я предположила, когда увидела его в магазине, даже со скидкой на то, что он не совсем свежий, так долго пролежал в холодильнике. И форма типичное не то, весь вытянутый, как сосульки какие-то, и тверже, чем надо, не прожуешь. Все это, по-моему, доказывает исключительно, что он прибыл издалека, что, между прочим, естественно, учитывая, что сейчас у нас, я уже упоминала, весна, да, из Чили, наверно, или из самой Австралии. Где-то там, на краю света, люди собирают сейчас виноград. Вообще-то, сейчас машины его собирают, наверно. И ведь его таким специально выращивают, чтоб выдерживал долгий путь, чтоб не растрясся, не превратился при транспортировке в кашу, наверно. Когда в первый раз я была во Франции, в смысле в первый раз уже взрослая, но еще в колледже, ну, когда я туда поехала с Розалиной Шлоссберг, я отправилась в одну деревушку под Авиньоном собирать виноград в самом конце лета, — когда пробыла в Париже всего месяца два, но меня уже дома ждали — с двумя молодыми немцами, а познакомилась я с ними за несколько дней до того. Спала сперва с одним, потом с другим, потом с обоими. Ночевали в спальных мешках, на полу, на чердаке над конюшней. Внизу, под нами, держали двух волов, и ночью мы слышали, как они переминаются в стойлах, и эта их вонь сперва убивает, но к запаху в два счета принюхиваешься, потом не учуешь, даже если будешь специально стараться. Под "спала" я имею в виду, что я с ними трахалась, и мы потом засыпали, прильнув друг к другу и пригревшись в спальном мешке. Кое-кого покорежит от моих формулировок, наверно. Многие иностранцы, которых я встречала в Париже, ездили осенью собирать виноград, чтоб подзаработать деньжат, так все они говорили, а на самом деле потому, конечно, что это истинное удовольствие. Говоря об иностранцах, я в данном случае подразумеваю скорей тех, кто не является французом, а не тех, кто не является американцем, и для них это именно что способ подзаработать, потому что на сбор

винограда, в отличие от других работ, нефранцузам не требуется разрешения, ну, а я-то сама, я собирала виноград всего в тот единственный раз. Одного парня звали Карл, а второго забыла, как звали, помню только, был у него длинный такой подбородок, и вообще, в смысле внешности с Карлом его не сравнить, но в остальном он был очень даже забавный и вполне ничего. Виноград не рвешь, его срезаешь ножом, у ножа такое гнутое лезвие, и, если без навыка, на руках скоро вскакивают волдыри. После работы мы плавали в ручье, я отдыхала посредине, на камне, холодила в воде свои несчастные руки. Нет, это, наверно, придется выпустить. Поразительно, сколько застревает в памяти всякой белиберды.

(*пробел*)

Снова опрыскала папоротник, итого опрыскала его сегодня три раза, забывала вчера и позавчера, я всю прошлую неделю, в общем-то, забывала. Он теперь, кажется, весь не такой зеленый, как раньше, но возможно, эффект освещения. Не то чтобы я сплошь всю неделю забывала — нет, вдруг вспомнишь, скажешь себе "Да-да, сейчас", а потом вылетает из головы. Я, конечно, прекрасно усвоила, что не надо поливать рядом со стеной, и теперь та половина папоротника, которая у стены, побурела. Да, надо будет его вытащить на середину комнаты, и тогда, пожалуйста, обходи кругом и опрыскивай. Кларенс делался похотливым, когда перепьет, распускался причем похабно и грубо, особенно в зрелые годы, когда все еще был хорош собой, хоть отяжелел и, в общем, имел потасканный вид, как побитый боксер-чемпион, и он регулярно пропадал с девицами, которых подцеплял в гостях, на чтениях, когда еще выступал с этим чтением собственных текстов, ну, я не знаю, на спортивных мероприятиях, когда еще писал про эти мероприятия для журналов. Под "пропадал" я имею в виду, что он сразу с ними учапывал, где бы дело ни происходило в данный момент — бассейн, прием, мало ли, стадион, теннисный корт, — а еще я имею в виду метафорически, то есть он при виде иной юной дамы или девицы буквально таял, растворялся, да, и у него разыгрывался аппетит, на него находило, вдруг, как припадок, буквально. Это выглядело, я ему говорила, просто патологически. Но эти припадки, при всей сокрушительности, длились недолго, налетел и прошел, и привет, и в итоге пшик, и Кларенс на мели, в кресле, на пляже, неважно, весь красный, запыхавшийся — да, я должна сказать, абсолютно смехотворный вид. Еще и потому смехотворный, что объекты его

страсти, вплоть до эпохи Лили, были уж до того невозможны, и для всех, кроме него, это было очевидно с первой минуты, и у него самого на то, чтоб разобраться, уходило, как правило, всего дня на два побольше, хотя один раз потребовался аж месяц. Особую слабость он питал к студенточкам, его защитные рубежи, такие уж рубежи, понятно, легко сметало обожанье сексуально озабоченных юных существ — манящие формы, зачатки хитрости и ошметки образования, вот весь их багаж, — просто по определению не способных оценить его чары. Когда бы мы ни отправились в кампус, на прием, куда вхожи такие девицы, мне следовало быть на чеку, ожидать выходки, взрыва. Причем во мне, естественно, подобная широта взглядов отнюдь не приветствовалась. Да это и не по моей части. Даже в Венесуэле я всего-то пару раз смоталась в кабак кое с кем из компании, пока он работал, а что́ он устроил, о! Едва ли, по-моему, его сильно трогало, чем именно я занимаюсь, нет, его беспокоило, как он будет выглядеть на публике, тем более в Венесуэле, где такие злющие мужики. Он шел через гостиничный холл, а там их полно ошивалось, дули виски, орали, и ведь кто-нибудь, как пить дать, поднимал над головой два пальца, изображая рога. Кстати, Кларенс не сильно облегчал свою участь, расхаживая в соломенной шляпе, как будто он под ней что-то прячет. Они шевелили пальцами, в отличие, естественно, от рогов, в смысле, рога шевелиться не могут. Я сказала Кларенсу, что это они изображают кроликов. Он не оценил остроумие моей шутки и стал избегать холла, ходил через кухню. Через некоторое время мы прекратили разговоры на эту тему, ни единого слова, никогда. Ну что тут скажешь и чтоб не было непереносимо? Если бы мы с Кларенсом посмотрели друг на друга под конец той эпохи, а мы же так по-настоящему и не посмотрели, мне кажется, — просто ужас, что бы мы увидали. Короче, Кларенс был дитя мира сего, а мое место было в монастыре.

(*пробел*)

Долго я сидела, думала про это про все, плюс еще тысяча разных вещей, так ерунда, не стоит упоминания, а потом нацепила платье и спустилась в квартиру Поттс. Включила свет над аквариумом, села в кресло Артура и стала смотреть на рыбок. То и дело одна поднимается к цепи пузырьков от воздушного насоса, как человек свернул бы в сторону, чтоб глотнуть из питьевой колонки — умей рыбы говорить, они бы дыханье называли питьем, ей-богу, — и вспомнила я стихи Лоуренса

про рыб[1]. Им, безлюбовным, нас не тронуть ничем. Ни пальцев, ни рук, ни ног, ни губ, нежных морд, жадных чресел. Да уж, вот именно что. Иногда рыбка подплывает и смотрит через стекло. Видит меня в кресле Артура и, небось, думает: вот тоже сидит у себя в аквариуме, уставилась на меня. Вернулась наверх, выключила свет, подошла к окну, постояла, посмотрела на улицу. Поздно уже, ни души. Я было отвернулась, но тут в глаза мне мелькнуло — большая крыса, что ли, на тротуаре, на той стороне улицы. Я опять повернулась, и как раз в ту секунду она подползла под припаркованный автомобиль, а я осталась у окна и стояла-смотрела, ждала, и вот на той стороне объявился тощий, голодный котенок, а ползает он так из-за сломанной задней лапки. Я постучала по стеклу, хотелось, чтоб он на меня глянул. Остался бы под автомобилем, так бы, наверно, у меня и засело в памяти, как однажды ночью я смотрела в окно, вниз на улицу, и увидела большущую крысу. Уходя к Поттс, я оставила включенное радио, а тут собралась выключать и вдруг меня стукнуло, что исполняют-то "Карнавал животных" Сен-Санса[2]. Ну так вот, я не ахти какая сексуальная. Не знаю, видно это со стороны или нет. В смысле, мог бы, например, кто-то, увидав нас с Лили вместе, сказать, что одна очень даже сексуальная, а другая не ахти? Разницу в возрасте я причем опускаю, каждый, естественно, понимает, что кто моложе, тот и сексуальней. Но, с другой стороны, та, которая старше, именно в силу того, что она старше и не такая очаровательная, как младшая, возможно, чувствует себя сексуально обделенной, возможно, даже страдает, и это тоже чувствуется со стороны. Какую чушь я несу, ну конечно все всё чувствуют и понимают. Даже когда я была молодая, они понимали, что я не такая сексуальная, как некоторые, с одного взгляда понимали, и сама я все понимала, потому как они на меня смотрели, или вообще не смотрели. Кларенсу, вполне допускаю, было с высокой горы плевать на все эти дела. Ему, возможно, было даже сподручней, что я не ахти какая сексуальная и не всегда на сторону гляжу, как некоторые женщины, да и чем они виноваты, если из них буквально прет сексуальность.

(*пробел*)

1. "Рыбы" — стихотворение Дэвида Герберта Лоуренса из сборника 1923 г. "О птицах, зверях и цветах".
2. "Карнавал животных" — произведение Сен-Санса, зоологическая фантазия, в которой автор средствами музыки изображает характеры разных существ. Впервые опубликована симфония была только в 1922 г., через год после смерти композитора. Интересно, что, кроме всем известного "Лебедя", в симфонию входит и "Аквариум".

Чем-то пованивает в квартире у Поттс, такой острый, кислый запашок, я хочу сказать, как от сырой штукатурки, что ли, или же от грибов, хоть ни того ни другого, кажется, нет в наличии, ну разве что в ванной, что касается сырой штукатурки, но и в ванной в последнее время вряд ли, поскольку я забываю там поливать. Только вхожу в дверь, я замечаю запах. И он сильней, по-моему, день ото дня. Вообще-то, возможно, это запах дохлых улиток, или водорослей, ну, даже не представляю, что еще недавно завелось у Поттс. Обошла всю квартиру несколько раз, пыталась унюхать источник, но так и не смогла установить, откуда это идет. Побуду тут две-три минуты и принюхиваюсь к вони, больше не замечаю, вот в чем загвоздка, это как те волы во Франции, их вонь прямо сшибала с ног, когда мы вваливались после работы, а как спать ложиться, уже напрочь улетучивалась, или как гул компрессоров на крыше фабрики мороженого, мне напрягаться приходится, чтобы его услышать. Приходится напрягаться, чтоб обратить внимание, да, и тогда я слышу. И это относится, в общем, ко всем нашим чувствам. Я уверена, что не замечаю на девяносто процентов того, что меня окружает, причем девяносто процентов времени. Не замечаю и самого факта, что начисто перестала что бы то ни было замечать, разве что хорошенько призадумаюсь, вот как сейчас, например. "Эдна мало-помалу перестала замечать, что патина скуки и заурядности все покрыла вокруг" — так это можно бы сформулировать. То есть, я хочу сказать, отупение, скука, неспособность замечать есть не что иное, как натуральный продукт привычки, но все же побаиваюсь, а вдруг все дело в том, что мне надоело смотреть на белый свет. "Слишком долго она смотрела на белый свет, и он ей надоел". Потому, наверно, эти записочки, которые я поналепила на окна, так редко достигают намечаемого эффекта. Я же именно здесь их и клею, чтоб не забыть, чтоб видеть в любое время, стоит открыть глаза — повернула голову в сторону окна, а они тут как тут. Но уже через несколько дней я их больше не вижу — не воспринимаю в смысле. Вот, напрягла внимание, и теперь вижу, да: ОТПРАВИТЬ ПО ПОЧТЕ на окне слева, над — УБРАТЬ В ВАННОЙ. А тут красным карандашом СДАТЬ КНИГИ В БИБЛИОТЕКУ. Понятия не имею, сколько времени это тут провисело. И о каких книгах речь? Смысл абсолютно темен, поскольку я уже сто лет в библиотеке не была. Погасила свет, подошла к окну, постояла — чуть не каждый вечер стою. Поздно, совсем опустела улица. По тротуару напротив, светлому от огней фабрики мороженого, в сторону Пряжки прошла женщина, в капоте и шле-

панцах, обеими руками обнимая до того набитый пластиковый пакет, что надо изо всех сил наклонять голову набок, чтоб разбирать дорогу. Вид сверху — вылитый муравей, урвавший кус не по чину. Мимо катил полицейский патруль, с ней поравнялся, притормозил, она даже головы не повернула, — ведь угрожающе притормозил, она, небось, почувствовала, да? — и рванул дальше. Она почти доплелась до угла, а тут подоспел автобус. Она подняла руку, но не на остановке стояла, и автобус дунул мимо. Из своего окна я видела озаренный салон, синее джинсовое плечо, руку, часть руля, ряды пустынных пластиковых сидений.

(*пробел*)

Иногда подряд несколько дней тянется пустота. Сидела за машинкой, а к клавишам не притронулась. Точней, я за столом сидела, на котором стоит машинка, не то чтобы именно за машинкой, пялилась на окна, но, по сути, я их не видела. Не печатала, не видела, толком не думала, а если о чем и подумаю, мигом забуду. Написала открытку Гроссманше, карандашом, передумала, мол, коротенькое предисловие, да, я с удовольствием, почему же. Открытка полежала на столе день-другой, потом я ее выкинула. Каждый день ходила в парк, кроме одного дня: лило. И вчера вечером ходила с кульком крошек — голуби в парке будут клевать у вас с руки, только имейте подход. На скамейках на всех сидели, а я не люблю сидеть с посторонними, так что выбросила все крошки рядом с мусорной урной и пошла восвояси. Уже подходила к своему дому по другой стороне улицы, как вдруг вижу, стоит мужчина посреди тротуара, руки в карманы, смотрит на мои окна. Темная куртка, короткая, до пояса, возможно, кожаная, красная бейсбольная шапочка сдвинута на затылок. Как правило, я не обращаю внимания, кто там на тротуарах стоит, обычно мой взгляд более-менее уперт в землю прямо передо мной, более-менее сосредоточенно. Если я вижу ноги на тротуаре прямо передо мной, я просто сворачиваю направо, или налево, и всё. Ну так вот, по чистой случайности я вдруг подняла глаза и вижу — стоит этот мужчина. Я остановилась, вгляделась попристальней, отчасти потому, что он пялился на мой дом, но главным образом потому, наверно, что он был похож на Бродта. Не знаю даже, Бродт это был или кто другой, издали, в профиль, похож на Бродта — у многих тучных мужчин в возрасте, если смотреть на них издали, примерно такой профиль. Но в ту минуту я растерялась, не приняла в расчет этот факт и просто за-

ключила, что передо мной Бродт. Ну как заключила, нельзя сказать, чтобы заключила, в смысле сделала вывод из сопоставления данных. "Я глянула — а на тротуаре передо мной стоит Бродт", вот в точности, как было дело. Я, конечно, удивилась, и мои мысли сразу перескочили на разные вещи, которые я таскала с работы — стэплер, пиджак, ну еще кое-что, я упоминала, по-моему, ножницы, скрепки, тому подобное, — и я сошла с тротуара и зашла за припаркованный фургон. Вдруг бы он оглянулся, а я нагло, в открытую, стою и пялюсь на него, этого мне не хватало. Правда, я его видела через окна фургона, он явно не собирался оглядываться, абсолютно, стоял столбом, и как пригвоздил взгляд к моим окнам. Был вечерний час пик, а он, как нарочно, встал на самой середине тротуара. Некоторые его обходили, создавая вокруг него как бы вихрь, другие, видя, что он пялится на мои окна, замедляли шаг, глядя туда же и, можно сказать, усугубляя вихрь, хоть останавливаться никто не останавливался. А через несколько минут он вдруг, кажется, пожал плечами. Перешел через улицу, к коричневому седану, припаркованному прямо у меня под окнами, и укатил. Говорю "кажется, пожал плечами", потому что я не настолько близко стояла, чтоб видеть такие подробности, как пожатие плечами. Вставила же я это пожатие, исключительно чтоб придать его поведению признак растерянности, хоть его растерянность тоже всего лишь догадка с моей стороны: я так рассудила, что он, наверно, звонил в мой звонок и, не дождавшись ответа, перешел через улицу, пытаясь по моим окнам определить, дома я или нет, и ничего опять же не определив и соответственно растерявшись, он и пожал плечами, наверно. Конечно, он ничего и не мог определить, просто пялясь на мои окна, разве что я случайно стояла бы у окна, именно в тот момент, когда он туда посмотрел, причем почему бы мне не стоять у окна, будь я дома, я именно что подошла бы к окну, проверить, кто это звонил в мою дверь. А с другой стороны, тоже вполне возможно, как я опять-таки уже говорила, тот человек на тротуаре был никакой не Бродт, а кто-то другой с примерно похожим профилем, и, более того, если даже тот тип, кто бы он ни был, и звонил в чью-то дверь в нашем здании, так скорей бы уж он позвонил бы к Поттс, и в таком случае на ее окна он и смотрел. А может, вовсе он и не звонил. Может, наш хозяин его нанял делать ремонт, и в таком случае он стоял и прикидывал, какие понадобятся материалы, делал в уме расчеты и прочее, и в таком случае вряд ли он пожал бы плечами. Ночью я долго лежала без сна и в уме составляла список предметов, кото-

рые утащила с работы, и соображая, что из всего этого вдруг понадобилось Бродту, если это был Бродт, а в сонном полубреду я совершенно в этом не сомневалась. Лист получился не то чтобы громадный, и я не совсем уверена, во-первых, что стащила все попавшие в него пункты. Некоторые я только хотела стащить, ну, с полу подобрала, например, перебирала на полке, прикидывала, не взять ли. Надо будет перерыть все кладовки и полки, хотя, если я какой-то пункт, скажем, и не найду, это ровным счетом ничего не докажет: иногда, уйдя с работы с каким-то из пунктов у себя в сумочке, я понимала, что данная вещь не понадобится мне ни при какой погоде, и выбрасывала ее по дороге или оставляла в автобусе. Прекрасно помню несколько таких случаев. Но даже и насчет пунктов, какие я точно взяла — полная ерунда: скрепки, шариковые ручки, фарфоровый лягушонок, щетка для волос, ну, еще там кое-что, — не понимаю, зачем после стольких лет им понадобилось кого-то подсылать, чтоб за мной шпионил. Если, конечно, они не вздумали сделать из меня показательный случай, но зачем это им? Ведь Бродт, наверно, все время знал, что я подворовываю, у него же эти камеры следили за мной, куда бы я ни сунулась, кроме женского туалета, а оттуда я, по-моему, ничего не таскала, ну, рулон туалетной бумаги когда-никогда. В этом отношении все здание было как бы сделано из стекла, не только снаружи, как оно действительно было, — синее такое стекло, и в погожие дни прямо видишь, как плывут по нему облака, — но и внутри. Он и в лифте меня мог углядеть, тут уж забивайся не забивайся в угол, стекла у него были выпуклые, поэтому. Я всегда ездила на лифте, когда везла тележку с почтой, никаких сил не было взволакивать ее по ступеням, хотя Бродту-то что, его глаза были везде, в коридорах, в кабинетах, на лестницах. Я старалась не смотреть на эти камеры, но иной раз хочешь не хочешь, а глянешь украдкой, хоть знала я, знала, что он меня видит. Вот тогда только наши глаза и встречались, в смысле, его глаза встречали мой взгляд, не наоборот, если только не считать эти камеры его глазами, а я ведь, хочешь не хочешь, считала.

(*пробел*)

Перерыла оба чулана, все ящики в спальне и на кухне и нашла стэплер, две пары сережек, солнечные очки, фарфорового лягушонка, топазовый браслет, щетку для волос, шерстяной шарф и серебряный перочинный ножик. В нижнем ящике у себя в комоде обнаружила стопку бумаги, тоже с работы ута-

щила, давным-давно, когда еще воображала, что вдруг снова начну печатать, но не стала ее совать в общую кучу. Пиджак висел в кладовке при спальне, я его положила куда и остальное. Все запихала в большой пластиковый мешок для мусора, покрепче его завязала, потащила на улицу и прошла два квартала в одну сторону и один в другую, где строительная корпорация Де Луджиа, судя по надписи, восстанавливает здание, которое теперь уж давно, сто лет назад, приютило булочную, и я там, помню, каждое утро покупала теплые булочки по дороге к автобусу, когда я еще в бакалее работала. Было уже хорошо за полночь, на улицах кроме меня ни души. Громадный мусорный бак поставили у самого тротуара, где прекрасно можно бы парковаться, а само здание от тротуара отгорожено высокой фанерной стеной, и на ней грозные желтые знаки. Тротуар сужается в невозможно узкую щель, и там-то, пробираясь между баком и этой стеной, посреди щели, я встала на цыпочки и закинула свой мешок в этот бак. Видно, он был пустой, а то мешок не мог бы, достигнув дна, так пусто, металлически звякнуть. И тут же, как будто в ответ, буквально, к востоку от Пряжки полохнуло, сверкнуло, вспыхнуло — на весь горизонт. Бак, знаки дорожного движения, здания через дорогу оплеснуло огненным светом и мигом все снова ухнуло в мрак, а еще через миг грянул мощный, сотрясающий гул. Меня как ветром обдало, только не было ветра. Громко стучали, тряслись окна в доме за мною. Я глянула: большую прозрачную пленку, свисавшую с верху, с лесов, всю засосало. Я стояла смотрела, а она расправлялась, тихо шурша. По дороге домой я заметила горстку светящихся окон, а так — тьма кромешная, сплошь, и я тоже не стала зажигать свет, а сразу подошла к окну и поверх крыши фабрики мороженого посмотрела туда, где полохнуло. Все те же огни дневного света на Пряжке, а так — никого, ничего. И тут я услыхала сирены, они урчали, захлебывались со всех сторон, и выли пожарные машины. "Скорая помощь" мелькнула, полицейский автомобиль, опять "скорая помощь", под истошный визг сирен мчали на невозможной скорости через перекресток всего в трех кварталах отсюда, но в мою улицу никто заезжать не стал, и теперь все стихло. Двое каких-то орали на улице, но теперь и они стихли. Я вслушиваюсь, но слышу единственно что стук клавиш — это кто-то печатает: "кто-то печатает".

(*пробел*)

Проснулась поздно, кипячу воду для кофе, и вдруг вспоминаю, что забыла купить молоко, забыла из-за того типа на

тротуаре, наверно. Крыса колобродила. Оказалось, поддон для еды у нее пустой. Протиснула ей сквозь проволоку немного катышков, воды налила в баллончик, тоже был пустой, и она на воду прямо накинулась, стала жадно хлебать, сжимая баллон передними лапами. Завтракать я потащилась в столовку. Когда шла мимо фабрики мороженого, мимо цепи, которой огородили стоянку, видела рабочих на другой стороне, стояли в дутиках, незастегнутые, расхристанные, курили, и я нюхала дым от их сигарет. Села за столик у окна. Взяла кофе, глазунью (одно яйцо) и тост. Почти никого в столовке, ну, я посидела, поглядела на народ по ту сторону стекла. Вспомнила, как крыса смотрит сквозь стекло своего аквариума, как рыбки смотрят. Глаза вспомнила: остекленелая влага, и сквозь нее глядит душа. Выдула четыре чашки кофе. Официантка сказала, что муж выиграл двести долларов в лотерею. И не посчитала мне за добавку. Я еще была там, когда пришла вечерняя газета. Кто-то встал из-за стойки, вышел, купил. Шел обратно, читал на ходу, подошел к стойке, положил газету. Официантка стала ругаться, зачем на тарелку кладет. Вытащила тарелку и держала газету в руке, пока под ней вытирала. Потом положила газету обратно на стойку, и тот мужчина, и официантка, и еще мужчина, стояли, опирались на стойку ладонями, а другая официантка, она с другой стороны стояла, выворачивала шею, чтобы читать, и все сразу, вместе, говорили про взрыв. В результате несчастного случая — взрыв газа, всего за два квартала по ту сторону Пряжки — напрочь разнесло дом, "на хрен разнесло" — официантка кручинилась, глядела в газету, кричала. Один из мужчин, в белой рубашке, подхватившей валики жира, которые вывалились из-под жилетки, снова рухнул на свой табурет. Я как раз встала, подошла платить, и через его могучее плечо глянула на фотографию: прямоугольная дыра, везде горы щебня, щепа, щепа, кирпичи в известке, щербатым, что ли, кубом (как целый камин) на крыше автомобиля, маленького такого, автомобиль всмятку. Вокруг кучкуются пожарные в длинных черных мундирах, и еще пожарные, и кто-то еще, не в пожарной форме, лезут на развалины. Выйдя на тротуар, я скормила свою сдачу автомату с газетами, и теперь у меня своя собственная, вот, лежит, фоткой кверху, на столе со мной рядом. "Взрыв, — читаю, — причинил значительный ущерб домам по-соседству, поскольку взрывной волной выбило окна нескольких зданий в квартале". Положим, тут бы лучше сказать — окна *вбило*, осколки же внутрь полетели, когда взорвались окна, да? удар, как-никак, пришелся явно снаружи. Женщина из дома через дорогу за-

является, что взрывной волной ее выбросило из постели, не знаю, верится с трудом. Она решила, что настал конец света. Муж бросился к окну (разбитому), осколки все еще "сыпались градом" на крышу, и он решил, что произошла авиакатастрофа. Единственный, кто жил в этом доме, по словам соседей, был некто Генри Пул, и "его местопребывание в данный момент не установлено". У меня так и встало перед глазами: картонная бирка свисает с бледно-зеленой электрической Ай-би-эм, которую я не представляла, как взволоку по лестнице, и фамилию вижу — Генри Пул, "Г" причем стоит, как обломок ворот, и так привалилось к Пулу. В книге с главами эту я могла бы назвать "Поразительное совпадение".

(*пробел*)

С помощью ручки от швабры вытолкала из-под дивана телефонную книгу. Держу ее там, потому что имеет манеру шлепаться с книжной полки. Стряхнула ладонью пыль. Села в кресло с книгой на коленях, оглядела список Пулов. Их оказалось больше, чем я предполагала из-за того, что лично ни одного Пула не видела и не учла, что это вполне распространенная фамилия. Шрифт в книге мелкий до ужаса, а мои очки для кроссвордов были на кухне, так что я решила взять карандаш и отчеркивать фамилии, чтоб ни одной не пропустить. Отчеркнула несколько и тут увидела, что карандаш дрожит. Он дергался, прямо в судорогах, до такой степени, что на конце с ластиком очень даже заметно, эффект длины — почти непочатый ведь карандаш, — причем этой пертурбации следовало ожидать, учитывая кофе. Чтоб унять дрожь, я крепче сжала карандаш, но он только пошел скакать, как мячик на резинке. Я разозлилась, зажала его в кулаке, как ребенок ложку, сижу, отчеркиваю себе фамилии дальше, но на седьмой, что ли, фамилии прорвала-таки бумагу, напрочь вырвала у одного Пула его имя. Тут я была чрезвычайно раздосадована, применяя любимое мамино выражение. "Я чрезвычайно раздосадована", — она говорила, бешено вырывая страницы из не угодившего ей журнала. Вырывать, рвать — журналы, блузки, папину газету, если померещится, что он не слушает, листья, их она срывала с кустов и растерзывала в меленькие клочья — такая была у мамы, как теперь бы сказали, реакция на собственную нереализованность, хоть мне как-то трудновато себе представить, ну что, что ей мешало реализоваться? Да уж, яблочко от яблоньки недалеко падает. Ну так вот, выдираю я эту страницу из телефонной книги и собираюсь подойти к окну, там луч-

ше видно. А Найджел вылез из своей трубы, передние лапы упер в стекло, голову набок, на меня уставился. И тут я как завизжу: "Что? Что?" И, не успев опомниться, хоть решила ведь, что в жизни больше себе такого не позволю, я уже скомкала эту страницу и как в него запущу. Комок мирно приземлился на проволочной крышке. Правда, я на сей раз не то чтобы прямо визжала, я даже почти уверена, что не визжала. Скорей, как на него глянула, я почувствовала, что мысли мои вопят. Почувствовала, я хочу сказать, что мысли у меня вот-вот взорвутся. Понятия не имею, правда, что собой представляет взорвавшаяся мысль. Визг, надо думать. "Эдночка наполнила свой дом взорвавшимися мыслями". Нет, ей-богу, именно так у меня раньше бывало, вот написала и поняла. Я сидела прямо, как аршин проглотила, то есть прямо, насколько позволяет мое кресло — оно у меня, я упоминала, кажется, дико мягкое, сядешь и тонешь, буквально, — и смотрела на его аквариум. Глаза у меня, наверно, вылезали из орбит, как бывает у Найджела, но я не стучала зубами. Зубы я плотно стиснула, кажется. Найджел убрался восвояси, в свою трубу. Я встала, подошла к дивану, все смахнула на пол, причем раздался треск стекла — хрустнула еще одна рамка, — и улеглась. Погодя все прошло, хотя что *все*? — прошла моя чрезвычайная раздосадованность. Я глянула вверх, заметила на потолке паутину. Странно, что я раньше не замечала, как эти толстые пыльные космы висят, колышутся чуть-чуть. Я села. Найджел снова катался на своем колесе. Подобрала скомканную страницу из телефонной книги. Принесла с кухни очки. Расправила на столе страницу. Генри Пул — один-единственный, и вот именно что на улице у самой Пряжки. Да, Генри Пул он и есть.

(*пробел*)

Даже странно, ну что я тут нашла такого уж интересного. Ощущаю личную связь, вот в чем, наверно, причина. Я видела его машинку, а несколько недель спустя я услышала этот взрыв. И я, конечно, не просто *видела* его машинку — я ее, помню, рассматривала со всех сторон. Мысленно рассматривала, то есть, строго говоря, я только спереди ее видела. Он приходится мне (или приходился?) как бы собратом-машинистом (или машинисткой?). Генри Пул и его машинка меня поразили (даже можно сказать — потрясли) как что-то, прямо фантастически небывалое. Это совпадение глубоко меня поразило своей глубочайшей значительностью, хотя в чем тут значение, я, хоть убей, не пойму. Конечно, я не могу

полностью исключить возможность существования других Генри Пулов, не занесенных в телефонную книгу, хоть вряд ли их много, — нет в списке, ну, разорен человек, мало ли, телефон не может себе позволить, или телефон у него, наоборот, есть, но на имя жены, или он инвалид какой-нибудь, и жена, или мать, предположим, за ним ухаживает, приносит еду и платит за телефон, а он прикован к постели, лежит и печатает. Ай-би-эм крупноватая машинка для использования в постели, но, наверно, можно ее приспособить, так же как, скажем, большой поднос на ножках, если, конечно, ножки под таким весом не будут впиваться в матрас. Хочешь не хочешь, а тут потребуется очень жесткий матрас. Тоже удовольствие ниже среднего.

(*пробел*)

Столовая в Потопотавоке в конце сентября закрывалась, всю зиму стояла закрытая, я готовила сама у себя в хижине. Ну как в хижине, это не было что-то такое милое, сельское, это на самом деле была скорее хибара — крыша течет, приходится ставить на пол кастрюли и ведра, иногда об них грохаешься в темноте. Летом, в сырые дни, улитки наползали из лесу, карабкались внутри по стенам, тянули за собой пленку, и она жутковато блестела при лампе. Ночью, бывало, я слышала на крыльце хруст, утром выходишь, а там кучки разбитых раковин — это их еноты сжирали, откуда и хруст. Несколько постоянных, оставшихся зимовать, считали, что я из персонала, а персонал, по-моему, принимал меня за почетного гостя. Иногда я ходила в Ангар, поиграть в шашки. Было с кем поиграть, почти всегда было. Если мело, я носа не высовывала, зато в погожие дни доходила аж до деревни. Там была заправочная станция у самой околицы и по требованию останавливался экспресс, а еще была лавочка, я туда ходила зимой за продуктами, летом за мороженым. Каждый день экспресс мчал мимо меня по дороге к деревне, взвихрял гравий и пыль, и порой подмывало вскочить в него, сбежать, а там была не была. В первую зиму я ходила в наушниках из-за холода, и на лето я уже их сообразила надеть из-за галдежа в столовке. Еще я их употребляла, когда персонал затевал игры на лугу, в футбол, я уже упоминала, и в фрисби, чтоб не слышать бешеных или там восторженных криков и, никуда не денешься, скандалов и драк — персоналу приходилось вечно быть на чеку, разнимать драки. Иногда, идя к деревне, я побаивалась, вдруг нападут, такое случалось, говорили, из-за гомосексуалистов в Потопотавоке. Никто

толком не знал — то ли кого-то линчевали, то ли пригрозили, что линчуют. Я не гомосексуалист, но вдруг бы они не разобрались, мало ли. Но все как-то гладко сходило, и скоро я перестала трястись по дороге в деревню. Опять она бухает, эта крыса. То бухает, то шуршит. И среди бела дня, главное. Новое дело. Мало ей ночью колобродить. Или она ночью нарочно дрыхнет, чтобы днем меня изводить. Нет, долго я этого не выдержу.

(*пробел*)

Купила газету в своем магазинчике и пошла в парк. Пожилой мужчина прошел за мной в парк, сел на скамейку напротив. Стал вынимать зерна из жестяной коробки у себя на коленях, разбрасывать по скамейке рядом, на земле под ногами. Рабочие башмаки заляпаны синей и желтой краской, и никаких носков вообще. Щиколотки тощие, жилистые. На коробке французская надпись: Crêpes Dentelles[1]. Я подумала, что он, наверно, художник, из-за краски подумала, из-за французской надписи, видимо, и этого безразличия к носкам. Но может, он просто свою квартиру красил. У меня в Нью-Йорке было много знакомых художников, так они все ходили в белых кедах и без носков. Летом, конечно, зимой-то они одевались, как люди. Генри Пула нашли в подвальном этаже, лежал на полу, ничком, в нескольких метрах от газовой открытой заслонки. Умер от удушья, умер еще до того, как взорвался дом. Наложил на себя руки, было сказано, хоть записки так и не нашли. "Взрыв многое унес с собой, включая и то, что мистер Пул мог доверить бумаге". Мне нравится эта формулировка "доверить бумаге". Генри Пул, пятидесяти двух лет, уроженец Талсы, штат Оклахома, зарабатывал починкой телевизоров. "Прожив долго в наших краях, — писала газета, — он стал привычным лицом в округе, но остался почти чужим для ближайших соседей". Свидетели утверждают, что он выгуливал маленького темного песика в любое время ночи. Один сосед его охарактеризовал, как "непонятного и себе на уме". Песик обнаружен целым и невредимым в трех кварталах от дома, в чем Общество защиты животных усматривает истинное чудо. Я оторвалась от газеты, стала глядеть на голубей, они налетели, они толпились, прыгали вокруг башмаков, заляпанных краской, а человек на скамейке горстями бросал им зерна. Последние не-

1. Вафельные трубочки (*франц.*).

сколько месяцев Пул выносил свою коробку для почты прямо на крыльцо, и люди видели, как он ее пинал, входя и выходя из дому. Это, согласно газете, был "явный признак". А какие еще признаки бывают? Ночью однажды налетел сильный ветер, унес большую часть почты на соседний двор, так утром Пул пошел, все собрал в охапку и снова плюхнул к себе на крыльцо. Она еще долго потом разлеталась по соседним дворам, пока наконец один сосед не поднялся на крыльцо и все не распихал по мешкам для мусора. Осколки, ошметки, хлопья какие-то, кто трогал, говорят, похоже, что от мебельной обивки, и тут же обрывки бумаги, изоляционной ленты. "Словно розовый снег", — кто-то сказал, все валил и валил на округу еще несколько часов после взрыва. Я сложила газету, встала уходить. Он на меня глянул, улыбнулся. Я уже открыла рот, сказать что-то касательно птиц, но они вдруг все разом взмыли, и он исчез в вихре щелкающих крыльев. У меня на языке было "вечно я забываю захватить крошки для птиц, когда сюда иду", но я сказала всего-навсего "До свиданья". Если получится книга, все лишнее надо будет убрать. То же относится и к банальным замечаниям и никому не нужным попутным мыслям. Оставь он записку, она была бы напечатана на той самой айбиэмке, которую я видела в той мастерской. Опять эти страницы на полу. И фотография Кларенса со львами, я же ее скотчем к окну приклеила, а она отлепилась. Я смотрела, как она упархивает на пол, и пальцы не дрогнули на клавишах.

(*пробел*)

Сидела после ужина в своем кресле, смотрела, как гаснет день. Потом, попозже, опять сидела, в темноте уже, слушала, как молкнет улица. Думала про то, как много всего я перезабыла, как мало из этой громадной мусорной свалки, которая у нас называется прошлое, я захватила с собой, как мало всякого разного и людей, кого знала, я до сих пор помню, как много всего исчезло, ушло без следа. Хотя, ну как, спрашивается, можно на самом деле *думать* про то, что ушло без следа. Сказать-то, конечно, можно, мол, про то-то и то-то я думаю, но это одни слова: "всякое разное и люди, про кого я забыла". Слова остаются, как замена вещей и людей, хранятся для тех, кто ушел, исчез, а пустые стулья — для тех, кому никогда не вернуться, в жизни больше на них не сесть. Иногда у чего-то, у кого-то до сих пор сохранилось название, имя, да, но на этом точка, — это как фотография чья-то, где стерлось все, кроме шляпы. Торчит эта шляпа поверх мутно-

го пятна — шляпа, как имя чье-то, а самого стерло время; или, может, шляпа плывет по реке, а тот, кто ее носил, он пошел ко дну, утонул, причем река здесь — вместо потока времени, а шляпа заменяет наши слова, плавучий хлам, и ни с чем он не связан. Я не могу думать о многом в Кларенсе, может, о большей части разных черт Кларенса я не могу думать. Пусть я, предположим, сто раз повторяю "Кларенс", или произношу фразы типа "Кларенс застегивал джинсовую рубашку" или "Кларенс попирал ногой льва", от этого он ближе не станет, слова не приближают его, нет, только глубже заталкивают, зарывают под штабелем тех лишних стульев. И стала я думать о том, как легко говорить — да, легко сказать, скажешь, а это неправда. Например, я по зрелом размышлении вижу, что в моей истории про садовника не все правда, хотя когда печатала, я верила, что все чистая правда. На самом деле он не сунул крота в карман, как я раньше утверждала, нет, он сунул его спереди в брюки. У него были такие широкие синие подтяжки, так вот он оттянул у пояса брюки и забросил крота. Он оттянул брюки, и получился как бы такой карман, поэтому, наверно, я раньше и сказала "карман". Я раньше сказала "карман", потому что я раньше так помнила, хоть от этого ничуть не легче, то есть оттого, что я *действительно* раньше неправильно помнила, ничуть не легче, а теперь я помню иначе. Ты не можешь что-то *помнить* так, потом *помнить* иначе. Явно в одном из этих случаев ты на самом деле не помнишь, а может, в обоих. Кларенс часто, когда писал, меня спрашивал по поводу какого-нибудь места: "Это правдоподобно?" Хотел, чтобы то, что он выдумал, казалось реальным и плотным, как пол у него под ногами, — буквально его слова. "Реально" причем для него означало — так, как легко можно себе представить. Все, что не странно, невидимо, да уж. В Авиньоне, с немецкими мальчиками, мы не чуяли вони от тех волов. Вот я тут сижу и не чую Найджела, хоть эта вонь, не сомневаюсь, с ног бы меня сшибала, случись мне вдруг войти в эту дверь в первый раз. Мое удобное черное кресло — вон, стоит, далеко от меня, как Луна, аж как Авиньон далеко. Нет, не в том дело, что я его не замечаю: я не могу его *больше* чем заметить — не могу *увидеть* по-человечески. Даже если пыжусь изо всех сил, я только пялюсь на него, как дура, и весь результат. Что, что мне сделать, чтоб оно опять стало видимым? И вот с именами, с названиями, думаю, та же история. Слово *кресло* такое же немое и мертвое, абсолютно, как сам предмет. Интересно, что умерло раньше? Сгинули, я думаю, вместе, сжимая друг друга в объятьях, задохнулись от безразличия и привычки,

под пластиковой пленкой. Если бы я Кларенсу показала коечто из того, что сейчас печатаю, и спросила: "Это видно?" — интересно, что бы он подумал? Если вдруг — раз! — и повернуться, глянуть на мое кресло, оно ведь странным покажется, испугает, как атакующий носорог, что ли, ну или кто это был, кто однажды атаковал Кларенса, — может, гиппопотам. "Эдну потрясло атакующее кресло" — вот бы что получилось. Внутренне, душевно потрясло, в смысле.

(*пробел*)

В Потопотавоке у меня было ужасно много мышей, и раз както по дороге в деревню я увидела голодную кошку и взяла домой. Она была кожа да кости, буквально, сожрала всех моих мышей среди прочего — еще были объедки из столовки, я их собирала — и сказочно растолстела. В других хижинах тоже водились мыши, и моя кошка, пожрав всех моих мышей, стала ходить в другие хижины, чтобы есть их мышей, а там некоторые были отравлены ядом. Однажды приходит домой вся больная, блюет желчью, забралась в мой чулан и там сдохла. Пришел директор. Он согласился, что кошка погибла потому, что съела отравленную мышь. И это, он сказал, карма. Я сказала ему, что понимаю карму иначе, что, если бы он, директор, умер потому, что съел отравленную мышь, вот это была бы карма, поскольку яд разбрасывал он, а не моя кошка. Мы похоронили кошку перед моей хижиной. Многие в Потопотавоке написали стихи и зачитали на похоронах. Пели "Никогда, никогда, никогда, никогда британец не будет рабом" (это был кот потому что, и в самом деле смутнобританской породы), и директор произнес речь и огласил отпечатанную на машинке благодарность в приказе в связи с тем, что кот погиб при исполнении долга. Фамилия директора была тоже Бродт. Я в Потопотавоке мало печатала и читала мало, журналы только, я, кажется, упоминала уже. В Ангаре всегда были свежие журналы. И у меня были еще другие звери — еноты, скунсы, — они входили на крыльцо, даже в хижину, если оставлю открытую дверь, и ночью я слышала, как они шуршат. Говорили, в лесу водятся волки, но я не верила. Я зверей не боюсь, зверь он зверь и есть, чего тут бояться, но один раз это был человек, он шел из Ангара и заблудился. Раз пригласил меня кто-то играть в какую-то их игру с мячом, я отказывалась, тогда он втиснул мяч мне в руку, насильно втиснул, и вот начинается игра, а я стою, как пень, и не знаю, что делать с этим мячом, и тут кто-то как пихнет меня прямо в грязь. Когда жили в Мексике, когда

еще мы считали себя кочевниками — мигом складываем вешички и в путь, многие изумлялись, и мы даже себя цыганами называли, — это было в порядке вещей: как посмотришь в окно, так крысу увидишь. Наш дом стоял на немыслимо узкой улочке, просто дорожка такая, и ночью была страшная темень, один-единственный фонарь и то не на каждый квартал. Причем даже если и был фонарь, он все равно не светил, потому что все, кто жили на той улице, воровали лампочки. В нашем квартале фонарь висел на проволоке, протянутой из нашего дома к дому напротив, через улицу, и он от малейшего ветерка мотался, и огромные тени плясали вверх-вниз по обоим фасадам. Никто не выкручивал лампочку из этого фонаря, из уважения к нам, я считаю, потому что мы бросали конфеты детишкам, днем их было полно на улице. Оба мы в этой Мексике толком не высыпались, из-за жары и еще из-за радио в соседних домах, и вот, бывало, я, или он, или мы вместе, встаем и подходим к окну, посидеть, у окна попрохладней, когда ветерок. Спальня у нас была на втором этаже, и, сидя у окна, мы видели, как крысы под фонарем снуют по щербатому тротуару. Долго не просидишь, смотришь — явились не запылились. Странно, днем мы вроде бы ни единой крысы не видели, хотя они прятались, конечно, повсюду. И дом бы тоже, наверно, ими кишмя кишел, если бы не черный с белым котище, спасибо, знакомый итальянец-фотограф нам одолжил. У него у самого была аллергия на кошек, но он все равно держал двух котов, из-за крыс. Видеть мы их в доме не видели, но иногда, когда Кларенс уходил и я оставалась одна, я слышала, как они шебуршат за плинтусами, хотя он говорил, что это маловероятно. Он не без удовольствия повторял, что крысы когда-нибудь унаследуют мир — обожал выдавать подобные миленькие обобщенья. Держал в голове кучу цифр, в основном бьющих по нервам, и, как заведется, мог их мусолить часами. Знал, например, сколько тонн риса ежегодно сжирают крысы в Индонезии. Как-то ночью выложил эту цифру — мы сидели у окна, смотрели на крыс, и я, конечно, не помню, сколько именно тонн, но уж надо думать порядочно, не то с чего бы ему про это рассказывать? Баснословная память на числа — вот тоже была в нем такая занудная жилка, хотя некоторых впечатляло, некоторых мужчин впечатляло, лучше сказать, женщинам-то зачем статистика? До меня, например, ну просто не доходило, как это человек хочет стать мастером слова и в то же самое время стремится запомнить кучу цифр, хотя Кларенсу я впрямую такого не говорила, зачем. Из-за этой его жилки никто практически не мог его переспорить, ведь

только его загонишь в угол, он выложит пару цифр, отбарабанит их без запинки, и ты сразу видишь, до какой же степени ты была неправа. У меня причем никогда не было полной уверенности, что он эту статистику не присочиняет ради такого случая. С него бы сталось — кое-что присочинить ради того, чтобы выиграть, вследствие, я так считаю, его бессовестной стороны. Размазать и скушать принцип, если он мешает ломить вперед, и, главное, не поперхнувшись, вот в чем, вообще говоря, проявлялась его бессовестность, а где-то немного приврать — это что?, подумаешь, дело большое. Что-то я не продвигаюсь вперед. Страницы на полу — это бы еще ладно. Уж как стараюсь продираться вперед, несколько дней назад действительно продиралась, и вот снова увязла, в этих крысах в Мексике я увязла. Дались они мне, эти крысы в Мексике.

(*пробел*)

Поттс упала с лошади, что-то себе сломала, вроде голень, он сказал, тот, который звонил, какой-то там родственник, хоть по-моему, с сильным немецким акцентом, и вернется только к концу лета. Оно, видимо, к лучшему, правда, мне придется дольше терпеть эту крысу. В последнее время я почти не замечаю Найджела, ну покормлю, ну стукну по клетке, если чересчур громко бухает или шуршит. Я непрочь пожить во всем доме одна. За долгий период такое впервые. Поттс подо мною на данном этапе мне мешала бы, раздражала, не из-за шума, шума от нее ноль, нет, из-за паров, какими ее немое присутствие проникает сквозь пол, какое беззвучное наличие Поттс подмешивает в мою жизнь. Интересно, вот подойти к кому-то у нас в магазинчике и ляпнуть такое — ведь решат, что я помешалась. Ну а если бы ко мне кто-то, например, подошел и сказал подобное, будь я сама на месте того, другого человека, посчитала бы я это признаком помешательства? Не исключено. Поттс на лошади — с трудом себе представляю.

(*пробел*)

Несколько минут назад сижу решаю кроссворд, и вдруг обнаруживаю следы зубов на своем новом карандаше, четыре клиновидных отметины на кончике карандаша возле ластика. Не замечала их, пока не перевернула карандаш, чтоб стереть слово, а при этом переместила руку с верхней (теперь она нижняя) части карандаша и тут только ущупала эти отме-

тины. С каких пор он у меня, этот карандаш, — вот не помню. У нас тут новую школу построили, всего за несколько кварталов отсюда, вместо прежней, заколоченной, я вижу ее из кухонного окна, и вечно дети несутся на занятия, хлопают себя ранцами по спине и регулярно сеют карандаши. Чуть не каждую неделю, по-моему, я вижу несколько штук на тротуаре, и один иногда подберу, потому, во-первых, что мне нужен карандаш, скажем, я собираюсь решать кроссворд, или потому, что карандаш мне показался новеньким, как этот казался, пока я его не перевернула. Во втором случае (когда кажется новеньким) карандаш для меня просто неотразим, и почти всегда я его подберу, если, конечно, не мчусь домой от проливного дождя, и то иногда вернусь, подберу, правда, в последнее время что-то невмоготу нагибаться. Отметины на карандаше, выходит дело, скорей всего, от детских зубов, и действительно они очень мелкие, гораздо меньше, чем те, которые я, вот только что, оставила для сравнения. Вообще я карандашей не жую, верней, я больше их не жую, но, когда, вот только что, куснула карандаш, который использую для кроссворда, на меня нахлынули воспоминания о вкусе желтой краски. В детстве я любила новые карандаши, потому что с них можно сжевывать краску, ну не то что сжевывать, соскребать, используя в качестве резца передние зубы, соскребать причем осторожно, чтоб не повредить деревяшку, пока ни единого пятнышка краски не останется на карандаше, кроме тонюсенькой желтой черты под металлической лентой, которая придерживает ластик: ее противно трогать зубами, наэлектризованная какая-то. Чтоб ее соскоблить, я пользовалась чертежной кнопкой, а потом, когда геометрию проходили, острым концом циркуля. Отодвинула папоротник от стены, обстригла ножницами все, что у него пожелтело. Теперь на нем прореха с одной стороны, зато в целом он стал зеленей. Лучше меньше, да зеленей. Можно, конечно, и другую сторону выстричь, подравнять его, как папа подравнивал изгородь. Конечно, животных я вырезать не буду. Отодрала от окна записку насчет библиотечных книг, но остатки скотча отскоблить не смогла, а ведь скоблила кухонным ножом. Нет у меня бритвенного лезвия, вот у мойщиков окон — у тех они были. Клей, видимо, затвердел от старости. Сколько ему лет, интересно? Некоторые записки пожелтели, стали такие ломкие, особенно, если написаны на листках, понадерганных из журналов. Некоторые я писала маркером, черным или красным маркером, некоторые написаны шариковой ручкой или карандашом. А то, что карандашом, — видно, меня вдруг осенило, когда я решала

кроссворд, больше я ни для чего карандаш не использую. Вот, например, на картотечной карточке: НАПИСАТЬ ЛИЛИ. Давненько у меня и в мыслях не было ей писать. Чтоб добраться до места, где можно встать и скрести окно, мне пришлось идти по страницам, и два раза под ногами хрустнуло. Нет, не улитки, конечно, хоть это была моя первая мысль. Наверно, попало вниз стекло из сломанных рамок. Кларенс обожал фисташки, вечно бросал скорлупу на пол, приходилось по ней шагать. Я предложила класть ее в карман, если так уж трудно бросить в мусорную корзину. Он сказал, что не намерен таскаться по городу с полными карманами шелухи. Ничего подобного я, конечно, не предлагала, я, естественно, думала, он это дело выбросит в мусорное ведро на кухне, перед тем как уйти. Да и какое там по городу, место, где мы в конце концов очутились, городом можно назвать только с очень большой натяжкой, так — столовка, заправочная станция, заколоченные дома в три ряда, песчаная полоса между топью и океаном. Сколько он этих фисташек сжирал, пока работал, — чтобы только не пить. Останавливаюсь на этих фисташках, хоть мне же надо продвигаться вперед, потому исключительно, что, когда раздавила стекло, меня как кольнуло в сердце, прямо острый укол. Вот, пожалуйста, теперь на страницах следы моих туфель, и тоже уколы, уколы. Таким манером у меня, глядишь, получится сплошной перечень уколов и поводов, из-за которых уколы. На книгу, положим, не тянет, зато займет хорошенький кусок предисловия, если, конечно, Гроссманша не передумала. Можно, конечно, написать и спросить. Если я и создам животное с помощью ножниц, так исключительно маленькое, и чтоб ничего особенно не выпирало. Чуть ли не в самый наш лучший период, в том смысле, что оба мы с Кларенсом бешено писали — ну как бешено, гладко и быстро на самом деле, — это когда мы жили в Беркшире, в райском шалаше, так сказать, куда нас пустили друзья, — у нас весь пол, абсолютно, был завален страницами. Как-то вечером Кларенс явился из города с покупками, весь впопыхах, причины уж не упомню, кинулся в гостиную своим обычным широким шагом, поскользнулся на рукописях, как на льду, рухнул навзничь, продукты разлетелись в разные стороны. Как в дешевом фильме, буквально, руки-ноги врастопыр, кульки сыпятся дождем. Он, конечно, совсем не нашел это смешным. Впал в ярость, отказывался отвечать, когда я расспрашивала: ты не ушибся? Потом похватал все мои страницы, десятки, десятки страниц, сгреб в охапку, швырнул за дверь, а там их подхватил ветер и понес через луг, к деревьям. Я стояла в

спальне у окна и смотрела, как они кружат над полем, летят через дорогу, падают в сад. В ту ночь лило, и утром, когда я вышла поглядеть, клеклая бумага была везде-везде, даже на деревьях. Так они и висели, когда, чуть ли не через три недели, мы уезжали. Кто нам уступил эту хижину, шапочные знакомые Кларенса, приехали на следующие выходные, но о страницах ни звука, хотя, ясное дело, их нельзя было не заметить. Можно вырезать, например, бобра.

(*пробел*)

Не всегда меня раздражал свист Кларенса во время работы. Не помню даже, когда он начал меня раздражать. В голове отчетливая картина: он печатает у нас на кухне, на Джейн-стрит, стоит у конторки, жарит вовсю и свистит, и ощущенья нет такого, чтоб меня это раздражало. Сперва он постоянно печатал стоя, и потом, когда мы уехали с Джейн-стрит в Филадельфию, он сочинил особую такую консоль, чтоб машинку держать на самой подходящей высоте, под самым лучшим углом, и сам соорудил в мастерской одного знакомого скульптора, который жил в Нью-Джерси в сарае. Держалась консоль на крыльчатых гайках, и она разбиралась, можно брать с собой каждый раз, как переезжаешь. Это была единственная наша мебель, какую мы таскали с места на место, если, конечно, не считать мебелью такие вещи, как штативы, ружья, машинки. Это все я бы назвала оборудованием. Уже гораздо позже, потом, когда сделался грузным мужиком средних лет, он стал сидя печатать, отяжелел. Будет, по-моему, только справедливо, если я скажу, что и слог его отяжелел. Даст, бывало, мне кое-что почитать, а я сразу вижу, какая это свинцовая тяжесть, и кое-что предлагаю, чтоб слог оживить. "Allegro, – говорю ради оживления, – allegro con brio[1], Кларенс", а однажды предложила каждую вторую фразу вычеркивать. Такой приступ вредности, видно, напал, потому предложила. После нескольких переездов до меня вдруг дошло, что мы никогда, нигде не осядем, и я взяла манеру выбрасывать отпечатанные страницы. Их накапливались ящики целые, они меня больше абсолютно не волновали, только вечно путались под ногами. По-моему, это была уже мебель, а не оборудование, учитывая особенно, что, когда ящики складывались в штабеля, мы на них ставили разные вещи, ну а раз мебель, мы при переездах ее и бросали. У

1. Скоро, скоро с жаром (*итал.*).

Кларенса была тьма всякого оборудования, он его называл оснасткой, все больше для охоты, рыбалки. Я тоже охотилась и рыбачила, но я не имела своего обрудования, что Кларенс подкинет, на том и спасибо. Ему бы хотелось иметь целый дом, набитый головами, плюс пики, ружья и т. д. и т. п, насмотрелся в охотничьих домиках у богачей, когда с ними вместе охотился, чтобы потом писать как бы отчет для журналов. Одна-то голова у нас была, голова огромного оленя, он застрелил его в Висконсине, а потом заплатил кому-то, чтобы набил чучело. Мы годами таскали за собой эту голову, и, как переедем, чуть ли не первым делом он ее вешает на стену. Сядет в кресло, смотрит на эту голову и с ней разговаривает. Если не пьяный, то, конечно, шутя. Делал вид, что голова — это его слуга. Например, мы собираемся уходить, он смотрит на голову и требует: "Мальчик, принеси-ка мне куртку!" В смысле, конечно, чтоб я ему эту куртку принесла. В Мексике в голове завелась какая-то нечисть, и в конце концов она стала такая шелудивая, чем-то вся траченая, и мы ее бросили на берегу. Это в тот год, когда Кларенс решил снова стать фармацевтом. Теперь у меня одно-единственное оборудование, если не считать кухонного оборудования, — моя машинка, если не считать радио. Кстати, о радио, сейчас девять часов шестнадцать минут, только что объявили, и вот сейчас мы услышим Концерт для оркестра Бартока. Девять часов шестнадцать минут — вечера то есть.

(*пробел*)

Даже в свой лучший период Кларенс не отличался богатым творческим вооражением. Если, предположим, вдруг как бы перла из него смелая выдумка, так все строилось исключительно на вранье, как например, когда он написал длиннющую статью про поездку в Африку, в том числе как он застрелил носорога (потом превратившегося в гиппопотама), который его атаковал и рухнул замертво буквально ему под ноги. Оказывается, африканские проводники уже стрельнули в зверя, причем несколько раз стрельнули, из кустов он вывалился, шатаясь, смертельно раненный и даже не осознал, по-видимому, что перед ним стоит Кларенс, когда тот в него выстрелил. Он тогда был со своим дружком, Денисом Циммерманом, тот и растрепал, направо и налево рассказывал, как дело обстояло в действительности. Или, скажем, это поддельное интервью, которое он взял у самого себя — а якобы у африканского журналиста в неисповедимой глуши — и пытался впарить "Эсквайру". Там, конечно, все в миг раскуси-

ли. Когда это просочилось, все к нему приставали с расспросами, а он делал вид, что и задумывал фарс, и всю вину хотел свалить на журнал, дескать, не поняли шутки. Хотя шуткой там и не пахло. Правя машинопись, Кларенс вечно сжевывал ластики на карандашах. Он не ел эти ластики, он только их жевал и сплевывал на пол меленькие кусочки, или он их собирал с языка и опять же бросал. После этого карандаши уже ни к черту не годились — не годились, я имею в виду, для кроссвордов, и вообще, если ты не уверена в чем-то в тот момент, когда пишешь, потому что, если ластик сжеван, карандаш остается с металлическим скребком на конце. Не заметишь, что карандаш, который схватила, это тот, который Кларенс сжевал, сядешь что-то стирать и, здравствуйте, дыра на странице. Стираю я с силой, так что получалась иногда большая дыра, иногда просто загубленная страница. И вот я взяла манеру, как попадется мне такой карандаш, тут же его выбрасываю в мусорное ведро, чтоб наверняка на него больше не напороться. Если Кларенс меня за этим делом застукает, он орет: "Эй, прекраснейший ведь карандаш!" И каждый раз одно и то же, прямо-таки орет, хоть знает, что я терпеть не могу, когда он начинает фразу с этого "Эй". Особенно выделяется один случай. Я как раз выбросила последний карандаш во всем доме, потому что ластик был, как водится, съеден. А он читал гранки одного своего рассказа и ему пришлось, видите ли, прерваться, идти на кухню, выуживать из мусора свой оглодок, стоит, роется в ведре и матерится себе под нос. Наконец откопал его, но весь в томатном соусе, и давай меня костерить. Держит этот карандаш высоко над головой, можно подумать, я его отнять собиралась — как кинжал окровавленный, — и бросает мне обвинение, что якобы я завидую, поскольку собственные гранки мне не приходится править. Да, мне не приходилось править собственные гранки, что правда, то правда, но вот завидовать я нисколечко не завидовала; да я никому и не дала бы лапать мой текст. Хотя не всегда я злилась, если он начинал фразу с "Эй", было времечко, это совсем-совсем иначе звучало. В первые недели, когда только познакомились, мы ни на минуту не разлучались, без конца бродили по городу, и, когда хотел на что-то обратить мое внимание, он говорил: "Эй, Эдна!" — и я поворачивалась и смотрела. В этих словах, что я, мол, завидую, причем еще с намеком, что читать гранки — дело более тонкое, возвышенное, чем печатать, Кларенс весь, как на ладони. То, что он был способен выступить с подобным обвинением, предположим, его даже достали, выбросив все карандаши, доказывает, что он и отдаленно не понимал, какая между нами разница.

"Я стояла на пороге искусства, дрожа от волнения " — вот что я чувствовала когда-то, и это для меня был единственный способ уйти от пошлой действительности, которая прямо убивала меня. Кларенсу, из-за его корней, я всегда подозревала, было просто невдомек, что искусство может так действовать на человека, на него, наверно, оно никогда так не действовало, как и на этих на всех, которым понемногу приедается литература. Теперь уже со мной ничего подобного не бывает. Часами стою у окна, разглядываю людей на тротуаре внизу, разглядываю облака, стою себе, ни весело, ни печально; а книгу открою, сразу засыпаю. Крысиное колесо стало скрипеть, новое дело, каждый раз, при каждом обороте, на том же самом месте, так тоненько — "жжжи". Мы долго рассуждали о том, что надо бы переехать за город, причем "загород" был понятие чисто негативное: ни кабаков, ни тебе пьяных друзей, ни сборищ. Уехать за город было — как начать новую главу. Правда, Кларенс тогда ни о какой новой главе даже не заикался, это он потом про нее завел, когда уже снюхался с Лили. А тогда он говорил: "Надо перевернуть эту штуку", под "штукой" имея в виду свою жизнь. В конце концов никуда мы за город не поехали, а поехали к морю, на один такой богом забытый курорт, где он провел три дня со своими родными еще в восьмилетнем возрасте. Все они в те поры впервые выехали за околицу, а Кларенс, он впервые увидал океан. Они осилили только одну комнатушку в мотеле за двадцать километров от берега, причем пятеро спали там, а трое в машине. Кларенс обожал рассказывать эту историю, рассусоливая подробности, чтоб все знали, каких он, мученик, в детстве натерпелся лишений. При этом он впадал как бы в транс, уставясь вдаль, будто смотрит фильм и вам содержание излагает, и, когда он кончал, никто не печалился, а все, наоборот, дружно думали о том, какой счастливчик был Кларенс те три дня в своем восьмилетнем возрасте. Курорт, наверно, и летом не сильно кипел жизнью и буквально вымер зимой, когда мы там очутились. Прокатили мы по главной улице, разгрузили багаж в самом последнем доме. А час спустя Кларенс уже орал из телефонной будки дружку в Нью-Йорк: "Это не город, это обломки кораблекрушения!" Несчастный курорт, теперь-то можно сказать, чего уж, как зеркало отражал наше тогдашнее настроение, потому что никакие не детские фантазии Кларенса, а глубокий душевный надрыв нас туда загнал. В тот самый первый день главная улица стояла в зимних косых

лучах тихая, брошеная, когда мы по ней проезжали, и на ней спали длинные тени, и ветер мел поперек мелкую, колкую пыль. Дома все почти позаколочены, только заправка и ресторанчик к вашим услугам. Море смывало этот берег десятки лет, издавна, даже, надо думать, еще до того детского приезда Кларенса, сильным течением песок сносило на юг, и теперь осталась всего узенькая полоска, раз — и обрыв, как речной угор, но там-сям торчат съеденные креозотом белые кедровые комли. В прилив океан подползал под дома, которые у самого берега, в основном пустые, и вскипал вокруг свай. Каждую зиму, нам рассказали, дом-другой сносило штормами. При нас ничего не снесло, зато один дом сгорел, другой нарочно разрушили. Мы из окон смотрели, как его ломают. Чтоб как-то приостановить убыванье песка, из камней и бревен сооружали такие пирсы, перпендикулярно к берегу, они далеко выдавались в прибой, и, когда гуляешь по берегу, приходилось чуть не каждые сто шагов перелезать через груды камней и бревен, облепленных водорослями и махонькими ракушками. Большинство домов, жилых пока еще, осели и обветшали, хозяева, видимо, не хотели швырять деньги на ветер, точней — структурам, крепко связанным с волей ветров. Наш дом был небольшой, но зато у самого океана: весенний прилив лизал ступени крыльца, в досках свистал ветер. "Он сырой", — постановил Кларенс к концу второго дня. А я сказала, что мне нравится. Такой белый дом с синими ставнями, или это я путаю с тем, который был в Фалмуте, как-то летом на две недели его снимали. Каждое утро и каждый вечер, кроме тех случаев, когда вообще на берег не сунешься из-за прибоя, мы гуляли по взморью, такие долгие были, промозглые, продувные прогулки, плюс надо перелезать через пирсы, как я уже упоминала, а между прогулками Кларенс сидел в доме и пытался писать и не брать в рот спиртного до ужина.

(*пробел*)

Ночью шел дождь, утром похолодало. Небо расчистилось, и я вышла, решила пойти в парк, но по дороге чуть не плюхнулась на тротуар. Ну как чуть не плюхнулась, просто я села, закружилась голова, и я села на чужие ступени, чтобы не плюхнуться. Такое уже бывало. Правда, у меня дрожали руки-ноги, такого еще не бывало, и я подумала: да, первый звоночек. И я подумала — может, надо подуть в пакет. Пакета у меня не было, я же не знала, что со мной такое случится, когда выходила из дома, хотя, как я упомянула, такое уже слу-

чалось, правда без этой дрожи в руках-ногах, и наверно, надо бы прихватить пакет, ну на всякий случай. И я, кстати, могла прихватить пакет с птичьим кормом, почему не прихватить, и корм бы этот я вывалила на тротуар, случись со мной такая история, пока я еще не дошла до парка. Уж воробьи бы с кормом разобрались, ясное дело, хотя в настоящий момент и не наблюдались на горизонте. Интересно, они чуют еду по запаху, как собаки, или по виду определяют. Зернышко проса, наверно, кажется дико маленьким с такой высоты. А может, они снижаются наобум, просто прыгают, прыгают по тротуару, и тут, здрасте, видят еду. Случись это со мной в магазине, не очень бы им там понравилось, что я им на пол вываливаю птичий корм. А с другой стороны, раз это магазин, у них же тьма пакетов, и мне бы дали пакет. Сама я лично никогда не дышала в пакет. Так просто, стукнуло в голову, ну слышала, что, когда человеку дурно, надо подышать в пакет, из-за избытка кислорода. А с другой стороны, может у меня как раз недостаток кислорода, тоже возможно, а в таком случае дышать в пакет, по-моему, была бы ошибка. И вот сижу я сама не своя, в душе кавардак. А потом все как рукой сняло, что там это было, даже не знаю, в прежнее время сказали бы, наверно, что у меня был мой приступ. "Опять у Эдны ее приступ", с тонким намеком причем, что я просто притворяюсь. Найджел, кажется, больше времени проводит в своем загоне. Ему, по-моему, неприятно, что все время на него пялятся. Я на него не пялюсь, я на него вообще почти не смотрю, но знает ли это он, большой вопрос, ведь мои глаза, надо думать, ему издалека кажутся просто точками. Или он боится, что я в него чем-нибудь запущу. На месте Найджела я бы не очень радовалась, что приходится жить в таком стеклянном доме. Где никуда не деться от Эдниных глаз, как Эдне было никуда не деться от глаз Бродта. Интересно, он хоть соображает, что эти штучки — мои глаза? Здание, где я работала, тоже, можно сказать, было сплошь из стекла, такой пятиэтажный аквариум. Подмывает сказать, что, когда Найджел видит, как мой огромный глаз пялится на него сквозь стекло, я напоминаю ему Бродта, но это явно уже чушь собачья. Кларенс засел за новый роман. Первые две-три недели, после того как засел, он, бывало, вдруг прерывает прогулку, кидается домой, практически перепрыгивает через пирсы, ну не то что перепрыгивает, в общем-то переползает, матеря колючих рачков, и я, поднимаясь с берега на крыльцо, уже слышу стрекот машинки. На этот раз он мне ничего не показывал, но как-то, когда его не было дома, пошел за продуктами, я вошла к нему в

комнату и прочитала, и увидела, что ничего хорошего. Я и в следующие недели читала, и это было удовольствие ниже среднего, да и просто я чувствовала, что его песенка спета, он сдался. Подслушиваешь под дверью и слышишь, что его песенка спета, слышишь, что он сдался, слышишь, как он мечется по комнате, открывает книги, захлопывает, отворяет-закрывает окно, встает-садится, слышишь скрип кресла, глубокий вздох, тук-тук-тук машинки, долгую тишину, опять тук-тук-тук, а тут и обедать пора. Это был тот период, я раньше упоминала, когда он ел фисташки, чтобы, значит, не пить, а кончил он тем, что фисташками закусывал виски с содовой. Да и, кстати, тогда мы выбросили нашу оленью голову, швырнули в прибой, и она поплыла, нос и рога над водой, такой жуткий утопленник, а потом она перекувырнулась — только досточка прыгает по волнам. Мы там оставались, пока снова не потеплело. Кларенс, когда уже сдался, несколько недель потом рыбачил практически от восхода до сумерек, стоит на краю приплеска, держит удочку, смотрит на море, а раз как-то я вышла из дому, встала рядом, а он показал удочкой и говорит: "Вон там Африка". Конечно, он не рыбачил в том смысле, чтобы беспокоиться, ах, поймаю я что-нибудь, не поймаю, — смотрел, как тает будущее, проваливается за горизонт, вот, по-моему, на самом деле он чем занимался. Так и вижу его внутренним взглядом, как бы сверху вижу, как бы стоя на высоком утесе на студеном ветру, и слова приходят на ум, слово "несчастный" и слово "идиот". Что ни выудит, все он пускает в ход — камбалу, хека, иглобрюха, акулу, зубатку, угря — и сжирает с какой-то злорадной жадностью. Я ела рис и меленький бледный горошек из банки, и мы смотрели друг на друга через стол в неоновом свете кухни. О чем говорили, не помню. Когда-то, давным-давно, мы только-только познакомились, я ему сказала, что проваливаться — в природе художника, если кто-то никогда не проваливался, значит, он вообще не художник. Но теперь уже это не годилось, теперь уж он понимал, что их провалы это одно, а что с ним стряслось — совершенно другая история. Я перенесла свою машинку в комнату, которую он забросил, она потому что выходила на океан, и я была тут как тут, на рабочем месте, когда солнце вставало над Атлантикой, в точности как сейчас, правда вместо Атлантики сейчас у меня фабрика мороженого. С годами Кларенс набирал вес, и постепенно я привыкла к тому, что он полноват. Его присутствие давило физически, стулья и пол скрипели под ним. Как-то утром, мы гуляли, ветер сорвал с меня соломенную шляпку, она полетела по берегу, и Кла-

ренс побежал, чтоб ее поймать, ухватить, пока не упала в волны. Как раз вовремя успел, и, когда шел ко мне обратно, нацепил ее на макушку, для смеха, и тут я увидела, вдруг, что он просто жирняй. Это как раз в тот день было, совпадение, когда он мне объявил, что возвращается работать в аптеку. В связи с этим, возможно, я вдруг и увидела, что он просто жирняй, заранее приготовилась на него взглянуть другими глазами, поэтому. Ну а я, я, наоборот, похудела, бедра, ляжки прямо истаяли, и куда подевались мои груди. Гуляем вместе по берегу, а мне думается: Тело и Дух. Кларенс был Тело, я Дух.

(*пробел*)

Конечно, Пул, может, вовсе и не забрал из мастерской свою машинку, может, в таком состоянии он забыл, где ее оставил. Каково бы мне было, если бы в один прекрасный день я решила покончить с собой, а машинка непонятно куда задевалась? Ужас. Даже представить себе не могу ситуации, при которой бы я забыла, где оставила свою машинку. Скрип стал хуже. Даже сквозь наушники слышу: жжи-и, вв-в, жжи-и, вв-в, жжи-и, вв-в.

(*пробел*)

Приклеила фоточку со львом обратно на это окно. Если учесть, что снимок сделан в шестьдесят четвертом году, он кое-что еще говорит о Кларенсе, а не то, на что раньше я намекала, когда рассуждала о том, как, мол, снимок близок к действительности, поскольку Кларенс стоит с бокалом в руке. В шестьдесят четвертом году Хемингуэя уже несколько лет как не было на этом свете[1], никто, кроме Кларенса, львов больше не стрелял, и тут, по-моему, была трагедия его жизни — что он в общем-то остался стрелять львов в одиночку, вышел на сцену, когда уже кончился спектакль. Говорю — трагедия, но это ведь и комедия в том числе: погасли огни, публика разошлась, тетки в платочках пылесосят проходы, а ты все торчишь и торчишь на сцене. В шнурованных ботинках, в охотничьей куртке, вовсю шпаришь роль, которую в школе выучил, а ведь годы идут, а в человеке скапливается усталость. И время от времени он смолкает, чтобы хлебнуть из фляжки. Трагедия его была в том, что положение его ста-

1. Хемингуэй застрелился 2 июля 1961 г.

ло комичным, а он и не заметил. "Охота на львов в одиночку" — ну чем не название для книги? Для биографии Кларенса, конечно, — не то чтобы книги, которую Кларенс бы сам написал, потому что он не мог иронически относиться к себе и бывал недоволен, опять же, если я вдруг иронически отнесусь к чему-то, что он сам воспринимает на полном серьезе. Удивительно, единственное, над чем никогда я не иронизировала, а именно мое печатание, он без конца поднимал на смех: "Воспоминания Эдны обо всем, что кануло в Лету" — в таком духе. Несмотря на прямо всепожирающее желание быть новее нового, было в Кларенсе всегда что-то такое старомодное, чопорное, что ли, — пишу, хоть и знаю, как бы это его задело. И, хуже того, невозможно без юмора называть человека типа Кларенса чопорным. Ну, может, даже и старомодное — не то слово, лучше сказать общепринятое, я имею в виду фильмы класса Б, для которых он тексты строчил, эти рассказы об охоте-спорте-природе, про которые, как появятся, все скажут ах, прелесть, и тут же напрочь забудут, ну и прочее-разное, что он рассовывал по занюханым литературным журнальчикам. Но ведь не всегда он гордился тем, какой из него вышел писатель, нет-нет и пошлет что-нибудь в "Эсквайр", скажем, или там в "Нью-Йоркер", хотя в ответ вечно получал стандартные бланки с впечатанным отказом, и я ведь, главное, его предупреждала. По-моему, когда переиздадут "Ночной лес", никто даже не заметит. Охота на львов в одиночку: я потому что, метафорически выражаясь, была уже не в состоянии стрелять их с ним за компанию, или, может, не хотела. Не в состоянии была хотеть, вот после того, как психологическая пружина, ну или не знаю что, лопнула, в чем и вся суть. Я говорила Кларенсу, когда он начнет распространяться насчет своей статистики, предположим, или перечислять все, о чем шла речь на литературной пьянке, что мы присутствуем при конце цивилизации, в смысле нашей цивилизации, той, в которой есть место для таких людей, как мы, — как я, и как, временами, Кларенс. Отпечатала предыдущую фразу, глянула на клетку: Найджел вытаращил глаза. Сочиняла бы я детский рассказ, я бы начала: "Как-то увидел крысеныш, что́ такое она напечатала, и даже глаза вытаращил от изумления". Интересно, а можно сочинять рассказы для детей, если их не особенно любишь? Ну, я бы страшные рассказы сочиняла, легче, наверно, кого-то пугать, если его не особенно любишь.

(*пробел*)

Воскресное утро, а я не слышу Пряжки, хоть широко открыты окна, верней, еле-еле слышу, когда уж очень я вслушаюсь, когда и компрессоры слышу, и птиц, и голоса прохожих на тротуаре. Одну птичку, это малиновка, видимо, слышу даже сквозь стук клавиш, да уж, заливается сердешная, или, может, это ласточка. В первый раз слышу здесь ласточку, если это, конечно, ласточка. Прохожие внизу на улице слышат, как я печатаю, уверена, и мне вспоминается, что́ сказал Капоте про книгу Керуака: "Это не написано, это напечатано на машинке". Вот и про мое бы, наверно, то же самое сказал, будь он еще жив и получи возможность прочесть. Он, видимо, хотел сказать, что текст Керуака все идет, идет, идет — без всякой цели. Как будто можно иначе как-то все идти, идти, идти. С утра опять голова закружилась, когда несла кофе из кухни. Кажется, у меня это входит в привычку. "Хроника" — так подобного типа привычки называются в медицине. Ухватилась за книжный шкаф, чуть не весь кофе расплескала. Посидела в кресле, приготовила еще кофе, а теперь он остывает, и пусть, а мне пока надо разобраться, о чем сегодня буду печатать, в голове разобраться, я говорила уже. Кофе растворимый приучилась пить, когда надо было время экономить, когда еще я ходила на работу, — хронически его пила, — а причесываться приходилось в автобусе, потому что я вечно опаздывала, пусть и спозаранок встану, неважно — я уже объясняла? Опоздаю, а Бродт записывает на бумажке, и бумажку складывает, и сует в рубашку, в этот свой нагрудный карман. Все хочу разгрести барахло, кое-что повыбросить, лишние вещи, и те, которые мешают, по-моему, и разную антисанитарию типа книг. Я, наверно, уже упоминала про плесень, но если нет, так вот именно ее я имею в виду, когда говорю про антисанитарность книг. Конечно, в некотором смысле — это у меня на самом деле детский рассказ, ведь все, что случилось со мной и Кларенсом, отчасти по крайней мере, есть следствие того, какими мы были в детстве, какой жили жизнью, пока не стали собой, а тут уж поздно, тут уж никуда ты не денешься. Пойду прилягу.

(*пробел*)

Повернула за угол, и в ту же секунду вижу, что моей мастерской уже нет. В окне вывеска "Салон Этел. Маникюр, прически", и кто-то отмыл стекло. Девушка с серебрянным кольцом, вдетым в бровь, стояла спиной ко мне, когда я вошла, за креслом, где дама сидела, постарше, и что-то делала с ее волосами, стригла возможно, хотя ножниц я не припомню. Я

вхожу, обе на меня смотрят в зеркало. "Вы что хотели?" — девушка спрашивает у моего отражения. Головы она не повернула, так что я отвела глаза от девушки, которая стояла за креслом ко мне спиной, и стала говорить с той, которая смотрела на меня в зеркале. Вот ищу, я ей говорю, одного человека, он держал мастерскую для починки пишущих машинок в этом самом доме. Отражение отвечает, что ни о каком таком человеке понятия не имеет. "Может, Этел знает", — оно говорит. Но сегодня Этел уже не будет. Может, спрашиваю, есть номер телефона, по какому с ней можно связаться, и объясняю: "Тут такие концы, в другой раз, не знаю, может, я и не осилю". Она говорит: "Я не уполномочена этот номер давать", и потом, уже клиентке, в зеркале: "Так вот это чего, оказывается. А я-то думаю, скупка тут, что ли, была, куча машинок старых". Я говорю: "Машинок? Где?" Тут настоящая девушка повернулась: "За углом. Хотя теперь-то их уже нету". Возле дома была небольшая парковка — лужи на битом тротуаре, в лужах облака. Прошла по лужам, заворачиваю за угол. Утыканные гвоздями доски, шпаклевка, пустые банки из-под краски и прочая дрянь навалена у стены. Скатанный, выпачканный краской пластик все туфли мне обрызгал, когда я его потянула за край. Шпаклевка вся мокрая, клеклая, прямо расползается под руками, и у меня платье, туфли — все было мокрое, грязное, когда уже разгребла эту дрянь и увидела под низом машинки: с десяток примерно, по стеночке, машинки как машинки, в основном, и дико все заржавели. Я оперлась о стенку, нажала у одной на клавиши носком туфли, они не шелохнулись. Ай-би-эм там не было, зато древний "Ундервуд", я его еще тогда заприметила, он был с чьей-то длинной такой фамилией, не запомнила, вот он, наоборот, был. Перевернула ногой картонную бирку — оказалось, Мэри Поплавской этот "Ундервуд". Я встала на коленки, запустила под него руки, отдышалась, кое-как поднялась на ноги, причем качаюсь, упираюсь плечом в стену. Машинка была не то чтобы тяжелая, они же ох какие тяжеленные бывают, но для меня тяжелая, соответственно. Приладила ее к бедру, потом к плечу, но оказалось, удобнее всего нести на животе, хоть поневоле я вихлялась, не знаю как. Пока добралась до автобуса, пришлось два раза останавливаться, отдыхать, и я на тротуар садилась, и на второй раз вышла из магазина женщина, спросила, что со мной такое. В автобусе народу было не то что битком, и я свободно поставила машинку рядом, на сиденье. Когда добралась до дому, буквально плюхнула ее на кухонный стол, прямо на посуду от завтрака, причем разбила тарелку, ту, которая с зайчиком. Платье,

ладони, руки чуть не до плеч — все было у меня темное от ржавчины. Стою под душем, ржавая вода кружит, бурлит над стоком, под ногами, и вспомнилась мне даже сцена убийства в "Психо"[1]. Никаких Поплавских нет в телефонной книге.

(*пробел*)

Плечо еще болит. Сегодня печатать не буду. Это левой рукой напечатано, медленно.

(*пробел*)

Равель, Прокофьев, а может, и еще кто-то, писали пьесы для левой руки, специально под пианиста Пауля Витгенштейна, он правую руку потерял на войне. На Первой мировой, видимо[2]. Брат философа Людвига Витгенштейна. В какой он битве ее потерял, не знаю — кажется, на Восточном фронте. А какие в той войне были битвы на Восточном фронте, я не помню, вот на следующей войне помню некоторые: Курск, Смоленск, Сталинград.

(*пробел*)

Еще мы себе позволили роскошь, после Африки и после Мексики, — это мы год провели во Франции, всю зиму причем прожили в гигантском доме в абсолютно крохотной деревушке. Возможно, я уже говорила про этот дом, он был такой громадный, что мы начали печатать в разных комнатах. У каждого было две комнаты, одна на восход, одна на закат. Когда приехали, стояла ранняя осень. Но прошла неделя-другая, и настали лютые холода. В доме никакой отопительной системы, абсолютно, печки только, и в конце декабря мы почти все время жались к печке на кухне — длинная такая кишка, сводчатый потолок, в одном конце крохотное окошко. Прямо пещерное житье-бытье. Кларенс перестал печатать, стал писать от руки, в перчатках, но каждый вечер, если только не льет как из ведра, мы долго бродили по округе.

1. "Психо" — так в нашем прокате называется фильм Альфреда Хичкока (1960), до сих пор непревзойденный образчик фильма ужасов. Убийство там совершается в ванной.
2. Пауль Витгенштейн (1887–1961) во время Первой мировой войны, будучи австрийским офицером, был тяжело ранен возле польской границы, и ему ампутировали правую руку. Однако он не прервал пианистической карьеры, и для него специально писали сочинения для левой руки Прокофьев, Равель, Бриттен, Рихард Штраус, Хиндемит и другие.

Теперь мне кажется, что с тех пор, как настала зима, мы вообще не видали солнца, хотя такого не может быть. Как ни вспомню наши прогулки — вечно либо муть, либо морось. Немыслимо мрачная стала округа, когда листья опали, все уныло и буро, и равнина, равнина, ничего даже похожего на порядочный холм, поля голые, темные после жатвы: акры, акры земли, сплошь в комьях и бороздах, и на них ни следа растительности, и только разделяют их узенькие перелески — куцые деревца и кусты. Мы не ходили по эти полям, разве что, когда надо перейти на другую сторону, к лесу. На самом краю деревушки, из нашей кухонной двери видно, стоял белый бетонный указатель: название Шато-Тьери и дальше количество километров. Сколько именно километров, забыла — сорок? пятьдесят? Это название Шато-Тьери мне мозолило глаза каждый день, пока мы там жили, и, хочешь не хочешь, я без конца думала о войне, может, из-за памятника на горе, где я увидела это название в первый раз, когда я только еще училась читать, и где в конце концов поняла, что это и есть то место, где при страшных обстоятельствах изувечили и положили столько народу[1]. "Это ужас был", — так говорил Кларенс, имея в виду ту войну. У него были книги фотографий с той войны. Еще страшней, чем вид убитых солдат, выкорчеванных деревьев, павших лошадей, были пустые, ошарашенные лица выживших. Мы иногда шли через поле, к лесу на другой стороне. Грязь была вязкая, цепкая, облепляла обувку, с каждым шагом все больше, приходилось останавливаться, соскребать ее палкой. Я опиралась одной рукой на плечо Кларенса, чтобы не грохнуться, пока ее соскребаю. Грязь застывала на сапогах у солдат и делалась твердая, как гипс. Сидя в траншеях, они ее соскабливали штыками. Если кто-то, сраженный, падал в нее ничком, те, кто нес носилки, перевернув его навзничь, узнать его уже не могли. Огромные крысы кишели в траншеях и питались убитыми и ранеными. Эти крысы, Кларенс говорил, залезали под шинели убитых, проедали в закоченелых телах ходы, и, когда тело поднимут, чтобы похоронить, оттуда десятками сыпались крысы. У нас во Франции не было ни мышей, ни крыс, мы потому что обзавелись двумя кошками — у нас была серая кошечка Chatte Grise и серый котище Chat Dingue. Chat Dingue по-французски значит чокнутый кот, кот с приветом. Грязь так и не просыхала всю зиму, когда мы там жили, но иногда она промерзала, и в эти студеные дни можно

1. Имеется в виду Битва на Марне (1918).

было переходить поля, не проваливаясь. Всю ту зиму, когда мы жили во Франции, я думала о страданиях солдат, и они были до того непохожи на то, что приходилось выносить мне самой. Я не знала, как сравнить их страдания с моими. Не знала, как то и другое измерить.

(*пробел*)

Тут несообразность какая-то. Может, события мира чересчур велики для слов. Война чересчур велика. Они, слова то есть, как крошечные букашки бьются об оконное стекло ("окно разума"), пытаясь выбраться наружу, а снаружи огромный и яростный мир. Или, может, все на самом деле наоборот: слова чересчур велики, некоторые слова чересчур велики, да. Слово "любовь" велико. Может, и слово "Кларенс" чересчур велико тоже. Я раньше думала, что бессловесные, несвязные муки обычной жизни чересчур велики для слов. Теперь я думаю, что это, наоборот, им велики слова. Нет слов, достаточно стертых, чтоб передать, что это за ужас.

(*пробел*)

Участок огородили желтой полицейской лентой, но все спокойно ее приподнимали и проходили. Я прошла к самому краю ямы: прямоугольный бетонный кратер, по бокам гнутые трубы торчат. Если бы не эти трубы, впору подумать, что просто тут роют бассейн. Бетонные ступени спускались в яму с одной стороны, но я не стала спускаться. Еще кое-кто стоял тут же, одни просто так, рассеянно, другие щелкали фотки. Смотреть было не на что, ну дыра, в одном углу большущая куча осколков, и тут же бульдозер. Бульдозер был маленький. Он не работал. И я никого не увидела из тех, что жили здесь. В некоторых домах по соседству в окнах была фанера, осколки и мусор валялись по лужайкам и тротуарам, серая грязь забила желоба. Высокий мужчина подошел, встал со мной рядом. Сказал, непонятно кому: "И смотреть-то не на что". Я что-то буркнула. И хотела уйти, но он мне сунул листовку: меня приглашали в Кущи Хвалы Истиной Церкви во Христе. Если бы город бомбили, таких ям тут были б тысячи. Я, непонятно зачем, составляла в уме словесный портрет Генри Пула: странный, себе на уме, полуночник, крупный, наверно, а то с чего бы всем вспоминать о мелкости его собачки. Был плодовитый сочинитель, я думаю, раз владел такой дорогой большущей машинкой, толь-

ко вот чего сочинитель, — наверно, писем. "Некрасивый, пятидесятидвухлетний, одинокий мастер по починке телевизоров" — таким, видимо, он остался для всех прочих. Сутулый, грузный, с отвислой губой, так я его себе представила. Через весь город волок тяжеленную Ай-би-эм в починку, значит, надо было что-то важное написать. В его характере были скрыты, значит, черты художника, и они проявились, раз в конце концов он все это предал бумаге, все это ей доверил. Тот факт, что записка не уцелеет при взрыве, его, видимо, не тревожил, судьба того, что он написал, абсолютно его не волновала. Если бы он, предположим, заговорил о своем желании писать — с кем, с кем бы он об этом мог заговорить, интересно? — он, наверно, употребил бы оборот "излить душу". Ну, мне так кажется. В конце концов захотелось излить душу. Но он себя не считал художником, да, и его не угнетало чувство ответственности, которое испытывает человек, если считает себя художником. Он бы поразился, узнав, что когда-то я хотела прославиться. Найджел скрипит и скрипит своим колесом, несмотря на все мои крики.

(*пробел*)

Я как вскочу, стул даже опрокинула. Хотела отпихнуть ногой, но застряла в перекладине, чуть не упала. Ухватилась за машинку, чуть со стола не стянула. Цепная реакция, и начала ее крыса, да, это она первая ее подтолкнула — психологически подтолкнула, конечно, не лапами же, естественно: этот невозможный скрип колеса — вот что подтолкнуло. "Скрип в конце концов сшиб Эдну со стула" — так это было, наверно. Я схватила со стола карандаш, двинулась через комнату. Найджел выпучил глаза при моем приближении, думал, уверена, что я собираюсь его проткнуть этим карандашом. Я наклонилась над клеткой, чуть носом не уткнулась в проволочную крышку. Заорала что было мочи, стукнула ладонью по стеклянной стенке, сильно стукнула, как не разбила только. Найджел аж подпрыгнул. На миг я подумала — сейчас навзничь опрокинется, но он вовремя одумался, юркнул к себе в трубу. Я обождала, удостоверилась, что он не выпулит обратно, и только потом уже подняла крышку. Прошла минута, он ни гу-гу, и тогда только я сунула руку внутрь и всадила карандаш между спицами колеса. Видно, я здорово напугала Найджела, он долго не показывался. Наконец вылез, взобрался на колесо, пробовал вертануть, потом сел и стал чесаться. Не знаю даже, и почему я сказала — чувство ответственности, сама имея в виду страх провала.

(*пробел*)

Пустота дней, дни пустоты, все сплю да сплю, а еще я ела и спускалась к Поттс. Несмотря на все мои периодические усилия, цветы упорно вянут. Сидела в кресле мистера Поттса, смотрела на рыбок — подводные цветы колышутся в зеленой жиже. С подоконника, почти со мною рядом, одно растение весь ковер усеяло желтой листвой. Заснула в кресле, да уж, вечерний сон, он на меня наводит много дум, прямо как на Томаса Мура. И приснилось мне, что я знакомлю молоденького Кларенса с папой, хотя на самом деле папа вообще уже умер, до того как я повстречалась с Кларенсом. Во сне, вместо того чтобы сказать: "Папа, это Кларенс", я говорю: "Папа, позволь тебе представить сэра Найджела Пула", и Кларенс низко кланяется и помавает шляпой со страусовым пером. Еще ходила на этих днях в парк. Раз уснула прямо на скамейке, и приснился мне тот садовник, с тем кротом. Садовник сунул крота в карман и стал скакать, прыгать с ноги на ногу, а потом он перестал, и расстегнул ширинку, и вытащил оттуда крысу. Няня закрыла мне глаза ладонью, потянула прочь, мы побежали. Остановились мы у самого дома, смотрю — а папа верхом на изгороди сидит. Найджел искусал весь свой карандаш.

(*пробел*)

Звонка я не слышала, просто выхожу, мусор вынести, а на площадке стоит Бродт — другой Бродт, чуть не сказала, а все почему: на нем элегантная коричневая шляпа, воротничок плотно схвачен галстуком в сине-желтую полосочку, а уж выражение лица! Ну так вот, он, значит, улыбался и одет был иначе, и в первую секунду я его даже не узнала, что странно, поскольку я ждала его с тех самых пор, как увидела, как он пялится на мои окна, если, конечно, это был на самом деле Бродт, а не кто-то, как я тогда же и подумала, пришел по поводу ремонта. Я так вся возбудилась во время его визита, что даже забыла спросить, он ли это раньше был. Ну как возбудилась, я, конечно, не металась туда-сюда по комнате, просто я беспокоилась все время, пока он не ушел. Короче, я ему сказала, что удивлена, вот уж не ожидала, и он слегка поклонился. Я отступила в сторону, его пропустила. Пакет с мусором так и остался на площадке. Бродт был в коричневой шляпе с узкими полями, котелок не котелок, такого вида, как будто он ее подобрал в кино — в фильме подобрал, в смысле, не на пустом сиденье; в таком, знае-

те, старом добром английском фильме. И черная сумка через плечо. Шляпу он снял — видно, она ему давила, на лбу осталась красная полоса — и улыбнулся опять, причем стал виден золотой зуб. Я ему протянула руку, а он протянул мне эту шляпу. Я шла за ним, со шляпой, пока он обходил комнату, стараясь не наступать на мои страницы и время от времени останавливался, чтоб рассмотреть какой-нибудь предмет, потому что он что-то искал, как тогда я подумала, или потому что не знал, куда себя девать, как я думаю теперь. Взял с подоконника маленького Будду из мыльного камня, перевернул, этикетку, видимо, отыскивал, поставил обратно. Возле дивана остановился, уставился на кучу книг и фотографий, которые я смахнула на пол, кое-какие поддел носком ботинка, с любопытством, как тогда мне показалось, хотя, возможно, и нерешительно, просто расчищая место, чтобы сесть. Если верно второе мое предположение, значит, он передумал, потому что он пошел и встал у окна, обклеенного записками, может, он их читал, не знаю (он спиной ко мне стоял), а может, просто смотрел на фабрику мороженого, и тут я впервые за долгое время услышала ее грохот, услышала, я хочу сказать, его ушами. Когда он снова повернулся лицом к комнате, он вроде двинулся в сторону машинки, в которой еще торчала моя недопечатанная страница, и вроде он слегка нагнулся, и я на секунду подумала, что вот сейчас он над нею склонится, будет читать. Я указала ему на кресло, предложила сесть, и он сел, а сумку снял с плеча и поставил перед собой на пол. Я села на диван напротив, зачем-то с его шляпой на коленях. Хотела было ее положить на пол, но побоялась, что это выйдет невежливо. Он смотрел вниз на разбросанные по полу страницы, те, что поближе к креслу. Глянул на Найджела, который на нас смотрел сквозь стекло. Бродт стал как-то присвистывать и языком пощелкал, но крыса ноль внимания, даже ухом не повела. “Хотите кофе?” — я спросила. Кофе он не захотел. Стакан воды — это с удовольствием. Я положила шляпу на диван и пошла на кухню. Возвращаюсь, а шляпа на полу, рядом с креслом. Я подаю ему стакан, снова сажусь. Пригубив стакан, он осторожно ставит его на пол рядом со шляпой. И опять он, я замечаю, разглядывает мои страницы. Он прочищает горло, подается вперед с улыбочкой, даже не знаю, как ее и охарактеризовать, поскольку не разобралась, то ли она была робкая, то ли хитрая. А я сижу и думаю: сейчас скажет, что видел, как я таскала вещи. Он наклоняется, расстегивает сумку. “У меня для вас кое-что есть”, — говорит. Лезет в сумку. Минута молчания, и он вытаскивает мои замшевые

наушники. “Мои любимые наушники”, — восклицаю, хотя, на самом деле, чуть ли не шепотом, и у него их вырываю из рук. Я их надела. Мир сразу стих. Сняла (мир хлынул в уши) и положила на колени. Я вся сияла, это уж точно. Тут он кладет обе руки на подлокотники, напруживает, как бы готовясь встать. Смотрит на меня пристально и говорит: “У меня дядя был, так он слышал голоса, с самого детства слышал. И вот уже когда женился, имел детей, он, можете себе представить, обнаружил, что, если надеть наушники, он больше их не слышит, не слышит этих голосов”. Я только открываю рот: “Но я не слышу...” Но он продолжает: “Летом слишком жарко для наушников, и он ходил с такими ватными затычками, прямо торчали у него из ушей. Высокий, тощий, с длинным носом, ну вылитая птица, журавль с пучками пуха по бокам головы. Просто умора. И, вы будете смеяться, у него и фамилия была Страус”. Он хохотнул. Я, по-моему, даже не улыбнулась, настолько он поставил меня в тупик. Я-то думала, он о стэплерах будет говорить. Наверно, он заметил мой озадаченный вид. Опустил глаза, опять мои страницы стал разглядывать. “А я кормлю птиц в парке тут неподалеку, — я бодро так вступаю в разговор, — голубей и воробьев”. Он говорит: “На дереве у меня под окном я вижу синиц, ворон, иволог”. Я говорю: “А я только воробьев и голубей”. А он: “Утром они трубят у меня под окном. В воскресенье утром будят, когда хочется еще поспать”. — “Голуби и воробьи меня тоже будят, когда их много соберется на пожарном выходе, — я как бы поддерживаю разговор, — хотя они, конечно, не трубят”. — “Трубят и свищут, больше свищут”, — он говорит. “Это, наверно, кардинал, — я говорю, — кардиналы свищут”. Он смотрит прямо мне в глаза: “Да, кардинал. И еще кто-то, на самой верхушке”. Минуту он помолчал. Потом оглядел наушники у меня в руках и говорит: “Приятный цвет”. — “Да, — говорю, — мой любимый синий цвет, — и прибавляю: — У меня деревьев нет, так что и птицы исключительно уличные, голуби и воробьи”. — “Иволги и кардиналы — только этих ярких и вижу”, — он говорит. “По сравненью с воробьем, — я говорю, — и сойка будет яркая”. Он засмеялся. “Когда я был мальчишкой, мы алюминиевые сковородки на веревках вешали, чтобы отвадить птиц, так сойки — те не боялись”. — “Я раньше бросала хлебные крошки из окна, воробьям”, — говорю. “Очень мило”, — он говорит. “У нас даже кормушек не было, не хотели приваживать птиц к себе в сад”. Тут мы надолго смолкли. Он поерзал в кресле, оперся на подлокотники, потом как бы передумал, сложил на коленях руки — ладонь в ладонь. Я говорю:

"Может, хотите просмотреть кое-какие мои страницы?" Опять он оглядел мои страницы на полу. Кажется, поразмыслил. "Нет, видимо, это бесполезно, — так он, по-моему, в конце концов высказался. — То есть, я хочу сказать, лучше не надо". Вроде еще что-то он говорил, забыла. Мы стояли уже в дверях, он уже повернулся уходить, и тут я говорю: "А я думала, вы за вещами пришли, которые я унесла, — я замялась, — которые я с работы таскала". Он махнул рукой, будто что-то выкинул, вышвырнул. "А-а, да о чем вы? — На секунду мне показалось, что сейчас он меня тронет за плечо, но он уронил руку. — Не беспокойтесь, — говорит, — все таскали. Директор, и тот таскал". Я закрыла за ним дверь. К ней приникла. Услышала шаги — вниз, вниз по лестнице, потом чуть слышно открылась и закрылась дверь подъезда. Я пошла, села на свое рабочее место. Теперь уже темно, пока печатала, настали сумерки, я слов не разбираю. Ох, Бродт!

(*пробел*)

Найджел сожрал свой карандаш, весь, кроме того кусочка, который в колесе зажат, и металлической полоски, которая держала ластик, хотя теперь уже он и ластик съел, я заметила, когда утром давала ему кусочек от своего яблока — ну то есть как съел карандаш, он на самом деле только его раскромсал, клочья белой деревяшки и желтой краски валяются среди опилок.

(*пробел*)

После ужина на следующий день после прихода Бродта, еще светло было, стою я у окна, смотрю, как народ толпится на автобусной остановке через дорогу, и вдруг ребеночек, мальчик, по-моему, как выскочит из толпы и — на дорогу, прямо на проезжую часть. Дикий визг тормозов, на секунду мелькнуло, что это вопит ребенок, и автомобиль останавливается. Причем задняя часть буквально задрана над землей, и в таком положении он еще несколько секунд остается, наклонившись, как бы в ужасе. Потом зад автомобиля опускается, медленно, чуть ли не со вздохом, или так мне показалось. Мальчонка стоит — всего на шаг примерно от автомобильной решетки. Отсюда, сверху, кажется, что просто он загляделся на ветровое стекло. Женщина в синем выскакивает из толпы, хватает его на руки, несет обратно на тротуар. Оба отходят в сторонку. Она опускается перед ним

на колени, обнимает за плечико, держа на отлете руку. Не знаю даже, сколько времени прошло, две-три секунды, несколько минут, и вот автомобиль, который чуть не сшиб ребенка, опять тихо покатил вперед, и это — сигнал: он тронул с места, и тут же все пришло в движение, над автобусной остановкой летят голоса, и кто-то орет, и плачет ребенок, все снова в точности как раньше. Сегодня утром не давала Найджелу его катышков, он потому что не прикоснулся к тем, какие у него были, которые я три, не то четыре дня назад ему дала, целую горсть насыпала, и яблока он не ел, значит, сыт. Не знаю, сколько вообще положено есть крысам, но эта очень мало ест.

(*пробел*)

Про меня забыли в Потопотавоке. Считалось, что я там всего на три недели, осенью, официально то есть считалось, но про меня забыли, невзирая на тот факт, что я была тут как тут, у них на глазах, день за днем, чуть ли не два года целых; потеряли меня из виду, так сказать, средь опадающей листвы; на год и одиннадцать месяцев потеряли. Говорю — меня забыли, но это, конечно, сплошная психология, я же не могу, естественно, знать, что там у них творилось в головах. Может, меня и не думали забывать, может, специально не обращали внимания. Два года на меня не обращали внимания, или про меня забыли. Перевоспитывали молчанием, объявили бойкот, мало ли. Но не то чтобы бесповоротно: иногда чересчур даже много обращали на меня внимания, так что нет, не могли они про меня забыть, и Кларенс не забыл, откуда только ни приходили от него открытки — Новый Орлеан, Кей Уэст, Тампа. И в конце всегда: "Привет тебе от Лили". Когда я говорю, что это сплошная психология, я имею в виду исключительно свою собственную психологию. "Два года целых Эдна прожила позабытая и заброшенная" — да, вот такое дело. Как-то ночью группа скаутов развела костер прямо у меня перед хижиной. Попахивало линчеваньем, страшновато. Стоят все у костра, гогочут, горланят, вдруг начинают петь. Потом у двери у моей столпились, и я им открыла, стояла в дверях и слушала, пока они пели: "Путь далекий до Типперери". Некоторые так и заночевали, на хвое под соснами. Встало солнце, и они разбрелись, они кутались в спальные мешки и одеяла и в утренней дымке выглядели, как странствующие монахи. Некоторые, не все, так именно и выглядели, путаясь в одеже, бродя в тумане под деревьями, и вдруг время замерло, как тогда оно

замерло, для автомобиля и мальчика, и стали они картиной. Секунда — и снова двинулись прочь, ворча, матерясь. А за собой столько мусора поооставляли, ужас, и на другой день я вышла, все прибрала, пивные банки, бутылки, бумажные пакеты, объедки, все посовала в пластиковый мешок, мешок этот понесла в Ангар и, так и подмывает сказать, что все вытряхнула на пол в столовой, но на самом деле это я только хотела вытряхнуть, из-за безобразия, какое они учинили у меня под дверью. Я все как-то не могла найти, о чем бы таком попечатать в Потопотавоке. Иногда просто перепечатывала из журналов, раз как-то целый номер "Нью-Йоркера" перепечатала, включая объявленья. Может, даже и не раз. Все, что я там печатала, было напрочь лишено смысла. Давненько я не застревала на Потопотавоке, застревала в смысле, что верчу и верчу, ворошу те давние дела в голове, стараюсь разобраться, и никакая это, конечно, не мания. Я и Кларенсу говорила, что никакая это у меня не мания, просто я думаю про все это, и больше ничего. Иногда я плакала из-за всего этого, сидя на ржавом комбайне или, может, на сеялке, не знаю, на опушке сосняка. Найджел еле шевелится. И дыхание, по-моему, участилось, и с присвистом, по-моему. И бока так и ходят, раньше я не замечала. Такой он был, когда я утром вчера проснулась. Пододвинула ему поилку, носиком поближе к голове. Села за кухонный стол, стала чистить и смазывать машинку Поплавской. Попробовала печатать, и тут только уяснила, в чем непорядок: каретка у нее не ходит, защелка, которая должна обеспечивать этот ход, сломалась, и вот все клавиши работают, а машинка, в общем, ни к черту не годится, разве что печатать тексты в одну строку. Напечатала открытку Поттс: "Найджел живет поживает". Больше ничего такого короткого не придумала. Очень мало в жизни такого короткого. Открытка получилась вся чумазая из-за ржавчины и масла. Как будто эту открытку написали пятьдесят лет назад, и, в общем, так оно и есть, в известном смысле. Да, так насчет той истории с взрывом дома. Оглядываюсь назад и думаю: а кто была та женщина? Я будто временно заблудилась, потерялась, сошла с пути, так сказать, угодила в чащобу, или временно у меня зашел ум за разум. И это многое бы объясняло. Спятила, ну, на недельку-другую, нет, не окончательно, не навсегда. "У Эдны не все дома", — мамино высказывание на эту тему. Или, например, когда я все никак не перестаю печатать, а Кларенс все зовет меня, зовет, а потом подходит внизу к лестнице и кричит оттуда: "Ты что? Совсем спятила, Эдна?" И это был нельзя сказать что вопрос. Он, по-моему, заболел.

Передвигается, хочется сказать, как тяжко больной, но может так вообще свойственно ходить крысам его возраста, или так свойственно ходить крысам по опилкам. Я раньше не обращала внимания, как он ходит, может, они вообще так ходят. Интересно, как бы сама я ходила по лесу по колено в опилках? Если болен, значит, оттого что наелся краски, скорей всего. Нет, книга не вытанцовывается, получится вводная статья или, может, длинное предисловие.

(*пробел*)

Я, было дело, выставила новую записку, приклеила рядом с тем, где сказано: КОРМИТЬ КРЫСУ. В нем как бы тонко сквозит мой интерес к Генри Пулу, к его дому, теперь мне это все даже странно самой. Наверно, тут уместней бы сказать: мой *тогдашний* интерес, и вот он-то, мой тогдашний интерес меня теперь и удивляет, поскольку я не понимаю, буквально, что я тут нашла интересного. Нет, я непонятно объясняю. Ну так вот: предположим, вы думаете, что поймали муху, а потом разжимаете кулак, тихонечко, осторожно, а там, оказывается, ничего нет. Вы изо всех сил сжимали кулак в полной уверенности, что там у вас муха, и все время, все время там ничегошеньки не было, и так это странно, чудно́ и тошновато, когда вы разжали кулак, и вдруг, здравствуйте, там пустота. А то мое новое объявление гласило: ЛЮДЯМ В СТЕКЛЯННЫХ ДОМАХ НЕ НАДО ЧИТАТЬ ГАЗЕТ. Как мысль, по-моему, вполне глубоко и, главное, озадачивает. Кларенс как-то сказал, что я никогда не сочту глубоким то, что меня не озадачит. Это замечание он кинул, когда я сказала ему, что "Неприкаянные"[1] не глубокая вещь.

(*пробел*)

Кто-то нажимал, нажимал на дверной звонок. Или лучше так: кто-то звонил и звонил в дверь, точнее передается, какое было ощущение внутри, в смысле внутри квартиры, дверной звонок звенел, дверной звонок дребезжал, надсаживался, и надсаживались голоса под дверью. Теперь стучат. Думаю не открывать. Не открою. Это Джиамати, уверена.

(*пробел*)

1. "Неприкаянные" — фильм Джона Хьюстона (1961) с Кларком Гейблом (его последняя роль) и Мэрилин Монро. Сценарий Артура Миллера.

Подошла к окну посмотреть, вдруг мельком увижу кого-то, ну не знаю, мало ли кто это был, если они уходят. Никого я не увидела. Отсюда не видно того куска тротуара, который у самого дома, тут надо высовываться, а высовываться неохота. Может, они еще не ушли. А может, это вообще была Поттс. Но если бы это была Поттс, звонила, стучала, потом к себе в квартиру пошла, я бы услышала, как открылась и как хлопнула дверь. Обычно я Поттс не слышу, пока она шастает по своей квартире, но как она выходит и как уходит, уж это я слышу. А вообще-то рано ей заявляться. Да, тут еще много придется подчистить, и я, наверно, выброшу Поттс.

(*пробел*)

Я стояла, смотрела вниз, и вдруг почувствовала, что Найджел умер. "Эдну охватило ощущение внезапной смерти у нее за спиной" — вот такие дела. Я обернулась. Он был в пластиковой трубе, внутри, как всегда, и торчал кусок хвоста. Стучу по стеклу, он не шевелится, даже не дрогнул хвост. Лезу, приподнимаю трубу с одного конца. С другого конца вываливается голова. Глаза закрыты, челюсть отвисла, торчат резцы. Поднимаю трубу повыше, чтоб заглянуть внутрь, а он чуть не весь вываливается, висит и болтается. Я его стряхиваю прямо с трубы в пластиковый мешок. От тяжести мешок у меня выскальзывает из рук, падает на пол, бухается с тупым таким, хочется сказать, мертвым стуком, и он выпадает оттуда. Этой трубой и краем ступни — как еще я сумела его затолкать обратно. Сейчас он у меня в морозилке, я его к самой дверце положила. Зачем, чтоб он поверх овощей не лежал?

(*пробел*)

Вчера в этом их Агентстве — чем больше форм заполняешь, тем больше у тебя возникает проблем. Вопрос: "Где вы живете?" Отвечаю: "В аду". Тут девушка эта спрашивает: "А где это, мэм?" Я постучала себя в грудь, в смысле: "Здесь". То же насчет работы, всегда у них есть для этого специальный бланк, где вы работаете. Раньше я писала: "Нигде", но потом догадалась, что они этот мой ответ воспринимают в том смысле, что я безработная, а это так далеко от истины, прямо обхохочешься. Ну, решила данный пункт обойти, написала: "В сфере обслуживания", и опять не тот эффект, требуют указать фамилию, кто у вас глава фирмы, сказала им: "Я сама", но явно они не поверили. Может, подумали,

что я клиентов обслуживаю в кафе? Собирались кого-то отправить со мной, чтобы проводил до дому, но я отказалась. Хотела я им сказать: "Когда у меня ничего не было..." Легко сказать, но факт тот, что всегда у меня что-нибудь, пусть мало, да было. Не хватало пороху, никогда, — ничего не иметь, быть никем.

(*пробел*)

Если были бы главы у жизней, последняя глава жизни Кларенса началась бы в доме с желто-цветастыми обоями и кончилась вблизи лесопилки в Джорджии. Нас гнало на юг, чуть не до Мексиканского залива, и груженный всеми нашими пожитками наемный трейлер дико мотался на прицепе за собственным микроавтобусом. На каком-то этапе этой поездки Кларенс сравнил наше бегство туда (откуда он, собственно и вышел, пусть не из этих конкретно мест) с залеганием зверя, как говорят о затравленном звере, когда он роет себе яму, чтоб спрятаться. Мы разгрузились на маленькой ферме — просто лачуга, желтые обои, крыльцо осело на сторону, — она принадлежала владельцу аптеки, где нашел работу Кларенс. Окруженная лесом вместо прежних полей, конечно, это была уже никакая не ферма. Вокруг вообще не осталось ферм, потому что истощилась почва, мне Кларенс объяснил, только редкие, в основном обветшалые домики, и те, кто там жил, каждый день мотались черт-те куда на работу. В хвойном лесу было жарко, пыльно. Невысокие деревца стояли чуть не впритык, и с соснами вперемешку попадались чахлые дубы со слишком большими листьями и эвкалипты. Пахло камедью и пылью, а по ночам прямо оглушало жужжание насекомых. По опушке валялась заброшенная сельская техника, какие-то зубья, дышла, колеса, ржавые, перевитые лозой, и лез во все щели подлесок. Каждое буднее утро Кларенс надевал белый халат и катил за двадцать три мили в город, на работу в аптеку, где он и подцепил Лили, она работала в той же аптеке, но ходила в голубеньком, потому что не была фармацевтом. Обои были бледно-желтые, в густо-желтых цветах, одни и те же по всем комнатам. Когда мы въехали, они кое-где поотставали, и Кларенс подправил дряблые куски, и еще долго он их подтягивал, и в результате потом они прорвались и клочьями свисали со стен. Он много лет прожил в этом доме, Кларенс, сперва со мной, потом с Лили, а потом, когда я вернулась из Потопотавока, со мной и с Лили. Там он перестал быть писателем и умер между этим домом и городом, когда потерял управление и врезался

в грузовик, припаркованный возле лесопилки. Когда мы жили в этом доме только вдвоем, он еще продолжал себя называть писателем, показывал гостям свою книгу, журналы со своими рассказами, хотя, по-моему, сам не верил, что снова сможет писать. Не помню, чтобы я там печатала. Я думала иногда — интересно, а он еще называет себя писателем, когда уже я уехала, или это он исключительно для меня старался? Хотя — может, он и называл, мало ли, ведь абсолютно никто кругом не мог догадаться, что это вранье. Точно не знаю, Кларенс умер в машине или в больнице. Зато уж что точно, какое-то время он лежал мертвый в больнице. Эту книгу можно бы назвать "Книга страданий". И теперь я страдания Кларенса имею в виду. Если бы вдруг он это прочел, он сказал бы: "Все остроумия подпускаешь?" Причем, имея в виду, конечно, что я подпускаю иронии.

(*пробел*)

Я пропустила Лили на переднее место, когда мы в первый раз втроем ехали на нашей машине, гостья все-таки, а потом уже, когда она была в своем праве, а я сбоку припека, я сидела сзади, и это было в порядке вещей. Я сама предпочитала сидеть сзади, по-моему, потому что кому понравится, чтоб голова Лили вечно возникала над спинкой сиденья у самой твоей щеки, потому что ей хочется поговорить с Кларенсом, пока он ведет машину. Почти не закрывая рта, она с ним болтала, когда мы мотались туда-сюда. Сидя сзади, я иногда слушала, как они разговаривают между собой, но чаще смотрела в открытое окно, на истощенную почву, а их голоса уносил ветер, а то, бывало, вытянешься на сиденье и дремлешь. Поскольку дом с желтыми обоями стоял посреди, как Кларенс выразился, самого нудного места на всю Америку, они взяли манеру уезжать подальше, ну, иногда с ними поедешь, иногда остаешься. Монтгомери, Шатануга, Саванна — только некоторые места, куда они, помню, ездили без меня. Посылали мне цветные открытки, а возвращались раньше, чем открытка дойдет. Бывало, Кларенс приносит почту из ящика при шоссе: "А знаешь, Эдне-то письмо пришло из Саванны", если, конечно, именно в Саванну они ездили. Однажды, как раз я с ними была, мы доехали до залива, и там мы плавали в океане, если Мексиканский залив это океан. Залив, конечно, только часть океана, но ведь не скажешь — мы плавали в части океана, довольно дико звучало бы, как будто кто-то может плавать *во всем* океане. На обратном пути остановились заправиться где-то в северной части Панама-сити. Через дорогу от

заправки был частный парк с атракционами, "Приключения в джунглях", что-то такого типа, и Кларенс как завел — пойдем и пойдем. Обожал все такое — дешевое, паршивое, порченое, обожал из-за своего детства, в котором хватало таких вещей, душераздирающих вещей, и он их не мог забыть. Билеты купили у мальчишки, он сидел на приступке фургона при входе. Этот парень, Кларенс сказал, ему напомнил его самого в таком возрасте, хоть я лично никакого сходства не уловила. Главное достояние парка было с полдюжины африканских животных в натуральную величину, несколько динозавров, а еще там и сям стояли под деревьями столики, чтобы попить-поесть. Животные были из чего-то такого гладкого, твердого — из пластика? из стекла? — и пусто звякали, если стукнуть по ним рукой. На краю парка, чуть ли не у самого шоссе, на громадном листе фанеры, сзади подпертом досками, красовался в человеческий рост охотник на крупную дичь, подозрительно старомодный — бриджи цвета хаки, плотные гольфы, солнечный шлем. В руках он сжимал громадный, еще дымящийся карабин, Кларенс определил, что, скорей всего, "416 ригби", а ногой попирал голову льва, вывалившего лиловый язык. В фанере была вырезана овальная дырка для лица охотника, и благодаря этой дырке, наверно, все вместе была типичная картина Магритта. Полагалось встать за фанерный лист, просунуть голову в дырку и сфотографироваться. Сперва Лили, потом Кларенс просовывали свои головы, а я их щелкала. Вот сейчас подниму глаза и увижу фоточку Кларенса, которая к окну приклеена, и там он попирает ногой настоящего льва. А та, которую я сама снимала, где он головой в дырке и ногой на нарисованом льве, та куда-то запропастилась, а не запропастилась бы, я бы ее тут же рядом приклеила. И была бы ирония.

(*пробел*)

Потопотавок — это был, в основном, тот период, когда я не печатала, ну разве что перепечатаешь кое-что, и потом, когда оттуда вернулась в дом с желтыми цветастыми обоями, я тоже почти не печатала. Кларенс уезжал на машине, на целый день уезжал, в лесу пыльно и жарко, особо не разгуляешься, и, кажется, чего бы мне не печатать вовсю, пока опять не уехала, ан нет, не помню что-то, чтобы я там вообще печатала, хоть, может, кое-что я все же печатала, если бы я совсем не печатала все то лето, когда мы вселились в наш дом с желтыми обоями, мне бы это лето запомнилось как бесплодный период. А мне оно не запомнилось как бесплод-

ный период. В доме, где я теперь живу, может, я излагала уже, я несколько лет провела, не напечатав ни единого слова, даже машинка пылилась в чулане, и вот эти годы именно что мне запомнились тем, что я не печатала, так я о них и думаю: бесплодные годы. Хотя, когда вернулась из Потопотавока, я тогда не печатала, нет, это уж точно. Я жила в доме с цветастыми обоями вместе с Кларенсом и Лили. Почти все время лежала в постели, причем не болела. Лежишь и слушаешь, как они во дворе палят по консервным банкам из пистолета, соревнуются, кто лучше стрельнет. Зима, в доме холодина. В солнечные дни бредешь и бредешь вдоль шоссе, потому что ну абсолютно не хочется в этот лес, который только что был полями, и на лес по-настоящему он не тянет, так, чахлая хвойная поросль. Из Потопотавока я вернулась в конце лета, а на следующую зиму, в конце, снова туда уехала. Кларенс с Лили остались, они остались друг с другом, так мы договорились, а я уехала.

(*пробел*)

Вижу себя в прошлом, как будто отступила в сторонку от собственной жизни, — наблюдатель с фотоаппаратом в руках. Вижу, скажем, как сбегаю вместе с подружками по ступеням Фаундерс Холла в Уэллсли[1], или как сижу напротив Кларенса за обедом в отеле Норфолк, в Найроби. По выражению лица вижу, что была счастлива в те минуты, уверена даже, что была счастлива, но *снова почувствовать* то мое счастье я не могу. Да какое там почувствовать, и представить себе ничего подобного не могу.

(*пробел*)

Куплю себе красный карандаш. У красных карандашей нет ластиков. Они для уверенных людей.

(*пробел*)

Столько дней не печатала, долгие дни и дни. Дни и ночи, лучше сказать, потому что просиживала за рабочим столом

1. Колледж Уэллсли — высшее учебное заведение, престижный частный колледж для женщин в пригороде Бостона, штат Массачусетс. Фаундерс Холл (Холл Основателей) — знаменитое старое здание, фигурирующее на многих открытках. Колледж кончали, в частности, Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон. С 1941 по 1947 гг. там вел курс литературы В. Набоков.

иногда далеко за полночь и ничего не печатала. Что-то разладилось в этих компрессорах, почему они вдруг стали громче, если я еле-еле слышу уличный шум у себя под окном. Не знаю, может, мне вообще больше неохота печатать.

(*пробел*)

Недавно, стою я у окна, мимо проезжают пожарные машины, а я не слышу сирен и, главное, ведь без наушников стою. Ну как не слышу, зачем так говорить, если я просто не слышала их *ясно*? Может, всё потому, что это мои мысли грохочут — грохочут, я хочу сказать, как компрессоры на крыше фабрики мороженого. В общем-то, они даже визжат. "Мысли у Эдны визжат, как мотыльки". А о чем визжат, кто их знает.

(*пробел*)

Необъяснимо, неотклонимо несет. Безнадежно, беспомощно сносит, сносит в сторону, а там эта женщина все говорит, говорит, говорит, потому что больше ничего ей не остается. Спрашивается почему. Конечно, где-то такое, на известной стадии существования, всегда ничего не остается, совсем. Большинство людей, правда, пребывает не там. Но она-то, она как туда попала, вопрос? И зачем там задерживается? Сует еду в рот, одевается, дышит. Мир от нее ускользает, да? Уменьшается, как будто на него смотрят в перевернутый бинокль? Меркнет?

(*пробел*)

Докладываю о текущем ее состоянии: задумчива, напугана воспоминаниями, горюет.

(*пробел*)

Потратила последние деньги, теперь до конца месяца не на что жить. На печенье и кофе с молоком в кафе.

(*пробел*)

"Больше ни единого слова" — себе говорю. Хватит печатать. И чиркать, калякать, марать бумагу я тоже не стану, всё. Отныне полная тишина. Вот. И больше вы меня не услышите. Точка. Счастливо оставаться.

(*пробел*)

Папоротник, по-моему, завял окончательно. Будь я старомодным британцем, как тот фанерный охотник, я бы сказала жаль, а ведь глядел таким молодцом — забавно, конечно, когда речь идет о растении.

(*пробел*)

Грохот. И поверх грохота стук. Я, конечно, не спятила — в этом-то, можно сказать, вся и беда.

(*пробел*)

Главное — говорить, говорить, причем под "говорить" я имею в виду печатать.

(*пробел*)

Это даже не одиночество, это хуже одиночества, это голова ломится от не поймешь чего.

(*пробел*)

Всю жизнь у меня были не все дома.

(*пробел*)

Опять стучат, а теперь еще голоса, женский голос, причем не голос Поттс, громче: "Эдна, мне надо с вами поговорить". Они слышат, что я печатаю. Видимо, бессмысленно делать вид, что меня нет дома. Надо передохнуть. Наверно, следующий пробел будет самый большой. Передохну, открою им (они еще тут), но сперва вставлю чистый лист в каретку. Если все же получится книга, эта страница будет последняя. Может, прежде чем открывать, или даже лучше когда открою, и кто-то, ну кто у них там, мне поможет, я соберу с пола все эти страницы. Получится солидная пачка. Кларенс сказал бы, наверно: "Ну и груда, старуха". А потом, когда я вернусь, я принесу красный карандаш. И я сложу всю эту груду на свое черное кресло, и кое-что я повычеркну, и много чего я добавлю, наверно, а там посмотрим.

(*Последняя страница должна быть с правой стороны и должна быть пронумерованная, но пустая.*)

Из современной немецкой поэзии

Перевод с немецкого и вступление Марины Науйокс

Лирика "внучатых племянников"

Недавно мне попалась в интернете статья совсем юного поэта Дирка Хакка[1] о немецкой лирике XXI века, под названием "Нации поэтов и мыслителей больше не существует". Автор опирается на данные опроса, проведенного в рамках Дня мировой поэзии, отмечавшегося Юнеско в 2005 году. Оказывается, половина опрошенных немцев уже давно не читает стихов, а среди 20—30-летних — две трети не читали их никогда.

Кто из нынешних поэтов, спрашивает Хакк, известен и необходим своим современникам, как некогда — великий Гёте? Кто может растрогать их, как трогали Гейне или Айхендорф?

На смену таланту пришла в лучшем случае мастеровитость, а вместо глубоких чувств — невнятная скороговорка или социальная злободневность. Поэты освободили себя от своей главной обязанности — рассказывать о внутреннем мире человека. И особенно, по мнению Хакка, этим грешит так называемая постмодернистская поэзия, утерявшая как содержание, так и традиционную форму.

Заметим, что сам Хакк пишет в подчеркнуто классической манере, не чураясь даже некоторой архаичности и вычурности:

РОЖДЕНИЕ И СМЕРТЬ ДНЯ

Тепло и свет взрывают ночь.
А утро — тьму и свет вмещает:
как сливки в кофе размешает
и выплеснет осадок прочь.

© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999; Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin, 2006; Insel Verlag, Frankfurt am Main, 2009; S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2009
© Марина Науйокс. Перевод, вступление, 2012

1. Дирк Хакк (р. 1989) – автор пока что одного поэтического сборника: "Насквозь бессонные заиндевелые ночи" (Dirk Hack. Reifkalte Nächte durchwacht. Neubiberg: Mischwesen, 2010).

Вот солнце красным колесом
прошло, скрипя, по небосводу,
окрасив винным цветом воду
и черным — тень в луче косом.

Казалось, тьме настать невмочь,
не смыть ей краски дня пурпурной,
но ждет уж с траурною урной
за дверью — в черном платье ночь.

Так что же, природа и впрямь отдыхает на детях? Придут ли когда-нибудь на смену великим отцам не менее великие внуки?

И как относиться к творчеству "внучатых племянников", заполонивших сейчас все поэтические антологии? И можно ли их всех стричь под одну гребенку? Предлагаемая подборка не решит, конечно, этих вопросов, но даст, может быть, какой-то материал для размышлений и сопоставлений.

Людвиг Фельс

Дорогая мама

Дорогая мама,
я тебя ненавидел,
я тебя любил до отчаяния.
Ну вот, сказал. Хоть это никого не касается.
Ты храбро умирала. Правда, храбро.
Мне не найти более теплых слов.
Ты никого не мучила, не была близким в тягость —
в отличие от меня.
Теперь мы оба свободны.
Обошлось без стонов, без неприятных запахов.
Холод в морге — вполне терпимый. Красивое платье.
К машине тебя чинно несли в гробу.
Уже поздно желать другого прощания.
Я так тебя и не понял,
я так тебя и не узнал.
Где ты была после моего рождения?
С другими детьми — с братом и сестрой.
Я любил одну женщину. И у тебя был кто-то.
Дорогая мама,
посмейся надо мной, порадуй меня.

До свидания. По-другому и не попрощаться.
Я хочу сейчас
быть как ты —
спокойным и холодным.
И знать чуть больше о жизни и о смерти.
Стоит ли демонстрировать фальшивые чувства,
что вразумительного можно сказать о вечности —
все это болтовня и патетические завывания.
Быть бы как ты. Повторить твою жизнь
и твою смерть... Не получилось стихотворение.

Михаэль Крюгер

Рассказ почтальона

У меня есть отличная коллекция
из недоставленных открыток.
Я разложил их по алфавиту —
приветы из отпуска с отпечатками жирных пальцев;
доносы на неверных мужей, печатными буквами,
для конспирации;
бытовуха типа: не забудь выключить газ.
В общем, все, что связывает людей.
Такие разные строчки — вычурно кудрявые
или пуританские, в стиле минимализма.
А марки со знакомыми лицами
в штемпельной краске:
и Аденауэр там, и Франко,
и грустный греческий король,
уж его-то незаслуженно стукнули колотушкой —
ведь он давным-давно жил в изгнании.
И зверушки с цветочками —
всё есть в моей коллекции.
Одна открытка мне особенно нравится.
Ее бросили в Нью-Йорке, она облетела весь мир,
так и не передав своего сообщения.
Текст такой, без запятых:
ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗВОДИТЬСЯ.

Улла Хаан

Начало октября

Ты даришь мне розы, а куст оставляешь себе.
Ты даришь мне упавшие яблоки из своего сада,
но... не деревья, не дом, не ребенка.
И слова твои легки, как далекий птичий гомон.

Я говорю тебе: побудь со мной подольше,
а потом исчезни.
Вот так и птицы —
склевывают созревшие ягоды рябины
и уносят их куда-то вдаль.

Заблуждение

Он сказал однажды:
любовь как снег, падает легко
и на всех без разбору,
но быстро тает.

Она ответила:
нет, это костер,
и его затаптывают,
чтобы не случилось пожара.

Они помолчали.
Рванулись друг к другу
и долго лежали рядом.

Он таял от нежности, ее сжигала страсть.
И оба, конечно же, не верили
в вечную любовь до гробовой доски.

Геральд Цшорш

Элегия

Ангелы появляются, чтобы исчезнуть.
Посыльными — от света к тьме — служат.
При свете заметны, а в темноте — похуже.

Ангелы отродясь не носили короны.
Смущаясь, рюкзаком прикрывают крылья.
Танцев не знают, но прилагают усилья.

С пением лучше, в раю это ценится.
Поют, правда, попросту, без кантат и прелюдий.
Так что же, люди — немного ангелы?
Или ангелы — немного люди?

Марион Пошманн

ГДР – *во сне и наяву*

Теперь нам уже не так больно
фотографировать знакомые дома,
идущие под снос.

Для меня родина —
это место, откуда приходит
большинство автобусов.

Для тебя родина —
это пространство,
целиком заполненное делами.

Эва Штриттматтер

Н*апрасное путешествие*

Цвело белым, цвело красным.
На юг я ехала за этим цветеньем.
Олеандр красный, олеандр белый. Был ли мой путь
напрасным?

Что я ищу? Не компромиссы.
Что нахожу? Чего совсем не искала.
Я много теряла, а обретала — вот разве что южные
кипарисы.

Вы, кипарисы, — в ночных наваждениях,
вас создали тени — из лунного света.
Не те вы деревья, чужое все это. Береза шумит в моих
сновидениях.

Ойген Гомрингер

Сонет

Вот говорят, мы целого частицы.
Вы не согласны? Но, по крайней мере,
в нас живы и растения, и звери,
черт знает, что в нас может затаиться.

Вот говорят, нас сделали небрежно.
Природа не особенно трудилась,
слепым страстям мы отданы на милость
и шишки набиваем неизбежно.

Вот говорят, не надо нам сонетов,
в них не решить практических вопросов.
Но — не мудрец поэт и не философ,

в четырнадцати строчках — для поэтов —
всех вечных тем чуть слышный отголосок,
хоть точных не содержится ответов.

Дурс Грюнбайн

Ноябрь 89-го

В тот вечер чья-то жалкая оговорка[1]
перевернула людям всю жизнь.
Кто-то переврал текст —
и в момент рухнули священные запреты.
Простым и будничным выглядело
это невероятное сообщение
Перед кучей микрофонов и камер.
Таким же было и крушение призраков,
Порожденных больным разумом власти. Впервые
Мы увидели робкие улыбки
коммунистических авгуров —

1. Рассказывая в телепередаче о новом порядке выезда на Запад, секретарь ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски случайно оговорился, что граница будет открыта "сейчас". В результате жители Восточного Берлина толпами устремились в западную часть города, что и привело к падению Берлинской стены. (*Прим. перев.*)

Как у проигравшихся картежников,
вдруг осознавших,
Что они натворили, чувствуя свою безопасность
и безнаказанность.
Заикаясь от страха,
но еще с привычной угрожающей интонацией
Эти старые хрычи объявили,
что "сейчас" освобождают нас — своих заложников.
В ту же ночь открылись все шлюзы,
И человеческий поток хлынул
на призывный свет той части города,
Которая тридцать лет жила,
как осажденная крепость.
И этот поток подхлестнуло лишь одно
неправильно прочитанное слово: "сейчас".
Пока железные ворота не успели снова захлопнуться,
Люди ринулись, чтобы смести проклятие,
душившее целый народ.
С открытым ртом, на обочине,
застыл потрясенный пограничник:
Как теперь жить? Ведь нет больше команд
и приказов.
Власть молчала — впервые за много лет.
Под утро, после фейерверка
и беспорядочной езды по городу,
Когда закончилось бесплатное пиво
и были выплаканы все слезы,
Счастье водворилось на улицах Западного Берлина.
Где-то на перекрестке стоял забытый,
До колес обгоревший "трабант", и его владельцы
С облегчением повесили ключ на ближайшем дереве.
Приведенные своими детьми, целые семейные кланы
Бродили по центру — бесцельно и умиротворенно.
А некоторые уже блаженно спали,
привалившись к стене, —
Около больших магазинов, у витрин,
На обретенных наконец-то камнях свободной земли.

Самка гепарда в московском зоопарке

Такие дорогие меха носят разве что
Подруги бандитов — по вечерам, в казино.

Скользящая походка,
как у юных бесполых моделей на подиуме,

Сверкание глаз, как от вспышек фотоаппаратов.
Грациозная кошка, это ее запечатлел
восторженный Пизанелло
(Пятнистая шкура, кончики шерстинок блестят,
как Золотое руно).
Мечется по вольеру взад и вперед, припадая к земле,
И спина ее подрагивает при каждом движении.

За миллиметр
До глубокого рва
отточенным движением поворачивается
И, не взглянув, уходит. Что ей там делать —
с ее слухом и обонянием?
За рвом и колючей проволокой —
только шум и запах тел
Этих особей, суетящихся, как обезьяны,
И притаскивающих своих детенышей —
поглазеть на нее.

Задыхаясь в тяжелом воздухе большого города,
Она вспоминает, как пахнет саванна... А белые банты
У какой-то девочки кажутся кусочками
нежного мяса газели.
Голова хищницы напрягается, в глазах рябит,
ей чудится
Стадо зебр, бегущих по московским улицам.

И она еще долго потягивается,
забыв о каменном плене.

Пол Гэллико

Верна

Рассказ

Перевод с английского Олега Дормана

СОЛДАТЫ, которые служат за границей, ценят великодушие прославленных звезд экрана и сцены, готовых пожертвовать своим временем, удобствами и покоем, пересечь полный опасностей океан и выступать в частях или прямо на передовой под грохот артиллерии и вой падающих бомб. Но настоящие их любимцы, которым всегда открыты солдатские сердца, — маленькие, безвестные, самоотверженно странствующие труппы, вроде фронтовой концертной бригады номер X-117.

Бригада X-117 не могла похвастаться звездами первой величины. Никто из ее участников не был известен за пределами захолустных городков. Во главе труппы стоял Эдди Стинсон, комик, выступавший, до того как его призвали, во второсортных ночных клубах. Когда этот круглолицый, с обвислыми щеками, толстяк в котелке, который был ему явно мал, выходил на сцену, сразу становилось ясно, что он будет смешить.

Кроме него, в труппе состояли Сэмми Сиск, игравший на банджо и объявлявший номера, фокусник, заявленный в афише как Великий Зербо, аккордеонист Пит Руссо, оснащавший представление музыкой, певица Конни Клэй (она

© Paul Gallico, 1945
© Олег Дорман. Перевод, 2012

же вне сцены миссис Стинсон), Морин Перл, исполнявшая акробатический танец, и Верна Вейн. Верна была ассистенткой в номере у Эдди Стинсона.

Бригада колесила по охваченной войной Европе из Руана до Реймса и Страсбурга, из Страсбурга вверх до Хертогенбоса и Ниймегена и снова вниз через Льеж и разбомбленный Аахен, давая концерты в жару и холод, в грязи и под проливным дождем, всюду, где только имелась солдатская аудитория, ждавшая их, — пусть самая маленькая.

Иногда выступали под крышей, но чаще на помосте, сколоченном где-нибудь в чистом поле. Задником служили развалины фермерских построек, клубы черного дыма, поднимавшиеся над горизонтом, или сгоревший "Тигр" с угрожающе воздетым к небу дулом 88 калибра. Звуковым сопровождением неизменно выступало бормотание орудий. Случалось, свист вражеского снаряда вносил диссонанс в аккорды Пита Руссо, а автоматная перебранка невдалеке заглушала репризы Эдди.

В маленькой труппе не было примадонн. Никто не хватал звезд с неба, но усердием и преданностью делу актеры возмещали недостаток мастерства. Частая близость к передовой, регулярные бомбежки и внезапные разрывы снарядов неподалеку больше воодушевляли, чем пугали их. Они гордились своей смелостью и способностью делать дело, когда приходится несладко, так что в конце концов привыкли не обращать внимания на шум и опасность. Все, кроме Верны. Война пугала ее так, что душа уходила в пятки.

Верна изо всех сил пыталась справиться с этим мучительным страхом, и нельзя было догадаться, как она напугана, если не заглянуть в ее темные глаза, на дне которых колотился ужас.

В военном обмундировании, состоявшем из широких штанов защитного цвета, тяжелых ботинок и не по размеру большой полевой куртки с крылышками фронтовой бригады на левом предплечье, она казалась еще меньше, чем была на самом деле. Из-под железной каски, болтавшейся у нее на голове, на плечи падали волосы, обесцвеченные до светло-соломенного цвета. Длинные черные ресницы, загибавшиеся к подсиненным векам, были настоящими, но румянец происходил из коробки с гримом и был наложен толстым слоем, чтобы скрыть всегдашнюю бледность Верны.

Ее пугало все: внезапно закашлявший мотор грузовика, вид танков и орудий, присутствие автомата или пистолета. Когда в небе пролетал транспортный С-47, она с головой уходила в свою мешковатую куртку. От всякого громкого звука вздрагивала, а стрекотанье какой-нибудь самоходки, прочищавшей перед походом орудия в поле неподалеку, вызы-

вало у нее жестокую дрожь. Она ничего не могла с собой поделать. Ей было страшно, что ее ранят или убьют. Ее нервы никак не могли приспособиться к войне.

На самом деле Верну звали Мари Войчик, она была родом из-под Чикаго, совсем одинока, поначалу подвизалась в кордебалете в дешевых кафешантанах и третьесортных ресторанных шоу, потом стала перемещаться на восток через Детройт и Питсбург, трудясь изо всех сил и самоотверженно приближая тот день, который, она была уверена, однажды случится в ее судьбе. Верна считала, что рождена для шоу-бизнеса и ей суждено, как она говорила, актерское поприще. Единственным ее желанием было стать звездой, и она твердо верила, что ничто не помешает ей добиться своего. Верне было невдомек, что у нее нет ни малейшего актерского таланта.

Наголодавшись в Нью-Йорке, она прибилась к бригаде Х-117, отправлявшейся за океан. Ее привлекла стабильная работа, кормежка, а самое главное, профессиональная практика. И в отклике солдат на первых выступлениях в тиши Англии она увидела предвестие будущих триумфов. В их гиканье, свисте, одобрительном гудении и хохоте Верне слышались овации, которые обрушатся на нее в один прекрасный вечер, когда она выйдет в главной роли в самой популярной музыкальной комедии сезона и будет петь, танцевать и блистать перед самой утонченной, самой искушенной и состоятельной публикой на свете. В мечтах богачи и бедняки падали к ее ногам, а газеты наперебой пели ей хвалу. Саму себя она видела в бриллиантах и рубинах.

Дело в том, что Верну привлекала и вдохновляла только внешняя сторона успеха. Что есть что-то еще, более серьезное, глубокое, она не ведала. Может, потому, что в ней самой не было ничего, кроме готовности делиться с такими же, как она, одинокими существами, которые могут рассчитывать только на самих себя в этом ошеломляюще огромном мире.

Верна не умела по-настоящему ни петь, ни танцевать, ни держаться, ни производить впечатление. Но она была миленькой, с готовностью обнажала перед публикой свое худое, детское тельце и растягивала маленькие розовые губки в ослепительной застывшей улыбке.

Она освоила несколько простейших чечеточных шагов, которые исполняла под мотив из "Невинных обманов", — скованно и не попадая в ритм. Еще у Верны была собственная песенка — если имелся микрофон, иначе ее было не расслышать. Распахнув ресницы и выкатив от напряжения глаза, она прижималась к нему губами и дрожащим голосом выводила: "Маиия бятья аапу стели, с тех поорка кты ушоол".

Вот и все, что могла предложить зрителям Верна, но чаще всего — не успевала, потому что толстяк Эдди Стинсон то и дело перебивал ее. В чем, собственно, и заключался их номер. Все зависело от того, как был настроен Эдди и как публика встречала его шуточки.

Верна была первой девушкой из участниц концерта, появлявшейся на сцене. Сэмми Сиск подходил к микрофону и говорил:

— А теперь перед вами — прррямо из Сток-клуба в Ньюууу-Йоррке (наглое вранье, которое публика легко проглатывала) легендарная Верна Вейн.

И тогда выбегала Верна, в шелковых трусиках с короткой серебряной бахромой на бедрах и расшитом блестками лифчике, в который она что-нибудь подкладывала, потому что ее маленькая грудь не могла наполнить чашечки. Ноги у нее были тощие, но стройные.

Эдди Стинсон уже находился на сцене, в маленьком котелке, составлявшем смешной контраст с его полевой формой, — курил большую черную сигару. Увидев Верну, он судорожно затягивался и выпускал клубы дыма, и солдаты начинали радостно свистеть и гоготать.

Затем, когда Верна останавливалась и дарила публике улыбку, Эдди вынимал сигару изо рта и обращался в зал:

— А вот интересно, парни: мы сейчас с вами об одном подумали? — Ржанье и свист усиливались, а когда стихали, он выдавал заключительную репризу: — Потому что я подумал: польет завтра дождик или нет? — под новый взрыв хохота.

И дальше в том же духе. Верна пела, а Эдди Стинсон корчил рожи у нее за спиной, паясничал, отпускал шуточки, так что иногда, может, и удавалось расслышать строчку-другую из песни или стук каблучков, но, как правило, нет, — смех все забивал. Однако, когда Верна уходила со сцены, ее провожали бурей аплодисментов. Иногда они не смолкали, и ей приходилось вернуться на поклон.

Удивительно, до чего она нравилась солдатам. Верна была уверена, что их восхищает ее талант. Она не подозревала, что любительщина, с которой она выступала, даже не воспринимается как номер. Солдатам нравилось смотреть на нее просто потому, что она была такая худенькая, искренняя, трогательная и беспомощная и напоминала им девчушек, которых они оставили дома.

Когда бригада пересекла границу и оказалась во Франции, под Вервеном, с Верной произошло непредвиденное: она потеряла самообладание. Однажды в небе впервые появились ночные бомбардировщики люфтваффе и стали бом-

бить группировку войск не дальше, чем в полумиле. Верна забилась в угол подвала, закрыла лицо руками и завыла. С тех пор, едва заслышав звук самолетных моторов, она начинала скулить и мешала отдыхать своей соседке, Морин Перл, танцовщице, с которой их селили вместе.

Переезды на джипах и грузовиках по дорогам Франции, вдоль которых там и тут стояли таблички "Разминировано, мины сброшены в кювет", были для Верны нескончаемым кошмаром. По мере того как приближались к линии фронта, от непрестанного грохота и уханья орудий, периодически сопровождаемого воем снаряда, взрывавшегося самое дальнее в миле от них, ее ужас усиливался, а от звуков далекой перестрелки Верну колотила дрожь, которую она была не в силах унять.

Только в короткие минуты на сцене Верна, казалось, владела собой. Где бы, когда бы ни выступали, она появлялась в своих трусиках и лифчике, чтобы выдать улыбку, пролепетать песенку и исполнить танец, пока Эдди Стинсон потешал публику.

От постоянного напряжения она худела на глазах, у нее впали щеки, и Эдди, который по жизни был незлым малым, стал прикидывать, как бы отослать ее домой. Но когда он предложил это Верне, она отказалась наотрез. Плакала, умоляла, давала слово, что больше никого не потревожит. И даже если все-таки не сумеет победить страх, то, честное слово, никто никогда об этом не узнает.

Все пытались понять, почему Верна, настолько неприспособленная к войне, хочет остаться. Ближе других к истине подошел фокусник Зербо. Он сказал: "Малышка думает, она актриса. Может, у нее храбрости побольше, чем у нас всех".

Верна и в самом деле считала себя актрисой. И по ее понятиям будущая звезда Бродвея не могла отступать перед трудностями. Она жила такими расхожими фразами, заемной мудростью. Но, кроме того, что-то в ее сердце отзывалось, когда она видела перед собой лица изнуренных, усталых, как собаки, бойцов. Эти тоска и тревога в их глазах, это отчаянное одиночество напоминали ей о собственном одиночестве и борьбе за место под солнцем. Она чувствовала себя хорошо, только когда выходила на сцену, чтобы их повеселить и помочь забыться. Если она уедет, то чего-то лишит их, разочарует, подведет.

Она ведь считала, что вызывает восторг своим исполнением, и не догадывалась, что если и были проблески мастерства в их номере, то благодаря Эдди Стинсону. Не подозревала она и о том, что, когда шутки Эдди были давно позабыты и солдаты лежали в окопах или шли вперед под ог-

нем, в их памяти удивительным образом оставалась она — трогательная неловкая девочка из родных краев.

Она действительно изо всех сил старалась держать себя в руках и, ночи напролет с ужасом прислушиваясь к рокоту войны, закусив армейское одеяло, душила слезы, чтобы не разбудить Морин. Все в труппе уважали ее усилия, удерживались от насмешек и даже перестали отпускать шуточки насчет ее будущих триумфов на актерском поприще, слушать про которые было, честно говоря, более трудным испытанием, чем бурная реакция Верны на опасности войны.

Когда бои стихали и угроза неминуемой гибели отступала, Верна немного успокаивалась и принималась безостановочно говорить о своем поприще. Все в ее глазах влияло на него, приближало или ненадолго отдаляло тот день, когда ее звезда взойдет над Бродвеем. Она знала по именам всех критиков и важных шишек, которые придут на премьеру, описывала свой будущий дом и приемы, и какие у нее будут платья и меха, и статьи в газетах. Виски она пить не станет, потому что это вредит голосу, и курение тоже. Она бесконечно репетировала свои два чечеточных шага, и все это безумно действовало на нервы остальным членам труппы.

Пускай сами они не стали звездами, но владели ремеслом, были профессионалами в своем деле и хорошо понимали, что Верна не только никуда не выбьется, но не сгодится даже в бродвейский кордебалет. Они знали свое место, и их раздражало, что человек, до такой степени не обладавший не то что талантом, но даже способностями, беспрестанно морочит им голову своими несбыточными фантазиями. Они были слишком измотаны, утомлены, чтобы ощутить, что в ее безоглядной самоуверенности была какая-то святая простота.

Немцы отступали через Францию и Бельгию, американцы, англичане и канадцы преследовали их, бригада X-117 шла за продвигавшимися на восток армиями. В Льеже, где они пробыли неделю, Верна познакомилась с молодым капитаном инженерных войск по имени Уолтер Рубан. Он влюбился в нее, а она, что было сил, в него.

Капитан Рубан был родом из Калюмета в Мичигане, коренастый русоволосый парень с наивными голубыми глазами. Его подразделение строило склад в окрестностях Льежа. Увидев Верну на концерте в субботу вечером, он был сражен с первого взгляда. Добился встречи с ней, и его робость и влюбленность сразу тронули всех актеров — да и саму Верну.

Сначала он ей просто понравился, потом она тоже влюбилась. Он был непохож на других военных, которые вились вокруг нее, жадно пялясь или просто пользуясь ее присутст-

вием, чтобы скрасить свое одиночество или тоску по дому. Уолтер Рубан сразу дал Верне почувствовать, что она — солнце, просиявшее над его жизнью, а также луна и звезды и вся Вселенная. Никто никогда так сильно не любил ее, и она была покорена. От любви она сделалась рассеянной и была очень добра ко всем вокруг все четыре дня, пока длился их роман и они с Уолтером были неразлучны.

Актеры отнеслись вполне доброжелательно, без издевки, им казалось, что судьба справедливо и милостиво решила все проблемы Верны. Морин Перл даже немного ревновала — капитан Рубан был чертовски привлекательным малым.

На пятый день он сделал Верне предложение. Расписаться можно было бы не откладывая — ему дадут разрешение старшие офицеры. Потом Верна вернулась бы в Штаты и жила в его семье, пока не кончится война, а потом он тоже вернется и они будут вместе.

Верна высвободилась из его объятий и сказала:

— Ничего себе... Уолтер, до чего ты милый. Будь моя воля...

Он взял Верну за руки и держал их, чтобы прибавить убедительности своим словам.

— А что мешает, малыш? Я тебя обожаю, сама знаешь. Все сделаю, чтоб только ты была счастлива. Ты ведь любишь меня, правда?

Она взглянула на Уолтера, увидела умоляющие ярко-голубые глаза на загорелом лице, и у нее перехватило дыхание. Она сказала со всей искренностью:

— Знаешь, Уолтер, я тебя так люблю, что хоть плачь.

— Тогда чего же не пожениться, малыш? Давай, я все устрою...

Верна отняла руки.

— Я никак не могу, миленький. По-честному. Мне надо о поприще думать, понимаешь?

Молодой капитан уставился на нее изумленно, обдумывая непредвиденное затруднение, но быстро нашел выход.

— Понимаю, малыш. Ну еще бы, конечно. Поженимся, и выступай себе дальше. Я у тебя на пути стоять не буду. Хочешь этим заниматься, пока я не вернусь, — пожалуйста...

Верна не смотрела на него.

— Да не в этом дело, Уолтер. Просто когда делаешь актерскую карьеру, вообще нельзя выходить замуж.

— Здрасьте, с чего бы это? Полным-полно замужних актрис.

— Ну да, но это не надолго. Все разводятся. Ты такой милый, Уолтер, я бы не хотела впутывать тебя в эти дела.

— Да почему впутывать, малыш? Я не собираюсь с тобой разводиться. Чего разводиться, если нам хорошо вместе.

Верна вызвала в воображении знакомые картины будущего, картины, которые нарисовала себе давным-давно и которые были для нее более настоящими, чем действительность: она в мехах и нарядах, она в собственном лимузине с шофером, ее имя, сияющее огнями. Ей даже показалось, она может прочесть заголовки будущих газетных сплетен: "Верна Вейн, звезда Бродвея, решила начать с чистого листа. Они с ее избранником прожили этот год порознь". От этой мысли у нее пробежали мурашки. Она сказала Рубану:

— Ну, как ты не понимаешь, Уолтер! В театре все иначе. Когда я стану звездой...

И принялась рассуждать о великом будущем, которое ее ожидало, и о жертвах, которые должна принести ради этого. Она так верила, что убедила и Уолтера. С упавшим сердцем он почувствовал, что теряет Верну. Ему нечего было предложить ей, кроме самого себя, руки и сердца, и, тяжело вздохнув, он признал, что захотел слишком многого. Блестящий мир славы, который ждет Верну, не для таких, как он. И Рубан еще сильней восхитился ею.

В ту ночь, когда после концерта Верна осталась у Рубана в части, начался ракетный обстрел. Они прислушивались к вою, жужжанью, клацанью беспилотных самолетов-бомб в ночном небе, и Верна задрожала. Уолтер обнял ее и сказал: "Ну что ты, детка, не бойся. Сюда они в жизни не долетят".

Но он ошибся. Одна ракета упала в нескольких сотнях ярдов, вслед за ее омерзительным свистом наступила страшная, напряженная тишина, которая разрешилась оглушительным грохотом взрыва, пошатнувшего здание, и ночь наполнилась криками и звоном разбитого стекла.

Верна прильнула к Рубану, истошно крича: "Господи, как страшно! Пожалуйста, обними меня крепче, закрой мне глаза, пожалуйста, зажми мне уши. Мне так страшно, я больше не выдержу".

Рубан обнял ее еще крепче, прижал ее лицо к себе. Он целовал Верну и пытался унять ее дрожь, а когда она ответила на поцелуй, сказал: "Слушай, ты же просто бедное перепуганное дитя. Я тебя буду беречь. Ты теперь моя".

Она осталась до утра. Благодарность соединялась в ней с желанием, любовь — с потребностью найти избавление от страха и одиночества. Уолтер неверно понял пылкость и искренность, присущие Верне, и наутро опять заговорил о женитьбе.

Но тьма рассеялась, уступив место погожему дню, в синем небе весело засветило солнце, и, когда от воспомина-

ний о ночном кошмаре не осталось и следа, Верна снова принялась толковать о своем поприще. Уолтер милый, славный, она страшно его любит, но обязана думать о будущем.

Она оставила его несчастным и сбитым с толку. Он не мог понять ее, не мог связать воедино будущую звезду, которой, как ей удалось его убедить, она сделается, и дрожащее от страха дитя, прижимавшееся к нему в поисках защиты.

Спустя два дня бригада переехала в отвоеванный Аахен.

И там Морин Перл спросила у Верны:

— Ну что тот красавчик из Льежа? Жениться предлагал?

Верна, штопавшая свои трусики с бахромой, взглянула на нее:

— Ясное дело.

Морин, рослая брюнетка с широким ртом, разозлилась от такой самоуверенности. Неужели эта глупышка упустила шанс, какого она сама нипочем бы не упустила?

— Ну и?.. — спросила Морин.

— Да как же я могу за него выйти, — ответила Верна. — У меня поприще.

— Ах ты, Боже ты мой, у нее поприще!

Верна покачала головой:

— Я думаю, при нашей работе нечего выходить замуж. Это неправильно, если, конечно, ты намерена стать звездой. У нас с ним все серьезно, и если бы это не могло помешать...

Морин перебила ее и сказала с презрением:

— Ну ты и балда! Проворонить такого парня. Он же по тебе с ума сходит. Уши тебе поотрывать! Поприще! Протри глаза, детка. Все твое поприще уже закончено. Больше ничего не будет, сестренка. Ты не умеешь петь, не умеешь танцевать, какая из тебя актриса — ты даже ходить правильно не умеешь. У дрессированной блохи больше талантов, чем у тебя. Все, что ты могла в шоу-бизнесе, ты уже совершила. Чего себя обманывать?

Верна подняла глаза от трусиков с серебряной бахромой, лежавших у нее на коленях, и безо всякой обиды или желания поддеть сказала:

— Брось, Морин, ты просто завидуешь.

И продолжила штопать, неуязвимая в своей уверенности, оставив Морин в какой-то бессильной ярости, которая несколько смягчалась мыслями о горьком разочаровании, ожидавшем Верну. Ее ждут провал за провалом, пока однажды недолгая красота юности не увянет и надежды исчезнут навсегда.

Бригада находилась в Бастони, когда мощное контрнаступление фон Рундштедта внезапно обрушилось на союзников и застало их врасплох. Артисты в сопровождении лейтенан-

та спецслужбы Джеда Смита, которому их поручили, попытались вырваться из города и выехали прямиком на позиции немецких "Королевских тигров". На ходу развернув джипы, они ринулись обратно, сопровождаемые пулеметным огнем. Верна, обезумев от страха, визжала всю дорогу.

Город был окружен, лейтенант отыскал им глубокий подвал в разбитой снарядами школе, и они пять дней пролежали, вжавшись в пол, слушая грозные завывания битвы над головой. Верна забилась под одеяло ни жива ни мертва от ужаса.

Другие актеры были тоже сильно напуганы, потому что, как лейтенант ни пытался свести опасность к минимуму, одно дело находиться в тылу сражения, на расстоянии залетного снаряда, и совсем другое — в центре ожесточенного немецкого наступления, в полном окружении. К ужасу бомбежек, бесконечному ча-ча-ча-ча-ча автоматического оружия и резкому треску немецких пистолетов-автоматов в лесу на окраинах города добавлялся страх быть захваченными в плен и отправленными в немецкий концлагерь до конца войны.

В подвале сильно пахло порохом и дымом, вокруг горели дома. Позже добавились и другие запахи — сюда сносили раненых. Сиделок не было, не хватало санитаров, и Морин Перл, Конни Клэй и мужчины помогали раненым, чем могли. От Верны не было ни малейшей пользы. Она лежала на какой-то соломе, накрытая одеялом, плечи ее беспрестанно вздрагивали, зубы стучали.

Утром в Рождество лейтенант Смит спустился в подвал и собрал актеров.

— Вообще, дела не так уж плохи, — сказал он. — Мы вышвырнули их за черту города. Вроде, в пяти милях на подходе колонна наших танков. Во всяком случае, пока что фрицы нас не одолели. Не хотите ближе к вечеру выступить для ребят, которые сумеют прийти? Уверен, они оценят. Мы могли бы устроить место наверху, в школе, может, даже с печкой.

Никто не ответил. Эдди Стинсон опустил глаза и сглотнул. Зербо пробормотал: "Легко сказать, братишка". Сэмми Сиск попробовал сострить: "Интересно, как я буду смотреться без башки?" — но успеха не имел. В конце концов толстяк-комик сказал: "Даже не знаю".

Лейтенант посмотрел по очереди на каждого.

— Я вас не неволю. Как хотите. У нас полно ходячих, которым такое дело очень бы пошло на пользу. Может, вам проголосовать? Как решите, так и будет.

Эдди сказал:

— Идет. Поднимем руки и решим. Голосую за. Раз лейтенант говорит, это неопасно, — я ему верю.

Конни Клэй и Сэмми Сиск согласились с ним. Пит Руссо, Зербо и Морин Перл проголосовали против. Эдди Стинсон сказал: "Трое на трое". Все посмотрели на Верну, трясущуюся в углу, и поняли, что концерта не будет. Но Эдди решил соблюсти формальности.

Он позвал ее:

— Верна! Вот лейтенант хочет, чтобы мы поработали сегодня вечером. Решили проголосовать. Что думаешь, детка? Не хочешь спеть ребятам песенку и постучать каблучками?

Тишину, наступившую вслед за вопросом, нарушал только стон паренька, раненного осколком в бедро. Потом Верна села, вытянувшись в струнку и уставившись на них расширенными от страха глазами. Она попыталась что-то сказать, но губы дрожали и ничего не получилось. Тогда она кивнула. Что означало "да".

Пит Руссо сказал:

— Ну... Я думал, хоть у тебя мозгов хватит.

Морин проговорила презрительно:

— Героиня, тоже мне! "Искусство требует жертв". Она же не может подвести публику. Вот идиотизм!

Верна только еще раз кивнула. Эдди сказал:

— Ладно, лейтенант. Четверо против троих. Попробуем что-нибудь организовать.

Рождественским вечером в школьном классе было жутко холодно. На помосте стояла маленькая керосиновая печка, но ветер и снег, заметавший в разбитые окна, сводили ее жар на нет.

Помещение было битком набито: раненые в пропитанных кровью бинтах, солдаты, отпущенные с передовой, в касках, с карабинами и автоматами на коленях, водители джипов, интенданты и штабные, парашютисты, повара, сигнальщики, механики, экипажи выведенных из строя танков.

За окнами, но уже дальше, чем в прошлые дни, бушевали звуки сражения, железный грохот гусениц прорезали яростные автоматные очереди, пронзительно свистели снаряды, "бум-бум-бум" огрызались танки, самолеты с ревом пролетали над крышей школы, в которой фронтовая концертная бригада Х-117 давала рождественское представление.

Все актеры были закутаны с ног до головы, — все, за впечатляющим исключением Верны. Когда Сэмми Сиск объявил: "А теперь, друзья, счастлив представить вам небезызвестную певицу, прибывшую прямо из Стоook-клуба в Нью-Йорррке, для вас поет юная мисс Верна Вейн", — Верна вышла в своих шелковых трусиках с серебряной бахромой и

в искрящемся лифчике с подкладками, поддерживавшем ее маленькую грудь. Только по твердому настоянию лейтенанта она согласилась нахлобучить каску на светлые волосы.

Когда она вышла, Эдди Стинсон выпустил клубы сигарного дыма, и все радостно засмеялись и засвистели. Эдди сказал: "А ну-ка, ну-ка, поглядим, что принес нам дедушка Санта", — и все загоготали еще сильней. Он спросил: "Ну и как вам такой подарочек под елку?" — и все завопили от восторга.

Верне как-то удалось унять стук зубов и выдать улыбку. Она намазалась гримом с головы до ног, но под ним была синей от холода. Микрофона не нашли, и, когда она открыла рот, чтобы петь, вырвалось какое-то кваканье, но его заглушило залпом пятидесятимиллиметровки на окраинах. Эдди гаркнул: "Потише там!" — и зал грохнул от смеха.

Пит Руссо заиграл песню про невинную ложь, Верна отстучала степ, а Эдди Стинсон громко сказал в сторону: "Это она просто согреться хочет". И потешался над ней, и острил, и развлекал публику, а когда номер закончился, восхищенный рев и аплодисменты напрочь заглушили фальшивую симфонию войны. Верна стояла на сцене и улыбалась — славная, застенчивая девочка из родных краев, а солдаты радостно топали, гикали, завывали, и никому не могло прийти в голову, что для нее только что закончилась своего рода ночь в Гефсиманском саду.

Когда Бастонь была освобождена и снова открылся путь на юго-запад, бригада X-117 выехала первой, едва из убежища вывезли раненных, и через несколько часов была уже далеко от звуков стрельбы. Потом даже несколько газет написали о концертной бригаде, которая попала в окружение в Бастони и дала там концерт для бойцов на Рождество, но, конечно, Верна не упоминалась.

Через несколько недель они катили по мирной, тихой местности на запад в сторону Монса, чтобы выступить в госпитале. Ехали караваном из четырех джипов, Верна сидела в последнем с капралом, который говорил ей, что она пикантная девочка.

Был пасмурный зимний день, грозила разгуляться непогода, шоссе было покрыто льдом и снегом, так что двигались осторожно. В небе было пусто, ни один самолет не нарушал тихой красоты зимнего пейзажа.

Вдруг позади послышался низкий гул и тяжелое железное бряцанье. Верна всплеснула руками и воскликнула: "О, Господи!"

Капрал улыбнулся и сказал:

— Не волнуйся, детка. "Шерманы" едут. Надо бы убраться с дороги, чтоб дать им пройти. На льду эти зверюги частенько идут юзом.

Три передних джипа тем временем уже съехали с шоссе и выкатили в поле через проход в изгороди. Капрал включил нижнюю передачу, свернул на обочину и, на скорости проехав между джипами, обогнал их. Раздался какой-то щелчок, что-то зажужжало, что-то темное заколотилось в снегу справа и в следующее мгновение оглушительно взорвалось, выпустив грязный гриб черного дыма.

Капрал был ранен в руку и ляжку осколками шрапнели, а что ранило Верну — она не узнала. Она беззвучно выпала набок из джипа и лежала в снегу, лицом вниз, маленькая, тихая — просто разодранный в клочья куль защитного цвета.

Остальные выскочили из джипов и бросились к капралу, кричавшему: "Черт, это немецкая шпрингмайн! Мы, видно, задели проволоку под снегом. Кто-нибудь приглядите за девчонкой, я ранен".

Но с первого взгляда было понятно, что она больше не нуждается в помощи. Конни и Морин заплакали и опустились возле Верны на колени в снег, а мужчины беспомощно стояли, глядя вниз на дырку, пробитую в ее железной каске, и на серые танки с грозно поднятыми дулами, которые с грохотом шли и шли мимо места трагического происшествия. Обвислые щеки Эдди Стинсона тряслись, и он все повторял: "Ах ты, дуреха. Бедная ты маленькая дуреха".

Как полагается, гибель Верны Вейн была отражена в соответствующих бумагах. В частности, был составлен рапорт об обстоятельствах ее смерти. Обычным порядком рапорт попал на стол к полковнику Спиду Макайвору, некогда директору по рекламе на студии "Магна" в Голливуде, а теперь офицеру по связям с общественностью.

Он рассеянно взглянул на бумагу, потом взял со стола, начал читать и, еще не закончив, потянулся рукой к батарее звонков на столе. Дочитав, он нажал сразу на все. Появились один майор, два капитана и девушка-сержант.

— Скажите, — спросил полковник, — кто эта Верна Вейн, которая подорвалась под Монсом? Откуда она?

Майор начал докладывать, но полковник, хвативший на лету, мгновенно все понял и перебил его. Он заговорил быстро, короткими предложениями.

— Какой сюжет, а? Черт побери, какой сюжет! Куда вы смотрели? Впервые девочка из концертной бригады убита в бою. Ну, то есть подорвалась на мине, да? Сказано, что родных и

близких не имеется. Наверняка бедная крошка — сирота. Отдала жизнь за отечество, да? Последние почести, салют над могилой. Можно бы найти местечко и получше, чем этот Монс. Устроить всё в большой церкви. Кто там заведует Нотр-Дамом? Созвонитесь, соедините меня с ним. Крошка участвовала в том концерте, в окружении, в Бастоне. Это же грандиозная история, да? Это дадут все газеты в Штатах. Может, придет проститься сам командующий. Соедините меня с его адъютантом. Проследите, чтобы сюжет пошел в "Звездах и полосах". Найдите серьезного капеллана, подключите его. Выясните, как организовать почетный караул. Черт побери! За работу, живо!

До конца дня, методами, известными только пробивным ребятам из Голливуда, удалось одолеть серьезные бюрократические препоны, и на следующее утро в "Звездах и полосах" появился материал, в котором сообщалось, что в воскресенье командующий армией будет присутствовать в соборе Нотр-Дам на церемонии прощания с американкой, погибшей в ходе боевых действий.

Полковник не терял времени даром, но последовавшие события разворачивались с такой скоростью, что вышли из-под его контроля. При публикации материала во фронтовой газете был сделан намек, что некий высокопоставленный Француз обиделся, что его не пригласили на церемонию, достаточно важную, чтобы на ней присутствовал американский командующий.

Полковник оборвал три телефона, Француз был приглашен и приглашение принял. После чего Макайвору пришлось познакомиться с тем, что называется протокол. Его телефоны трезвонили безостановочно. Полковник покрылся испариной. Он хотел всего лишь организовать хороший сюжет для внутреннего употребления. Но отступать было поздно.

Выяснилось, что некий русский генерал направляется в военную миссию в Париже. Что есть еще голландцы, бельгийцы, а также поляки, норвежцы, югославы и бразильцы, не говоря о сановниках из Канады, Новой Зеландии и Австралии и одном маршале из Великобритании. И всех их необходимо пригласить на церемонию, где будут присутствовать командующий и высокопоставленный Француз, если единство союзников для нас не пустой звук. Полковник сбился с ног, рассылая приглашения.

Кафедральный хор Нотр-Дама предложил свои услуги, а британская корпорация финансирования промышленности прислала делегацию и венок. BBC заявили, что не прочь принять участие в мероприятии, поскольку Макайвору может потребоваться их помощь в транспортировке, а коман-

дующий артиллерией прислал резкую записку, требуя объяснить, почему их не считают за самостоятельный род войск. Трудно далось и решение, кому из двух старших капелланов проводить службу.

Как бы то ни было, все получилось лучше, чем можно было ожидать, и холодным, но солнечным парижским днем, проехав между длинными колоннами танков и бронетранспортеров, Верна Вейн на оружейном лафете прибыла на свою первую и последнюю гала-премьеру.

Сбылось все, о чем мечталось ее бедному маленькому сердечку. Ее наряд — звездно-полосатый флаг, которым задрапировали гроб, — был из шелка, а на нем сверкали драгоценности, о которых она так страстно мечтала. И хотя родина возложила к ее одру лишь скромное "Пурпурное сердце", зато экспансивные и несколько озадаченные русские на всякий случай прислали орден Суворова из золота, эмали и бриллиантов. Бельгия наградила Верну орденом Леопольда, а Голландия — орденом Вильгельма, белым крестом, увенчанным короной из драгоценных камней.

Десять тысяч свечей горели под сводом огромного нефа Нотр-Дама, отражаясь мириадами мерцающих огней в орденах и медалях, украшавших высокое собрание достойных представителей всех стран-союзниц. Американского командующего разместили по одну сторону с высокопоставленным Французом, бравого русского генерала по другую, за ними по ранжиру сидели бравые военные в красочных мундирах и более однотонные дипломаты.

Десять тысяч свечей освещали печальные молодые лица в шеренгах защитного цвета: солдаты, покидавшие Париж, пришли на последнее представление Верны.

Никто из сановных визитеров понятия не имел, кто такая Верна Вейн, да и не очень-то интересовался. Но солдаты знали ее. Знали по Ренну, Лемансу и Нанси, по концертам под Метцом и на севере Люксембурга, в Брюсселе, Льеже и Маастрихте, в разбомбленном Аахене и осажденной Бастони, они помнили худенькую девочку в расшитом блестками лифчике и трусиках с такими серебряными висюльками, которая ни черта не умела — ни петь, ни танцевать, а просто стояла на сцене, старательно улыбаясь им, пока толстый малый вовсю над ней потешался. Они не забыли, как, глядя на нее, думали о таких же славных девчушках, оставленных дома.

И музыка звучала в этом великолепном представлении, гудел огромный орган, и, пока звуки божественной мессы, которую выводил хор, поднимались под своды, легкие само-

леты ВВС пролетели над собором и сбросили на площадь венки, а артиллерийские орудия, выстроившиеся вдоль Сены, произвели последний салют.

Члены фронтовой концертной бригады Х-117 тоже присутствовали на церемонии, они стояли у самой стены, позади официальных лиц.

Великий Зербо сказал:

— Забавно все-таки. Я про ее поприще. Она, что ни говори, добилась своего.

Сэмми Сиск сказал:

— Черт побери, это круче, чем Мэдисон-сквер-гарден.

Толстые щеки Эдди Стинсона ходили ходуном, и он все повторял: "Бедная дуреха".

Морин Перл сказала Конни:

— Если бы эта дуреха пошевелила мозгами, которые ей выдали при рождении, и вышла за того малого, который души в ней не чаял, была бы сейчас жива.

Но Конни заплакала и только сказала в ответ:

— Мне кажется, все это так прекрасно.

А вдалеке, зажатый в тесноте среди бойцов в полевой форме — так далеко, что блестящая в центре собора каска казалась отсюда чуть более ярким, чем остальные, огоньком, — сидел капитан инженерных войск, который тоже знал Верну. Он вспоминал, как однажды эта блистательная звезда, теперь такая далекая от него, такая недостижимо далекая, рыдала в его объятьях и говорила: "Господи, как страшно. Пожалуйста, прошу тебя, обними меня посильней", — и он прижал ее к сердцу так крепко, как только мог, и в ту чудесную минуту она безраздельно принадлежала ему.

И капитан произнес короткую взволнованную молитву, благодаря за чудо и красоту случившегося с ним, Уолтером Рубаном, никому неведомым малым в кромешном аду войны.

Как и полагается в шоу, все закончилось мощными аккордами органа, публика вышла из собора на площадь, каску снова положили на лафет, почетный караул выстроился позади, и Верну доставили на американское кладбище, дали прощальный залп и похоронили, повесив пробитую каску на простой маленький белый крест — в преддверии ее последнего выхода.

Ян Карский

Мое свидетельство миру

История подпольного государства

Главы из книги

Перевод с французского и вступление Натальи Мавлевич

От переводчика

Переводить эту книгу, особенно главы, выбранные для публикации в "Иностранной литературе", очень тяжело. Нелегко и читать. Душит боль и стыд. Но свидетельство героя польского сопротивления Яна Карского о событиях Второй мировой войны на территории Польши — от первых дней, когда немецкие и советские войска с двух сторон вторглись на ее территорию, до середины 1943 года, когда польский курьер встречался в Вашингтоне с президентом Рузвельтом, — это свидетельство должно наконец прозвучать и по-русски.

Книга была написана и впервые опубликована в 1944 году в США с целью рассказать о преступлениях оккупантов и борьбе подпольщиков и, главное, доказать миру, что польское правительство в изгнании не просто отсиживалось в Лондоне, а управляло действиями внутренней армии Сопротивления и имело право возглавить страну после победы, в которой подпольщики сыграли немалую роль. Вряд ли стоит напоминать, как на деле сложилась после войны судьба Польши, насильственно включенной в лагерь "стран народной демократии".

В молодости Ян Карский (тогда еще Козелевский, Карский — подпольный псевдоним) собирался заниматься дипломатией, и мечта его сбылась, но совершенно непредвиденным образом: бежав из советского плена, он стал тайным посланником тайного государства. На этом пути вместо светских приемов ему были уготованы подпольные явки, а вместо дипломатической неприкосновенности — пытки гестапо.

Читатель может мысленно продолжить цепочку событий, описанных в первых двух главах — эта цепочка приводит в Катынь. Ян Карский избежал участи оставшихся в СССР товарищей, чтобы стать связным между си-

© Jan Karski Institute
© Editions Laffont, S.A., Paris, 2010
© Наталья Мавлевич. Перевод, вступление, 2012
Книга будет опубликована в издательстве "CORPUS/Астрель".

лами Сопротивления внутри оккупированной страны и за ее пределами. Ему не раз приходилось рисковать жизнью, перенося секретные материалы через границы, а выполнив последнюю миссию, он уже не мог вернуться в Польшу, поскольку стал слишком известен оккупационным властям, и остался до конца жизни в США, где преподавал в университетах.

Главы "Гетто" и "Последний этап", пожалуй, самые знаменитые в книге. Это практически первые документальные свидетельства о Холокосте. Благодаря Яну Карскому, специально проникшему в гетто и в лагерь уничтожения, власти союзников уже в начале 1943 года узнали страшную правду. Узнали и ничего не сделали. Незадолго до смерти, в последнем в своей жизни интервью польскому телевидению, Ян Карский сказал: "Делать что-то в защиту евреев было просто невозможно. Английская и американская разведки прекрасно знали, что происходило с евреями. Наверняка они им сочувствовали, переживали, даже жалели их — но это была всего лишь второстепенная проблема, не имевшая никакого военного значения. Это была война, где гибли миллионы людей и надо было спасать все человечество. А какие-то там евреи? Кому до этого было дело?"

Долгое время о Карском и его книге никто не вспоминал. Новый всплеск интереса произошел в 80-е годы, когда на экран вышел фильм французского режиссера Клода Ланцмана "Шоа", в котором собраны живые свидетельства и воспоминания о нацистских лагерях смерти, — в этом фильме Ян Карский снова рассказал о своей миссии и ее этическом и историческом значении. Он выступил также на организованной Эли Визелем Международной конференции памяти Холокоста в 1981 году, а год спустя в Израиле ему было присвоено звание Праведника мира. Вскоре была переиздана и книга, которую перевели на многие языки мира.

Глава I
Поражение

23 августа 1939 года я был приглашен на веселую вечеринку к сыну португальского посла в Варшаве г-на Суза де Мендеса. Мы были почти ровесники — ему было двадцать пять лет — и добрые приятели. У него было пять сестер, все хорошенькие и обаятельные. С одной из них я довольно часто встречался и в тот вечер сгорал от нетерпения поскорей ее увидеть.

К тому времени я только недавно вернулся в Польшу. Закончив в 1935 году Львовский университет Яна-Казимира и проведя год в конно-артиллерийском училище, я уехал стажироваться сначала в Швейцарию, потом в Германию и, на-

конец, в Англию. Меня интересовали вопросы демографии. Три года я работал в крупнейших библиотеках Европы, готовил свою диссертацию, старался получше овладеть французским, немецким и английским и усвоить образ жизни в этих странах, пока смерть отца не призвала меня в Варшаву. Мне по-прежнему больше всего нравилось изучать демографию, но постепенно стало ясно, что писать научные труды — не моя стезя. Я никак не мог закончить диссертацию, все тянул и отлынивал, а уже написанную часть работы у меня не принимали. Но это было единственное облачко на светлом, солнечном горизонте открывавшихся передо мной возможностей, и оно не слишком огорчало меня.

На вечеринке все чувствовали себя беззаботно и радостно. Просторный зал посольства был изящно, хотя, пожалуй, чересчур романтично, украшен. Собралась приятная компания. Очень скоро завязались оживленные разговоры. Помнится, с большим жаром отстаивали достоинства Варшавского ботанического сада по сравнению с хваленными европейскими, обсуждали новую постановку "Мадам Сан-Жен" Викторьена Сарду, а когда кто-то заметил, что Стефан Лечевский и Марселла Галопен, которых я хорошо знал, выскользнули из зала вдвоем, стали отпускать банальные шуточки по этому поводу, — всё, как обычно. О политике почти не говорили.

Мы пили хорошие вина, беспрестанно танцевали, в основном европейские танцы — вальсы и танго. А под конец Элен Суза де Мендес с братом исполнили для нас сложные фигуры португальского танго.

Вечеринка закончилась поздно ночью. Потом все еще долго прощались и даже на улице никак не расходились: болтали, договаривались о встречах на следующую неделю. Я вернулся домой уставший, но в голове роились радужные планы и не давали уснуть.

Разбудил меня громкий стук в дверь, причем мне показалось, что я проспал не больше минуты. Я вскочил с постели и побежал вниз по лестнице, ускоряя шаг и раздражаясь, оттого что стучали все сильнее. Наконец открываю дверь. На крыльце стоит хмурый, заждавшийся полицейский. Протягивает мне красную карточку, бормочет что-то невнятное и поспешно уходит.

Это был секретный приказ о мобилизации. Мне сообщалось, что я как подпоручик конной артиллерии должен в течение четырех часов покинуть Варшаву и явиться в расположение своего полка. В Освенцим — город на самой польско-немецкой границе.

То, как и в какое время был мне вручен этот приказ, который опрокидывал все мои планы, мгновенно настроило меня на самый серьезный и даже мрачный лад.

Я отправился к брату с невесткой и поднял на ноги обоих. Однако они приняли известие совершенно спокойно, и вскоре мне самому показалось смешным, что я так запаниковал.

Пока я собирался и одевался, мы обсудили ситуацию и пришли к выводу, что объявлена частичная, весьма ограниченная мобилизация, которая касается небольшого числа офицеров запаса и затеяна лишь для того, чтобы они не теряли боеготовности. Мне посоветовали отправляться налегке, невестка даже отговорила брать с собой теплые вещи.

— Не в Сибирь же едешь, — сказала она, глядя на меня, как на восторженного школьника. — Через месяц вернешься домой.

Я успокоился. Возможно, все не так плохо и даже предстоит что-то интересное. Я припомнил, что Освенцим находится в красивых местах, среди равнин. И представил себе, как несусь по ним в офицерской форме на прекрасном армейском скакуне — верховую езду я любил страстно. Я надел свои лучшие сапоги. Как будто готовился к военному параду. Заканчивал сборы уже в отличном расположении духа. И даже в шутку посочувствовал брату: дескать, на этот раз "стариков" в армию не зовут. Он ответил парой крепких словечек и пригрозил всыпать мне как следует, если я не уймусь. А невестка велела нам перестать ребячиться. Наконец спешные приготовления завершились.

На вокзале было столько народу, будто там столпились все мужчины Варшавы. "Секретной" эту мобилизацию, подумал я, можно назвать только в том смысле, что нет никаких объявлений — ни на стенах, ни в газетах. Но призваны были сотни тысяч человек.

Вспомнились ходившие пару дней назад слухи о том, что правительство давно собиралось объявить всеобщую мобилизацию перед лицом немецкой угрозы, но его удерживали английские и французские дипломаты. Зачем "провоцировать Гитлера"! В то время Европа еще верила в возможность мирных переговоров. И лишь ввиду практически открытых военных приготовлений Германии Польше наконец разрешили провести "тайный" призыв.

Обо всем этом я узнал намного позже. А тогда хоть и вспомнил о слухах, но встревожился так же мало, как и услышав их впервые. Перед вагонами толпились тысячи мобилизованных в штатском, их было легко распознать по походному чемоданчику. В этой толпе выделялись офицеры запаса в

щегольской форме, они издали подавали друг другу знаки, перекликались, обменивались приветствиями. Но мне, как я ни искал, не попалось ни одного знакомого лица. Я стал протискиваться к поезду, что оказалось очень и очень нелегко. Вагоны были переполнены, все места заняты. Народ набился в коридоры и даже в туалеты. Настроение у всех было приподнятое, бодрое и даже веселое.

В дороге я постепенно начал понимать, насколько серьезно обстоит дело. Правда, мне все равно не приходило в голову, что вот-вот начнется война, но уже было ясно: о приятной прогулке можно забыть, происходит самая настоящая всеобщая мобилизация. На каждой станции к составу подцепляли новые вагоны для новобранцев, теперь уже в основном крестьян. Вид у всех был бравый и уверенный, не считая, разумеется, женщин: жен, матерей, сестер, наводнявших платформы; настоящие Ниобеи, они рыдали, заламывали руки, цеплялись за своих мужчин и не хотели отпускать. Молодые парни, стесняясь, вырывались из материнских объятий. Помню, на одном полустанке мальчишка лет двадцати кричал: "Хватит, мама, отпусти, скоро приедешь ко мне в Берлин!"

Дорога в Освенцим заняла вдвое больше времени, чем положено, поскольку поезд все время останавливался, подцеплял вагоны и сажал новых солдат. До казармы мы добрались только к ночи, и задора в нас поубавилось, сказывались жара и усталость — шутка ли, столько часов проехать стоя! Однако после довольно плотного ужина — за время пути все изрядно проголодались — силы вернулись, и я решил пройтись по территории, где мы были расквартированы, вместе с другими офицерами, с которыми познакомился в столовой. Нашел кое-кого из нашей дивизии, но не всех. Две батареи конной кавалерии уже отправились на фронт. В казарме оставались только третья и четвертая.

Трудно сказать почему, но, собираясь по вечерам в офицерском клубе, мы по молчаливому согласию старались не говорить и не спорить о главном. Если же все-таки заходила речь о нынешнем положении и о том, что ждет нас впереди, все высказывались примерно одинаково, укрепляя общий оптимизм, который прекрасно отгонял сомнения и страхи и заглушал попытки трезво оценить изменения в европейской политике. Да и менялась она так стремительно, что, даже при всем желании, разобраться в этом клубке было бы нелегко. Что до меня, так я просто запрещал себе делать мыслительные усилия, которые могли бы открыть чудовищный смысл происходящего. Это подорвало бы все мои тогдашние представления о жизни.

Кроме того, я хорошо помнил, что говорил мне брат в первые часы после мобилизации, — ведь он был старше меня почти на двадцать лет, занимал важный пост в правительстве и всегда, сколько я помню, принадлежал к "хорошо информированным кругам".

Другие опирались на мнения друзей, знакомых и собственные соображения. Из всего этого мы заключали, что наша мобилизация — ход Польши в войне нервов с немцами. Германия слаба, Гитлер просто блефует. Когда он увидит, что Польша "сильна, едина и готова дать отпор", то отступит, и мы вернемся по домам. Если же нет, то Польша, с помощью Англии и Франции, как следует проучит этого одержимого клоуна.

А наш майор однажды вечером и вовсе заявил:

— На этот раз нам не надо никакой Англии и Франции. Мы и сами прекрасно справимся.

На что один из офицеров ледяным тоном заметил:

— Конечно, господин майор, сил у нас хватает, но... хорошая компания никогда не помешает.

На рассвете пятого сентября, около пяти утра, когда солдаты нашей конно-артиллерийской дивизии мирно спали, самолеты люфтваффе незамеченными долетели до Освенцима и, пролетая над нашими казармами, забросали всю округу зажигательными бомбами. Одновременно сотни мощных новейших немецких танков пересекли границу, и под их огнем все превратилось в руины и пожарища.

Трудно представить себе, сколько разрушений причинила эта атака всего за три часа, сколько погибло людей, какой воцарился хаос. Опомнившись настолько, чтобы оценить положение, мы увидели, что не способны оказать существенного сопротивления. Хотя нескольким батареям удалось каким-то чудом довольно долго продержаться на своих позициях и даже обстрелять немецкие танки. К полудню две наши батареи были уничтожены. Казармы разрушены до основания, железнодорожный вокзал снесен.

Поскольку стало ясно, что сдержать немецкое наступление не удастся, был дан приказ отступать; наша резервная батарея покинула Освенцим и двинулась боевым маршем по направлению к Кракову, захватив с собой пушки, снаряды и провиант. Каково же было наше изумление, когда по пути к вокзалу прямо на городских улицах нас стали обстреливать из окон. Это были польские граждане немецкого происхождения, пятая колонна нацистов. Таким образом они проявляли лояльность к оккупантам. Многие из нас готовы были немедленно ответить и открыть стрельбу по подозритель-

ным домам, но старшие офицеры запретили. Такие действия внесли бы беспорядок в наши ряды, а именно этого пятая колонна и добивалась. Не говоря о том, что в этих же домах могли жить и честные поляки-патриоты.

На вокзале нам пришлось ждать, пока починят пути. Мы сидели на земле под палящим солнцем, и все время, пока не подали состав, перед глазами у нас проносились недавние картины: горящие строения, обезумевшие жители, предательские окна в Освенциме. В тягостном молчании разместились мы по вагонам, и поезд двинулся на восток, в сторону Кракова.

Ночью он много раз останавливался и подолгу стоял. Иногда на таких стоянках мы дремали, а иногда просыпались и обсуждали случившееся; все как один рвались в бой. На рассвете появилось полтора десятка "хейнкелей", целый час они бомбили и обстреливали из пулеметов наш поезд и разнесли в щепки больше половины вагонов. Почти все там были убиты или ранены. Мой вагон уцелел. Оставшиеся в живых покинули разбитый поезд и пешком, без всякого строя, продолжали путь на восток.

Шла не армия, не батарея, не взвод, просто много людей шагали скопом, неведомо куда и зачем. Дороги были забиты беженцами и отбившимися от своих частей солдатами; точно катила огромная приливная волна, увлекая за собой всех встречных. Целых две недели эта лавина медленно двигалась на восток. Сам я держался группы, которая еще сохраняла какое-то подобие воинского подразделения. Мы надеялись дойти до новой линии обороны, остановиться там и вступить наконец в сражение. Но каждый раз, когда, казалось, такая возможность была близка, наш капитан получал приказ продолжать отступление и, пожав плечами, понуро указывал нам путь дальше на восток.

Плохие новости настигали нас, как хищные птицы, и рвали в клочья последние надежды: немцы заняли Познань, потом Лодзь, Кельце, Краков, наши самолеты и зенитки уничтожены. Дымящиеся руины городов, деревень и железнодорожных станций подтверждали эти горькие известия.

Через две недели, изнуренные, обессилевшие, ошалевшие и растерянные, мы подошли к Тарнополю[1]. Это было 17 сентября, я не забуду этот день до самой смерти. Дорога раскалилась под солнцем, а наши ноги и наша обувь после четы-

1. Город был переименован советскими властями в Тернополь 9 августа 1944 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

рех дней безостановочной ходьбы были в таком плачевном состоянии, что мы больше не могли шагать по пересохшей земле. Большинство предпочло идти по обочине, пусть даже получалось медленнее.

Так мы брели, без особой спешки, поскольку утратили всякое представление о цели, как вдруг толпа вокруг загудела и от одной группы к другой забегали люди, — это означало, что появились важные новости или волнующие слухи. Меня окружало восемь офицеров медслужбы — незадолго до того я остановил одного из них и попросил перевязать мне пятку, да так с ними и остался. И все мы сразу поняли: что-то случилось.

— Схожу узнаю, — сказал молодой капитан, которого мы все уважали за то, что он всегда старался следить за собой, — а вдруг хорошие новости!

— Ну да, — усмехнулся кто-то из офицеров, — наверно, Гитлер решил сдаться.

— Ладно, посмотрим, — сказал капитан и направился к группе пехотинцев, которые стояли метрах в двадцати позади нас и что-то оживленно обсуждали.

Мы решили дожидаться нашего добровольного гонца, укрывшись в скудной тени чахлого дерева. Он вернулся через несколько минут и, задыхаясь на бегу, еще издалека прокричал:

— Русские перешли границу! Слышите?! Русские перешли границу!

Его мгновенно окружили и забросали вопросами: откуда это известно, правда ли?

Оказалось, у кого-то из штатских было радио. Но что это означало? Русские тоже объявили нам войну? Они пришли как друзья или как враги?

Капитан не ручался за достоверность, но по его мнению... Однако ему вежливо дали понять, что мнение его в данный момент никому не интересно. Нам нужны факты.

Судя по тому, что рассказали капитану, кто-то поймал по радио русскую станцию, вещавшую на польских волнах с территории Польши. Постоянно передавались обращения на трех языках: русском, польском и украинском, — призывавшие поляков видеть в перешедших границу русских солдатах не врагов, а освободителей. Они пришли "взять под защиту украинское и белорусское население".

Слово "защита" не сулило ничего хорошего. Мы все помнили, как "взяли под защиту" Испанию, Австрию и Чехословакию. Или русские будут, если понадобится, воевать с нем-

цами? А как же пакт Молотова–Риббентропа, он расторгнут, что ли?[1]

Капитан ничего этого не знал. Он передал все, что сказали ему пехотинцы. А по их словам, русское радио ничего не объясняло, зато распространялось о "наших украинских и белорусских братьях" и о том, что "все славянские народы" должны как можно скорее "сплотиться".

Жариться на солнце и теряться в догадках не имело никакого смысла. Лучше всего было побыстрее добраться до Тарнополя и там точно все узнать. Оставалось всего-то километров пятнадцать. Несколько часов ходу быстрым шагом. Мы собрались с силами и продолжили изнурительный марш. Теперь у нас хотя бы была цель, ради которой стоило поторопиться, и от этого стало легче на душе.

По дороге мы все гадали, что бы значили известия, которые до нас дошли, – наконец-то можно было поговорить о чем-то еще, кроме того, как далеко продвинулись немцы по нашей территории.

Ответ мы получили, еще не дойдя до Тарнополя, когда километрах в трех от городской окраины до нас донесся гул толпы, перекрывавшийся голосом из громкоговорителя. Шумело и грохотало где-то за поворотом дороги, так что видеть мы ничего не могли, а из слов говорившего слышали только невразумительные обрывки. Но поняли: там происходит что-то очень важное, и, несмотря на усталость, пустились бегом. Наконец мы миновали поворот, дальше дорога проходила по ровному открытому месту. Метров на двести она была пуста. Разрозненные группки бредущих солдат, которые мы привыкли видеть перед собой, сбились в плотную толпу на обочине. Вдали же виднелась длинная колонна военных грузовиков и танков, но чьи они – с такого расстояния было не определить. Нас то и дело обгоняли, и вот кто-то, судя по всему, наделенный орлиным зрением, прокричал на бегу:

– Русские, это русские! Я вижу серп и молот!

А очень скоро уже и не требовалось особой зоркости, чтобы убедиться в его правоте. С каждым шагом речь из громкоговорителя становилась все более отчетливой. Гово-

1. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (известный как пакт Молотова–Риббентропа, по именам подписавших его министров иностранных дел) был заключен 23 августа 1939 г. К договору прилагался секретный протокол, который предусматривал присоединение к обеим странам некоторых областей, входящих в их "сферу влияния". В частности, Польшу предполагалось разделить на две части, восточная предназначалась СССР, а западная – Германии. В конце сентября 1939 г. этот раздел был завершен.

рили по-польски, но с теми певучими интонациями, какие бывают только у русских. Однако когда мы подошли совсем близко, голос замолк. Зато поляки, окружившие, как мы поняли, русскую машину с радиоустановкой, принялись все разом обсуждать услышанное.

Теперь были отчетливо видны красные серпы и молоты на бортах автомобилей и танков. Грузовики были набиты вооруженными до зубов русскими солдатами. Итак, слухи, которые доходили до нас раньше, подтвердились: радиоголос призывал всех, кто тут стоял, присоединиться к "русским братьям".

Как поступить? Каждый судил по-своему, но наши споры оборвал нетерпеливый окрик — на этот раз из громкоговорителя, который держал кто-то, сидевший в одном из советских танков:

— Ну так что, вы с нами или нет? Мы не собираемся торчать тут посреди дороги и ждать, что вы решите. Бояться вам нечего. Мы не немцы, а славяне, такие же, как вы. И мы вам не враги. Я командир роты. Пришлите ко мне несколько офицеров для переговоров.

Поляки снова загудели — мнения разделились. Большинство солдат не доверяли русским и не хотели принимать их предложение, офицеры колебались и были недовольны всем, в том числе самими собой. Я же совершенно растерялся, сердце в груди бешено колотилось, кто-то о чем-то меня спрашивал, а я даже не мог ответить.

Кому-то из офицеров пришло в голову, что, если бы мы выглядели как организованная армейская часть, это придало бы весу нашей позиции на переговорах. Унтеры забегали, пытаясь разбить солдат на подразделения. Напрасный труд — мы давно уже превратились в смешанное, беспорядочное сборище рядовых, офицеров и унтер-офицеров, среди которых не нашлось бы и десятка принадлежащих к одному полку. Даже оружия у многих не осталось, не было ни пулеметов, ни пушек. Мы пребывали в нерешительности, которая грозила затянуться до бесконечности.

Среди офицеров было два полковника. Посовещавшись, они наконец выработали план действий. Сначала подозвали к себе самых старших по возрасту офицеров и стали все вместе что-то негромко обсуждать. Потом от них отделился капитан, вытащил из кармана замызганный белый платок и, размахивая им над головой, медленным шагом направился к советским танкам.

Мы все смотрели на него, затаив дыхание; так зрители в театре смотрят на актера, который шествует по сцене в са-

мый драматический момент пьесы. Он шел, а мы в настороженной тишине провожали его глазами, пока навстречу ему со стороны танков не выступил офицер Красной армии. Вот они сошлись, коротко отдали друг другу честь и, по всей видимости, вежливо заговорили. Советский офицер указал рукой на танк, из которого говорил майор, и они пошли туда вдвоем. Увидев эти, пусть самые мелкие, знаки дружелюбия, толпа облегченно вздохнула.

Это, однако, не значило, что мы успокоились. Нас вконец измотали две с половиной недели постоянного напряжения. Измучил полный разброд мыслей и чувств. Мы уцелели физически, но морально немецкий "блицкриг" уничтожил нас, и мы настолько утратили всякие ориентиры, что едва понимали, что́ творится вокруг; мы не были ранены, но потеряли силы и волю.

Прошло с четверть часа, а польский капитан все не показывался. Мы ждали с тревогой и недоумением.

Ждали молча: события, которые разворачивались перед нами, казались такими нереальными и настолько отличались от всего, что мы видели или воображали, что даже говорить о них было страшно. Наконец эту воспаленную тишину прервал уверенный, сильный голос из рупора — слова звучали на чистейшем, без акцента, польском языке, все с того же советского танка.

— Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! — начал он, точно генерал, обращающийся к своим воинам перед боем. — Говорит капитан Вельшорский. Десять минут назад я был послан на переговоры с советским офицером. И вот сообщаю вам важные новости. — Капитан сделал паузу, мы, оцепенев, ждали удара — и он обрушился на наши головы. — Советская армия пересекла границу, чтобы вместе с нами бороться с немцами, заклятыми врагами славян и всего рода человеческого. Ждать приказов польского верховного командования бесполезно. Ни верховного командования, ни правительства Польши больше нет. Мы должны присоединиться к советским войскам. Майор Пласков требует, чтобы мы сделали это сейчас же, предварительно сдав оружие. Потом оно будет нам возвращено. Я сообщаю это всем офицерам и приказываю всем унтер-офицерам и рядовым подчиниться требованиям майора Пласкова. Смерть немецким оккупантам! Да здравствуют Польша и Советский Союз!

Ответом была мертвая тишина. Все это было уму непостижимо. Мы стояли, потеряв дар речи. Онемели и застыли. Я был словно околдован, испытывал такое же удушье, как однажды, когда меня усыпляли эфиром.

Всеобщее оцепенение нарушил горестный всхлип. Я подумал, что мне послышалось, но звук повторился — кто-то отчаянно и все громче плакал навзрыд. Потом рыдания перешли в крик:

— Братья! Это четвертый раздел Польши! Господи, прости!

Грянул выстрел. Поднялась суматоха. Все хотели пробраться поближе к тому месту, откуда стреляли. Оказалось, один унтер-офицер пустил себе пулю в лоб и умер на месте. Имени его никто не знал, и никто даже не попытался узнать, поискав у него в карманах документы.

У нас не хватало душевных сил отозваться на эту трагедию, примеру самоубийцы тоже никто не последовал. Зато все, как по команде, принялись говорить, размахивать руками, спорить со стоящими рядом. Так бывает в театре, когда спектакль кончается и опускается занавес. Офицеры только усиливали смятение. Они перебегали от солдата к солдату и требовали, чтобы те сдавали оружие. Убеждали колеблющихся. Если же рядовой упрямился, вырывали винтовку у него из рук.

С майорского танка между тем раздался новый приказ на польском с распевным русским акцентом:

— Польские солдаты и офицеры! Сложите оружие у белого домика под лиственницами слева от дороги. Пулеметы, автоматы, винтовки — все, что есть. Офицеры могут оставить при себе саблю, солдаты должны сдать штык и ремень. Всякая попытка утаить оружие будет рассматриваться как предательство.

Все как один обратили взоры на сиявший на солнце белизной домик, окруженный лиственницами. До него было метров тридцать. Под деревьями с обеих сторон виднелись пулеметы, обращенные стволами на нас, — вот теперь все стало предельно ясным. Мы, однако же, нерешительно переминались, никто не хотел быть первым. Но вот оба полковника твердым шагом подошли к домику, отстегнули револьверы и размашисто бросили их прямо к порогу.

Затем то же самое сделали два капитана. Начало было положено. Офицеры один за другим выходили и бросали оружие, солдаты ошеломленно на них смотрели. Когда подошла моя очередь, я действовал как под гипнозом и никак не мог поверить, что все это происходит на самом деле. Подошел к домику, тупо посмотрел на груду револьверов, с сожалением вытащил свой собственный — как я старался содержать его в порядке и как мало он мне прослужил! Отличный, все еще блестящий, как новенький. Я бросил его в кучу и отошел с

таким чувством, будто меня ограбили. После офицеров стали нехотя разоружаться солдаты. Причем оружия оказалось больше, чем мы думали. Я заметил даже солдат с пулеметом, а еще подальше три пары ломовых лошадей тащили тяжелое орудие полевой артиллерии. До сих пор не понимаю, откуда оно могло взяться.

Наконец все до последнего ствола и штыка было сдано и свалено в огромную кучу, и тут, к нашему удивлению, из двух грузовиков выпрыгнули советские солдаты и выстроились цепью по обеим сторонам дороги, нацелив на нас винтовки.

Громкоговоритель приказал и нам построиться в колонну лицом к Тарнополю, а, пока мы выполняли приказ, несколько танков завели моторы, быстро пересекли дорогу и встали позади нас на обочине, также обратив пушки в нашу сторону. Пушки на танках, стоявших впереди, тоже смотрели на нас. Колонна тронулась и, постепенно ускоряя шаг, двинулась к Тарнополю.

Итак, мы попали в плен к русским, а я даже не успел повоевать с немцами.

Глава 2
В *русском плену*

Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад покинувшие свои дома с намерением гнать немцев до Берлина, шли теперь неведомо куда под дулами советских винтовок.

До сих пор мы шагали безучастно, а тут, под взглядами этих людей, вдруг с особой остротой осознали, какая участь нам уготована и как бесславно заканчивается наш поход. Именно тогда я в первый раз подумал о побеге. А по лицам товарищей по несчастью понял, что такая мысль зашевелилась у многих. Раньше они шли потупясь, теперь же осматривались по сторонам — искали взглядом брешь в цепочке русских конвоиров, куда можно было бы проскочить и смешаться с толпой. Колонна состояла из рядов по десять человек. Я был третьим слева. И примерно через каждые пять рядов шел вооруженный красноармеец. По воле судьбы один из них очутился в метре от меня. Я посмотрел на него,

оценивая свои шансы, но он перехватил мой взгляд и свирепо сверкнул глазами. В этот самый миг четырьмя рядами впереди как будто что-то мелькнуло. У меня сильно забилось сердце. Затаив дыхание, я всматривался в то, что там происходит. Крайний в этом ряду выскользнул из строя и за спиной конвойного метнулся в толпу. Конвойный ничего не заметил. Как и другой, тот, что был рядом со мной, — он слишком внимательно следил за "своими" пленными. Толпа мгновенно сомкнулась за смельчаком, а его сосед справа тут же занял пустое место в ряду. Остальные подтянулись за ним, и, поскольку ряды были не такими уж ровными, исчезновение удалось скрыть.

Все это не заняло и минуты. Но настроение пленных неуловимо изменилось: они увидели, что один из их товарищей, отказавшись от пассивного повиновения, задумал и совершил дерзкий поступок.

Когда стало ясно, что побег прошел благополучно, я наклонился к соседу и как можно тише спросил:

— Видел?

В ответ он чуть заметно кивнул. Но тут конвоир, замыкавший наш ряд, повернулся всем корпусом и уже не спускал с меня злобного взгляда. Неудача. Мало того что этот солдат все время был настороже, так он еще явно сосредоточил особо пристальное внимание на мне. Он угрожающе вскинул винтовку, готовый в любой миг пустить ее в ход, и было бы слишком опрометчиво давать ему повод нажать на спуск.

Все время, пока мы шли в сумерках, я озирался по сторонам и искал удобного случая бежать, но безуспешно. Моему воспаленному воображению всюду чудились мечущиеся тени. Темнота все сгущалась, так что точно сказать не могу: может, какие-то из теней и были реальными. Лязг танков, блеск ружейных дул в лунном свете, напряженное вглядывание в потемки — все это усиливало впечатление какой-то жуткой игры. Когда же я увидел перед собой здание железнодорожного вокзала, то окончательно понял: мне придется разделить судьбу всех несчастных пленных, какой бы она ни была.

Удрученные лица тарнопольцев говорили о том, что они знали о нашей трагедии, и это меня поразило. Они знали, что Польша раздавлена. Знали и понимали смысл происходящего лучше, чем вся варшавская интеллигенция, все мои просвещенные друзья и осведомленные коллеги-офицеры: Польша перестала существовать. И они обступили нас, чтобы помочь спастись тем ее сыновьям, которые еще могли бороться. Многие женщины принесли гражданскую одежду. Одна из них протянула пиджак солдату, приготовившемуся

проскочить мимо охранников. Впрочем, бдительность их значительно ослабла. Глядя на эту женщину, мне хотелось плакать от гордости и восхищения. Я вытащил из кармана кошелек, где лежали деньги, документы и золотые часы, подарок отца. И, не поворачивая головы, чтобы не привлекать к себе внимание, левой рукой швырнул его в толпу. Только эту малость я и мог сделать для отважных тарнопольцев, мне же содержимое кошелька вряд ли могло бы еще пригодиться. Самые важные документы, золотой образок Остробрамской Божией Матери и немного денег, зашитых в одежду, остались у меня.

Наш жалкий марш в неизвестность окончился. Минуту спустя нас загнали в полутемный зал.

Здесь, в помещении вокзала, исчезли все шансы на побег, исчез и оптимизм, который поддерживал нас, пока мы шли по городу. В смрадном, битком набитом зале мы в полной мере ощутили накопившуюся за последние недели усталость и горечь утраченных надежд. Едва войдя, обессиленные люди садились или ложились на скамейки, ступеньки, а то и прямо на пол и засыпали свинцовым сном. Я тоже сел на пол, прислонил голову к скамейке, на которой храпели трое других офицеров, и уснул.

Проснулся я часа через два или три. Все кости ломило, хотелось есть и пить, и вообще было так худо, что дальше некуда. Офицеры на скамейке тоже очнулись и беседовали вполголоса. Первый завел обычный для последних дней разговор о том, каково истинное положение польской армии и способна ли она еще сопротивляться. Ему печальным, тихим голосом отвечал серьезного вида поручик:

— Они не лгут. Польской армии больше нет. Пускай мы не сумели оказать никакого сопротивления немецким танкам и самолетам, но почему вы думаете, что другие части были лучше вооружены? Мы оказались совершенно не подготовленными, нам нечего противопоставить немцам, — продолжал поручик-пессимист. — А в наши дни на одной храбрости войну не выиграешь. Нужны авиация и танки. Вы видели хоть один наш военный самолет? Да у немцев их, наверно, в тысячу раз больше. Со всей остальной армией случилось то же, что и с нами. Мы много дней не получали никаких приказов от командования. Почему? Потому что никакого командования больше нет.

— По́лно! — вмешался третий офицер. — Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Пусть нам не повезло — это еще ничего не значит. Сейчас у нас нет контакта с основной частью армии, но вполне вероятно, что мы скоро о ней услышим. Огля-

нуться не успеете, как мы вернемся на фронт, и немцев вышвырнут из Польши быстрее, чем они в нее вошли.

— Что ж, — ответил пессимист. — Если оттого, что вы верите в нашу победу, вам будет лучше спаться, верьте себе на здоровье! Я не собираюсь отнимать у вас последние иллюзии.

Он говорил спокойно, веско, а потому убедительно. Поначалу я склонялся к его мнению, но нарисованная им картина была так неприглядна, что мне не хотелось ее принимать. Чтобы вся польская армия была разбита за три недели — не может такого быть! В конце концов, немцы не волшебники. И вообще, мы же знаем: Варшава обороняется, по всей стране идут бои.

Утром подошел длинный товарный состав. Советские солдаты стали заталкивать нас в вагоны. Никаких документов не проверяли, устанавливать личности даже не пытались. Просто считали по головам: шестьдесят человек — полный вагон. Видимо, путешествие предстояло долгое, потому что русский офицер велел нам набрать воды из крана во все, у кого какие есть, емкости. Одновременно прибывали новые колонны пленных, создавая дикую неразбериху. Как я узнал позднее, тогда много кому удалось бежать: люди находили места, которые хуже охранялись, выбирались из здания вокзала, а там уж им помогало гражданское население Тарнополя, особенно женщины.

Я попал в один из первых подогнанных к платформе шестидесяти вагонов, и мне еще целых два часа пришлось ждать, пока заполнятся остальные. Посреди вагона стояла железная печка, рядом с ней свалено кучей несколько килограммов угля. Из этого мы заключили, что нас повезут в холодные края, далеко на север. Всем раздали по полкило сушеной рыбы и буханке хлеба.

Ехали долгих четверо суток.

Каждый день поезд делал остановку на полчаса. В вагон приносили шестьдесят порций черного хлеба и сушеной рыбы. После раздачи пищи, часть из которой тут же съедалась, нам разрешали выйти из поезда на четверть часа. Мы могли немножко подышать свежим воздухом и пройтись взад-вперед по платформе, размять наконец затекшие ноги. А заодно посмотреть на местных жителей.

Уже на второй день мы заметили, что они одеты не как поляки и говорят на чужом языке. Последние сомнения исчезли: мы в России. Немногочисленные группки любопытных, по большей части женщины и дети, глазели на нас, не проявляя ни сочувствия, ни враждебности. Сначала мы не решались подойти к ним, потом кое-кто рискнул. Русские не

отшатнулись, а продолжали смотреть на нас, некоторые даже улыбались. Они дали нам попить, женщины даже принесли папиросы, настоящее сокровище! Судя по всему, перед нами тут провозили других пленных, иначе откуда бы им знать, что́ может пригодиться.

На следующей остановке нам представился случай получше узнать, как относятся к нам русские. Посредниками и переводчиками служили двое-трое наших офицеров, бегло говоривших по-русски. Какая-то женщина протянула одному из них, здоровенному малому лет тридцати, не слишком опрятно одетому, но еще похожему на офицера, котелок с водой. Тот сердечно поблагодарил и сказал:

— Вы наши друзья. Мы будем вместе бороться с немецкими варварами и победим.

Но женщина нахмурилась и презрительно ответила:

— Вы? Вместе с нами? Вы, польские паны, фашисты?! Мы вас тут, в России, научим работать. Пусть для работы у вас сил хватает, а чтоб угнетать бедняков — нет.

Нас словно обухом огрели. Офицер так и застыл, а молодая женщина стояла и сурово смотрела ему в глаза. Она верила в то, что говорила, как в Священное Писание. Польскому пленному, как она считала, можно было дать воды, просто по-человечески, из жалости, но "братских чувств" со стороны русских он не заслуживал. Тогда я понял, какая пропасть разделяет наши страны, такие близкие по географическому положению, этнической принадлежности и языку, но столь далекие друг от друга в силу истории и разницы политических режимов. По мнению этих людей, готовых поделиться с нами водой, именно мы, польские офицеры, были виноваты в розни между двумя странами. Мы в их глазах были сворой господ, панов-бездельников, неисправимых паразитов.

На пятый день поезд остановился в неурочное время. Мы доехали до места назначения. Вагоны открыли, нам велели выйти и построиться в колонну по восемь человек. Неподалеку виднелась деревушка, столь убогая, что ей даже не полагалось станционного здания. Только голая платформа. Несколько разбросанных домиков — вот и вся деревня.

С той минуты, как мы высадились из поезда, и в продолжение всего времени, проведенного в России, у меня не выходила из головы мысль о побеге. Я тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, забытым Богом и судьбой и видел перед собой единственную цель: вернуться в Польшу, вступить в ряды нашей армии, которая, как я, несмотря ни на что, верил, все еще ведет тяжелые бои, и отомстить за ту страшную бомбардировку в Освенциме первого сентября 1939 года.

Нас куда-то погнали, и мы побрели, под резким ветром, с трудом переставляя ноги и переговариваясь на ходу о том, что с нами будет. Те, кто постарше, как водится, вели себя мужественно и принимали свою участь достойно и безропотно. Мы же, молодые, стонали, жаловались, строили планы восстания, прикидывали шансы на побег.

Но за несколько часов изнурительного марша все мысли о побеге и восстании улетучились. Только теперь мы по-настоящему ощутили, какая страшная беда на нас обрушилась и как далеко от нормальной жизни забросило нас за каких-то три недели. Я и сам до этого не сознавал, что был решительно отрезан от всего, что мне дорого: от близких, от друзей, от всех надежд на будущее. И каждая мелочь, каждый час словно расширяли и углубляли эту пропасть. Я нагнулся подтянуть лакированные кожаные сапоги, которые больно натерли мне ноги, и вдруг увидел, как дико смотрится эта роскошь на русской дороге, покрытой коркой затвердевшей грязи. Сапожки, заказанные у Хишпанских, лучших варшавских сапожников! Я так долго ждал эту обновку! Меня мучила жажда, и я вспомнил вина, которые подавали на балу в португальском посольстве, музыку, беззаботное настроение, сестер Мендес... Не прошло и месяца, а как все переменилось!

Наконец мы остановились на большой поляне, по краю которой росли высокие раскидистые деревья. А посередине стояло несколько — скорее всего, бывших — монастырских строений: церковь, жилые корпуса, хлева, амбары.

Нам зачитали в рупор на польском языке с сильным русским акцентом правила нашей новой жизни.

Прежде всего офицеров отделили от рядовых. Затем всех разбили на группы по сорок человек. К солдатам, как ни удивительно, отношение было лучше, чем к офицерам. Русские с самого начала дали понять, что условия нашего содержания будут тем лучше, чем ниже звание, — все наоборот! Простых солдат поселили в каменных строениях, оставшихся от церкви и монастыря, а нас, офицеров, — в деревянных бараках, переделанных из амбаров и хлевов; всего таких бараков было десять, по сорок пленных в каждом. Особо выделили полицейских и тех офицеров-резервистов, которые в гражданской жизни были судьями, адвокатами или чиновниками. Голос из рупора назвал их "угнетателями польских коммунистов и трудящихся". Остальным пленным приказали построить для них посреди монастырского двора специальные деревянные лачуги.

Офицеров заставляли выполнять самую тяжелую работу. Мы валили деревья в лесу и грузили бревна в вагоны. Как бы

то ни было, я не раздумывал, справедливо или несправедливо то, что меня заставляют делать. Просто старался как можно лучше приспособиться к такой жизни и даже видел в ней нечто благотворное. Большевики старались всеми средствами внушить нам, "польским панам-выродкам", что, как гласит распространенный в Советском Союзе лозунг, "любой труд почетен".

Пищу для нас готовили в огромных чугунных котлах. Отчищать их было трудно и противно, эта работа требовала больших усилий, от нее очень скоро стирались ногти и начинали болеть руки.

Русские объявили нам, что мы должны чистить котлы сами — их солдатам некогда. Тем, кто возьмется за это добровольно, будет в награду разрешено доесть остатки, которые они соскребут со стенок котлов.

В офицерских бараках вызвалось только три человека, в том числе я. Работа, конечно, была неприятная и грязная, зато в течение всех шести недель, пока я ею занимался, я питался лучше других и, как ни странно, даже получал от нее некоторое удовлетворение. Ведь я доказывал самому себе, что, если понадобится, смогу выполнять работу по дому не хуже любого другого.

Каждую свободную минуту я проводил со своим товарищем, поручиком Курпесем, молодым, порывистым, энергичным и готовым бежать, рискуя головой, если только появится хоть какой-то шанс на успех; мы вместе обсуждали способы побега. Выйти из лагеря не так трудно, но сесть потом в поезд совершенно невозможно, это нас и останавливало. До станции несколько часов хода, нас почти наверняка схватят по дороге. Да и поезда надежно охраняются. В общем, всякая попытка пробраться через холодную враждебную страну в наших мундирах, не зная языка, была обречена заранее. Оставалось ждать счастливого случая. И вот однажды лейтенант посвятил меня в свой, на первый взгляд, несуразный план.

Я шел на работу после обеденного перерыва, и вдруг кто-то хлопнул меня сзади по плечу. Это был мой юный приятель, запыхавшийся и пунцовый от волнения.

— Есть хорошая идея, — сказал он мне на ухо заговорщицким шепотом. — Думаю, дело выгорит.

— Какая? — так же пылко спросил я.

Но, заметив шагах в тридцати подозрительно наблюдавшего за нами русского охранника, пошел дальше и сменил тон.

— Успокойся, черт возьми, — сказал я, стараясь сохранить невозмутимость. — У тебя такой вид, будто ты собираешься взорвать весь лагерь.

Я незаметно указал ему на охранника. Он понял и зашагал рядом со мной. Теперь мы выглядели нормально: двое пленных идут куда-то по своей надобности.

Поручик рассказал мне, что готовится обмен военнопленными в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа. На основании одной из его статей, обмену подлежали только рядовые. Немцы отпустят в Россию всех украинцев и белорусов, а русские перешлют в Германию всех поляков немецкого происхождения, а также уроженцев польских территорий, включенных в состав Третьего рейха на том основании, что это "исконно германские земли".

— Отлично! — усмехнулся я. — Значит, через неделю я буду танцевать в Варшаве на балу! Остается превратиться в рядового, поменять свидетельство о рождении, убедить русских и не загреметь в гестапо. Все проще простого — и как это я сам не догадался!

— Янек, я считал, ты умнее. Надо выбираться отсюда как можно скорей.

— Ну ладно. Давай подумаем, что из этого можно извлечь. Какие территории они там присоединили к своему рейху? Лодзь в него входит?

— Да. Видишь, тут все просто. У тебя есть какой-нибудь документ, подтверждающий, что ты там родился?

— Есть. Свидетельство о рождении, немножко потрепанное, но выправленное как положено. А у тебя?

— Место, где я родился, не удостоилось чести быть включенным в Третий рейх. Но я с этим потом разберусь. Давай пока займемся твоим случаем. Тебе остается только стать солдатом, а это легко. Я вообще не понимаю, как тебя занесло в офицеры!

— А я не понимаю, как я могу сойти за солдата. Форму не переделаешь, а другой у меня нет. Разве что украсть?

— Зачем красть! Попроси! Можно найти солдата, который не может или не хочет возвращаться, и, если в нем есть хоть капля патриотизма или простой человечности, он согласится поменяться с тобой формами. Сделать это надо за пределами лагеря, в лесу, во время работы, так что ты вернешься уже переодетым — вот и все!

План казался безупречным, по крайней мере, он позволял вырваться из России. Русские охранники никогда не проверяли пленных по именам и документам. Пересчитывали — и всё. Если я уговорю кого-нибудь из солдат — а я был уверен, что это нетрудно, — то подмену одного человека другим и одной формы другой никто не заметит. А уж по возвращении в Польшу — будь что будет! Очутиться там было бы

невыразимым счастьем, и я ничуть не сомневался, что найду способ присоединиться к действующей польской армии.

— А как же ты? — спросил я. — Тебе нужно достать свидетельство о том, что ты родился на присоединенной к Германии территории. Вряд ли кто-нибудь захочет отдать тебе свое. Что ж ты будешь делать?

— Остается одно из двух: или достать такой документ, или попробовать и без него уломать советских начальников. Я понимаю, о чем ты думаешь. Если у тебя все получится, ты должен ехать без меня! А для меня можешь сделать вот что: когда поменяешься формой, надо будет идти к начальству и просить, чтобы тебя отослали в Германию. Так вот, последи, как поведет себя офицер, насколько внимательно он будет проверять документы, и так далее. А я уж буду действовать, исходя из этого.

Мы подходили к баракам. Мне надо было на кухню, ему — в свой барак, а потом на работу в лес.

— Ну, прямо сейчас и возьмусь за дело, — сказал я с бьющимся сердцем и, чтобы заглушить чувство вины перед поручиком за то, что у меня все складывается так удачно, прибавил: — Надеюсь, уже к вечеру смогу тебе что-нибудь рассказать.

Он улыбнулся и помахал на прощанье рукой.

На кухне рядом со мной работал толстый крестьянин-украинец старше меня, мы неплохо ладили. Он сразу заметил, что я взбудоражен, и спросил почему. Я ответил, что мне нужна его помощь, что это очень важно, и, пока мы драили котлы, рассказал весь план действий. Идея ему понравилась, он согласился не раздумывая. Во-первых, он не верил в посулы немцев и не согласился бы на обмен, даже если бы имел на него право, а во-вторых, ему очень хотелось мне помочь. Решено было проделать все во второй половине дня на лесоповале, где работали и солдаты, и офицеры.

Когда мы шли на вечернюю работу в лес, я затесался в тот отряд офицеров, который был ближе к выходящим из бывшей церкви солдатам. Охраняли нас не очень тщательно — русские понимали, что если кто-нибудь и сбежит из лагеря, то далеко не уйдет. По дороге я заметил, что мой друг Парадыш примкнул к самому ближнему к нам отряду солдат. Мы шли метрах в двадцати друг от друга, и между нами никого не было. Проходя мимо толстенного дерева, украинец указал на него рукой. Я кивнул.

Еще пара минут — и мы добрались до места работы. Я замахнулся топором и рубанул по лежавшему передо мной стволу, снова поднял топор и осмотрелся. Охранник нахо-

дился от меня метрах в ста, других поблизости не было. Я отшвырнул топор и, стараясь не шуметь, побежал к дереву, которое показал мне друг. Он уже стоял за ним, полураздетый. Я бросился на землю и стал стягивать с себя форму.

— Слов нет, как я тебе благодарен, — смущенно выговорил я, снимая китель и рубашку.

— Ладно, помалкивай, — усмехнулся украинец. — И не переживай. Я даже не собираюсь жить с твоими офицерами. Надевай мою форму — назад пойдем вместе. Когда дойдем до церкви и нас пересчитают, ты входи, а я приотстану. Проскочу мимо охранников немного погодя. Документы у меня есть, а доказать, что я солдат, легче легкого — сорву погоны, и твоя форма сойдет.

— Отлично! — сказал я. — Хотя офицеры не такие уж плохие.

— А я и не говорю.

— Спасибо, спасибо тебе!

Мы переоделись. Сорвав знаки различия с моего кителя, солдат Парадыш быстро закопал их в землю. И мы оба поспешно вернулись на свои места. Чтобы справиться с лихорадочным волнением, я орудовал топором, как бешеный. Когда настало время возвращаться в лагерь, я пошел налево и смешался с солдатами. Их предупредили о моем появлении, так что никто меня ни о чем не спрашивал. У входа в церковь охранники проверили, сколько нас. Мой друг отстал и вскоре залез внутрь через маленькое неохраняемое окошко. Все прошло как по маслу. Теперь я был рядовым.

На следующее же утро я сказал охраннику, что хочу поговорить с комендантом лагеря. Узнав, по какому поводу, охранник повел меня в один из оборудованных в здании церкви кабинетов.

За столом сидел и что-то писал немолодой офицер. Он посмотрел на меня, зевнул, потянулся, заглянул в мои документы и спросил:

— Как зовут? Что надо?

— Рядовой Козелевский, бывший рабочий, родом из Лодзи.

— Ну и что ты хочешь?

— Вернуться на родину, пан начальник.

— Ладно. Я запишу. — Он уже отпустил меня, но вдруг передумал и небрежно спросил: — Чем ты можешь подтвердить место рождения?

Я показал ему свидетельство. Он мельком на него взглянул, взял листок бумаги, что-то на нем написал и усталым жестом положил на место. Потом снова зевнул, потянулся и

потер глаза. Наверно, я невольно хмыкнул, глядя на него, потому что он вдруг взвился и заорал:

– Нечего тут торчать!

Меня отвели обратно. Я еле сдерживал ликование и с трудом сохранял спокойный вид. После обеда я отыскал в лесу поручика Курпеся, все ему рассказал и заверил:

– Этого без всяких документов легко убедить. Он и сам рад выпроводить всех, кого можно.

Поручик тоже так думал.

– Все-таки я попробую в ближайшие дни раздобыть документы, – сказал он. – Не стоит лишний раз рисковать.

– Хорошо бы мы поехали вместе.

– Да, если я успею к ближайшей отправке. Если же нет, встретимся в Варшаве. Тебе лучше ехать без промедления. На случай, если больше не увидимся, прощай! Желаю удачи!

– Постарайся успеть. Тебе тоже удачи, будь осторожен!

С тех пор я его не видел. Уже на следующее утро меня отправили тем же путем, каким я ехал полтора месяца назад, только в обратном направлении, в составе двух тысяч солдат, которых русские меняли на такое же количество украинцев и белорусов.

Кто-то из тех, кого так же обменяли, потом сказал мне, что ехал вместе с Курпесем. Это все, что мне о нем известно. Больше наши пути не пересекались.

Глава XXIX
Гетто

Перед отъездом из Польши мне, по приказанию представителя польского правительства в Лондоне и командующего Армией Крайовой[1], устроили встречу с двумя людьми, в прошлом влиятельными лицами в еврейской общине, которые возглавляли еврейское сопротивление. Один из них представлял сионистскую организацию, другой – Еврейский социалистический союз, Бунд[2].

1. Армия Крайова – подпольная военная организация, действовавшая в 1942–1945 гг. в оккупированной Польше. Подчинялась польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.
2. Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) – еврейская социалистическая партия, объединявшая рабочих и ремесленников западных областей Российской империи; основан в 1897 г. в Вильно.

Встреча проходила в сумерках в огромном полуразрушенном пустом доме в варшавском районе Грохов. Одно то, что бундовец и сионист, несмотря на все разногласия, явились вместе, уже о многом говорило. Это означало, что документы, которые они собирались передать через меня польскому правительству и союзникам, не касались политики и исходили от всей общины. В них содержались сведения, относящиеся ко всему еврейскому населению Польши, и выражались чувства, а также излагались просьбы и напутствия всего народа, находившегося на краю гибели.

Не передать словами, сколь ужасающе было то, что я сначала услышал там, в пустом доме, а потом увидел собственными глазами в гетто, куда меня отвели, чтобы я убедился в правдивости этих рассказов. Я знаю историю. Много читал о разных народах, политических системах, социальных доктринах, завоеваниях, гонениях и истреблениях. Но знаю и то, что никогда в истории человечества, нигде и никогда не случалось ничего хотя бы отдаленно похожего на то, что сделали с польскими евреями.

Никогда не забуду тех двоих — они воплощали страдания и отчаяние целого народа. Оба жили вне гетто, но постоянно там бывали, у них имелись способы входить и выходить оттуда. Впрочем, как я вскоре узнал на собственном опыте, это было не так уж трудно. В гетто они были самими собой и ничем не отличались от других его обитателей. А на "арийской" стороне преображались, чтобы не вызывать ни малейшего подозрения. Иначе одевались и иначе держались. Становились другими людьми. Словно актеры, которым приходится играть одновременно две взаимно исключающие роли. И каждый раз им нужно было следить за собой, чтобы не выдать себя речью не на том языке, нечаянным жестом, поступком. Малейшая ошибка могла стоить жизни.

Бундовскому лидеру это, вроде бы, давалось довольно легко. У него была внешность типичного поляка, светлые глаза, румянец, большие усы. Такой элегантный господин лет шестидесяти. До войны он был адвокатом и специализировался на запутанных уголовных делах. Теперь, на арийской стороне, — владельцем магазина бытовой химии и стройматериалов. Все звали его "паном инженером", уважительно к нему относились, ценили его общество, приглашали в гости[1]. И

1. Это был Леон Файнер (1888–1945), до войны известный адвокат, член подпольного руководства Бунда, представитель Бунда и ЖОБа на арийской стороне, заместитель председателя и председатель Совета помощи евреям "Жегота".

только когда он повел меня в гетто, я понял, чего стоит ему эта комедия. Куда девался его уверенный, респектабельный вид! В одно мгновение благовоспитанный польский инженер исчез, превратившись в одного из тысяч несчастных изможденных евреев, которых терзали и зверски убивали нацистские палачи.

Сионисту было едва за сорок. Ему, с его ярко выраженными семитскими чертами, было гораздо труднее замаскироваться. Он производил впечатление совершенно измученного человека, который с трудом держит себя в руках[1].

Первое, что я тогда ясно осознал, была полнейшая безнадежность положения польских евреев. Мы, поляки, переживали войну и оккупацию. А для них наступил конец света. Бежать ни эти двое, ни их товарищи никуда не могли. Однако это была только одна из сторон трагедии, одна из причин их отчаяния. Они не боялись смерти, принимали ее как что-то почти неизбежное, но все усугублялось горькой уверенностью, что в этой войне для них нет никакой надежды на победу или хоть на возмездие — надежды, которая помогла бы смириться с неизбежной смертью. Именно с этого начал сионист.

— Вы, поляки, счастливые люди. Конечно, многие из вас страдают, многие умирают, но все-таки ваш народ выживет. После войны Польша восстановится. Отстроятся города, зарубцуются раны. Эта страна, которая и для нас была родиной, восстанет из моря слез, страданий и унижений. Только нас, евреев, в ней уже не будет. Весь наш народ исчезнет. Гитлер проиграет войну против всего человечества, добра и справедливости, но нас он победит. "Победит" — это еще не то слово. Он просто перебьет нас[2].

Это был страшный вечер. Мои собеседники тяжелыми шагами мерили комнату, освещенную одной-единственной свечой — больше мы не могли себе позволить; тени их метались по стенам. Я сидел на сломанном кресле, которому одну из ножек заменяли два положенных друг на друга кирпича. Сидел не шевелясь — не столько боялся упасть, сколько

1. Имя этого человека точно неизвестно.
2. Вести о расстрелах евреев доходили в варшавское гетто уже осенью 1941 г. В феврале 1942-го до Варшавы добрался человек, которому удалось бежать из лагеря уничтожения Хелмно, он рассказал, как евреев уничтожают там в газовых камерах. Были и другие очевидцы, которые свидетельствовали о страшных злодеяниях нацистов. В феврале 1942 г. начались планомерные массовые убийства евреев на территории Польши, а в июле 1942 г. — депортации из варшавского гетто в лагерь смерти Треблинка. О том, что происходило в Треблинке, обитатели гетто узнали уже месяц спустя от двух беглецов.

окаменел от того, что слышал. Наконец сионист не выдержал и разрыдался:

— Зачем я все это говорю? Зачем еще живу? Пошел бы лучше к немцам и признался, кто я такой. Когда они истребят всех евреев, кому будут нужны бундовцы, сионисты, раввины! Что толку говорить все это вам? Ведь никто в мире не может этого понять! Да я и сам... я сам не понимаю!

Бундовец как старший попытался его успокоить:

— У нас мало времени, а обсудить надо многое. Не будем отклоняться от главного.

Секунду все молчали. Потом, сделав над собой усилие, сионист прошептал:

— Извините...

Я тоже с трудом сохранял спокойствие.

— Я понимаю ваши чувства. И постараюсь сделать для вас все, что смогу. Я отправляюсь в Лондон с миссией от польского сопротивления. Весьма вероятно, что у меня будет случай выступить перед представителями союзнических властей.

— Правда? — с надеждой воскликнул сионист. — Вы думаете, вас допустят к Черчиллю и Рузвельту?

— Не знаю. Но почти наверняка буду говорить с кем-нибудь из их окружения. В Лондоне наше правительство представит меня совершенно официально. И миссия моя — официальная. В ее рамках я намерен передать ваше воззвание всему миру. И я это сделаю. Что вы хотите, чтобы я сказал от имени евреев?

Первым отозвался представитель Бунда:

— Мы хотим, чтобы польское правительство в Лондоне и правительства союзников поняли, что мы беззащитны перед злодеяниями нацистов. Уничтожение евреев — это факт. И никто в Польше не в силах нам помочь. Польское сопротивление может спасти лишь немногих. Основную массу оно не спасет. И не остановит истребление. Немцы не собираются превращать нас в рабов, как поляков и другие завоеванные народы. Они хотят уничтожить всех евреев. Вот в чем разница.

— Этого-то и не понимают в мире. И мы никак не можем объяснить. Они там, в Лондоне и Вашингтоне, наверняка считают, что истеричные евреи всё преувеличивают, — нервно прибавил сионист.

Я молча кивнул.

— Мы все погибнем, — продолжал бундовец. — Или выживет горстка. Три миллиона польских евреев обречены на уничтожение. Как и все другие, свезенные со всей Европы.

Ни польское, ни, тем более, еврейское сопротивление ничего не могут сделать[1]. Так что вся ответственность ложится на союзников. Только извне можно оказать евреям действенную помощь.

Вот это трагическое послание я должен был предъявить свободному миру. И я знал, что к тому времени, когда два измученных человека мне его передавали, нацисты уже успели уничтожить 1 850 000 евреев.

Для меня заранее приготовили подробное донесение о смертности евреев в Польше. Я попросил кое-что уточнить:

— Вы можете сказать хотя бы примерно, сколько обитателей гетто убито?

— Это можно вычислить довольно точно: число убитых почти полностью совпадает с числом депортированных, — ответил сионистский лидер.

— Вы хотите сказать, что все депортированные убиты?

— Все до единого, — подтвердил бундовец. — Немцы, разумеется, это отрицают и стараются скрыть. Даже теперь, когда уже нет никаких сомнений, люди продолжают получать успокоительные письма от своих родных и друзей, о чьей смерти доподлинно известно: там написано, что они здоровы, работают, едят мясо и белый хлеб. Но мы знаем всю правду и можем устроить так, чтобы вы сами все увидели воочию.

— Когда начались депортации?

— Первые распоряжения поступили в июле. Немецкие власти требовали от гетто по пять тысяч человек в день. Их якобы вывозили из Варшавы на работы. А на самом деле отправляли прямо в лагеря уничтожения. Когда инженер Черняков[2], глава юденрата, получил приказ собирать по десять тысяч "работников" в день, он покончил с собой. Потому что знал, что́ это значит.

— А сколько всего человек "депортировано"?

— Более трехсот тысяч. Остается чуть больше ста тысяч, но депортации продолжаются.

1. В декабре 1942 г. была создана организация спасения польских евреев "Жегота", которую финансировали польское правительство в изгнании, Бунд и Еврейский национальный комитет. "Жегота", в которую входили люди разных национальностей, религиозных и политических взглядов, снабжала евреев фальшивыми документами, помогала им укрываться, хотя такое укрывательство каралось смертью. Несколько тысяч еврейских детей было размещено в семьях, монастырях и детских домах. Но нехватка сил и средств не позволяла сделать эту помощь более масштабной.

2. Адам Черняков (1880-1942) — инженер, в 1930-е гг. — сенатор Польши, в 1939–1942 гг. возглавлял юденрат (еврейский административный орган самоуправления) варшавского гетто.

Я похолодел. Был октябрь 1942 года. За два с половиной месяца в одном только варшавском гетто нацисты совершили триста тысяч убийств!

Об этом я должен был сообщить всему миру.

Мои новые знакомые предложили провести меня в гетто, чтобы я собственными глазами увидел картину гибели целого народа. Свидетельству очевидца поверят больше, чем рассказу с чужих слов. При этом они предупредили, что если я соглашусь, то подвергну риску свою жизнь, а жуткие сцены, которые я там увижу, будут преследовать меня до конца моих дней. Я сказал, что согласен.

Вторая встреча состоялась там же, где и первая. Говорили о нашем "походе" в гетто и о том, как мне лучше рассказать о положении евреев, когда я попаду в Лондон. Под конец я спросил, что отвечать на вопрос: как же им помочь? Мои собеседники смотрели на вещи с горестной трезвостью. Прекрасно понимали, что большая часть их предложений нереализуема, но высказать их нужно, поскольку ничто другое не прекратит страданий еврейского народа.

— Немцы понимают только язык силы и принуждения, — начал сионист. — Надо безжалостно бомбить их города, сбрасывать при каждой бомбардировке листовки, рассказывающие немцам об участи польских евреев, и обещать, что то же самое ждет всю немецкую нацию во время и после войны. Мы не призываем убивать мирное население, но такая угроза — единственное средство остановить зверства. Страх за свою жизнь заставит жителей Германии повлиять на своих главарей, чтобы те отказались от преступной политики. Вот и все, чего мы хотим.

— Мы знаем, — продолжил лидер Бунда, — что такой план может быть отвергнут, потому что он не укладывается в представления союзников о методах ведения войны. Но ни евреи, ни те, кто хочет им помочь, не должны рассматривать происходящее только с военной точки зрения. Скажите правительствам союзников, что, если они действительно хотят нам помочь, они должны официально заявить немецким властям, что продолжение расправы навлечет страшную кару на немецкий народ и закончится последовательным уничтожением всей Германии!

— Понимаю, — сказал я, — и приложу все усилия, чтобы и они вас поняли.

— Скажите еще вот что, — добавил сионист. — Гитлер провозгласил, что немцы — все немцы, где бы они ни жили, — составляют одну расу, национальное и политическое целое. Он объединил их в единой армии, призванной завоевать мир и

создать "новую цивилизацию". И заявил, что в этой цивилизации нет места евреям и их нужно истребить. Это беспрецедентное явление в истории, и реакция на него тоже должна быть беспрецедентной. Пусть власти союзников отдадут приказ публично казнить всех немцев, где бы они ни обитали: в Америке, в Англии, в Африке — везде! Вот о чем мы просим.

— Странная идея! — воскликнул я. — Такая просьба только удивит и ужаснет тех, кто хотел бы вам помочь.

— Разумеется! Думаете, я не знаю? Мы потому и просим, что рассчитываем вызвать возмущение. Чтобы мир осознал, что́ с нами происходит, с каким преступлением и с какими преступниками он столкнулся. Насколько безнадежно наше положение. Победа союзников через год, два или три ничем нам не поможет... потому что нас уже не будет.

Они замолкли, словно давая мне время проникнуться всем ужасом этой истины. Молчал и я — что скажешь перед лицом величайшей трагедии!

— Но этого не может быть! — вдруг закричали они в один голос, потрясая кулаками, словно угрожая всем, кто находится по другую сторону баррикады. — Не может быть, чтобы весь мир, все демократические западные страны оставили нас вот так умирать! Если спасают американских и английских подданных, то почему нельзя организовать массовую эвакуацию пусть бы только еврейских детей?! Еврейских женщин?! Больных и стариков?! Почему союзники не предложат обменять их на пленных? Или на деньги? Почему не хотят выкупить жизни хоть нескольких тысяч польских евреев, чтобы было кому продолжить род?

— Но как? Как это сделать? Разве можно давать деньги врагу? Обменивать мирное население на немецких военнопленных? Гитлер тут же пошлет их на фронт! Это противоречит всем принципам ведения войны!

— Как всегда! Мы только и слышим: "противоречит принципам", "противоречит стратегии"! А нельзя ли приспособить стратегию к реальным условиям? Условия диктует Гитлер. Разве мир не видит его "стратегию"? Почему же он ее принимает?

Ответа я не знал. Точнее, не хотел знать. И только спросил:

— Вы хотите что-нибудь передать еврейским лидерам в Англии и Америке? Возможно, я увижусь и с ними. Наверняка у них есть свои соображения о ходе войны. Могу я стать для них вашим представителем?

Бундовец подошел ко мне и с такой силой сжал плечо, что мне стало больно:

— Скажите им, что о политике и дипломатии пора забыть. Скажите, что надо потрясти весь мир до основанья, чтобы он наконец проснулся! Скажите, что они должны найти в себе силы и мужество пойти на жертвы, соизмеримые по тяжести с муками, которые терпит наш гибнущий народ. Они не понимают. Цели и средства немцев не имеют прецедентов в истории. Реакция демократических стран тоже должна быть беспрецедентной, они должны прибегнуть к небывалым способам противодействия. Иначе их победа будет неполной, только военной — немцы успеют довести до конца свою разрушительную программу. — Он замолчал, отпустил мое плечо и через мгновение продолжил, но уже не так порывисто, взвешивая каждое слово: — Скажите им, что они должны связаться с влиятельными лицами и органами власти в Англии и Америке. Пусть потребуют твердых обещаний, что будут предприняты серьезные меры для спасения еврейского народа. А чтобы вырвать такие обещания, пусть устраивают голодовки в публичных местах, пусть умрут мучительной смертью на глазах всего мира. Может, хоть это разбудит общественное сознание.

Меня прошиб холодный пот. Я хотел встать, но сионист жестом удержал меня:

— Еще одно обстоятельство. Мы не хотели посвящать вас в это, но при нынешнем положении уже не имеет смысла скрывать. Мы требуем от наших заграничных братьев решительных шагов и жертв вовсе не из жестокости. Мы разделим с ними эти жертвы. Варшавское гетто обречено, но долгой мучительной смерти мы предпочтем смерть в бою. Мы объявим войну Германии — заведомо безнадежную, какой еще не бывало на свете.

Тут резко встал бундовец — видимо, его товарищ сказал что-то лишнее.

— Мы действительно собираемся организовать оборону гетто, — проговорил он очень медленно. — Не потому, что верим в успех, а чтобы весь мир увидел эту неравную борьбу и чтобы это послужило ему укором и примером. Мы ведем переговоры с командованием Армии Крайовой о получении необходимого оружия. И если получим, то в ближайшие дни немцев ждет кровавый сюрприз[1].

— Вот тогда и посмотрим, — заключил сионист, — могут ли евреи не только страдать и погибать, как повелел Гитлер, но умирать с оружием в руках.

1. С 19 апреля по 12 мая 1943 г. в варшавском гетто произошло героическое вооруженное восстание, подавленное войсками СС. Около 13 000 повстанцев погибли во время обороны гетто, 15 000 оставшихся евреев были отправлены в Треблинку. Спастись удалось немногим.

Через два дня я отправился в варшавское гетто в сопровождении лидера Бунда и одного бойца еврейского сопротивления. Разумеется, немцы выбрали для гетто самый нищий район города. Убогие дома в два-три этажа. Узкие, плохо вымощенные улочки. Еще в сентябре 1939 года немецкие бомбы пробили большие бреши в рядах трущоб — там и тут попадались горы обломков. Это гиблое место, откуда вывезли всех "арийцев", обнесли кирпичной стеной высотою около трех метров и согнали сюда более четырехсот тысяч евреев.

На мне была потрепанная одежда и кепка, надвинутая до самых глаз. Я старался казаться как можно меньше ростом. Рядом со мной шли двое типичных местных обитателей — в лохмотьях и еле живые от голода. Мы проникли в гетто через тайный ход.

Снаружи почти вдоль всей стены гетто широкой полосой тянулся пустырь. Один из стоявших там домов был построен так, что входили в него с арийской стороны, а дверь одного из подвалов вела прямо в гетто. Этот дом на Мурановской улице позволял многим евреям поддерживать связь с внешним миром. Если соблюдать осторожность и хорошо ориентироваться в подвальном лабиринте, это было сравнительно легко. Дом, точно мифическая река Стикс, отделял мир живых от мира мертвых. Теперь, когда варшавского гетто больше нет, когда все оно, как и обещали мои друзья, разрушено во время героической обороны, я могу рассказывать об этом доме и его подвалах, ни на кого не навлекая опасности, тем более что проход больше ни для чего не нужен.

Надо ли описывать варшавское гетто после всего, что уже о нем сказано? Что это было — кладбище? Нет, поскольку жизнь в телах здешних обитателей еще теплилась — они двигались или даже лихорадочно метались, но ничего человеческого, кроме кожи, глаз да голоса, в этих ходячих скелетах не осталось. Всюду голод, страдания, смрад разлагающихся трупов, душераздирающие стоны умирающих детей, вопль народа, изнемогающего в отчаянной, обреченной на поражение борьбе за жизнь.

Проникнуть за стену значило попасть в другой мир — даже в самом страшном сне не могло бы привидеться ничего подобного. Нигде ни метра свободного пространства. Пока мы с трудом пробирались по грязи среди развалин, вокруг нас сновали в поисках чего-то или кого-то тени, когда-то бывшие мужчинами и женщинами, с горящими голодными глазами.

Казалось, всё и вся тут находится в постоянном движении. Вот старик с остекленевшими глазами прислонился к стене, но продолжает трястись, словно какая-то посторон-

няя сила управляет его телом. Названия улиц, лавок и учреждений написаны старинными еврейскими буквами. Делать надписи на немецком и польском языках внутри гетто запрещалось, из-за этого многие жители не могли прочитать таблички и вывески. Время от времени встречались упитанные немецкие полицейские, которые в толпе исхудалых людей казались распухшими. Каждый раз при виде одного из них мы ускоряли шаг или переходили на другую сторону, как будто боялись заразиться.

На нашем пути попалось жалкое подобие скверика: относительно чистый пятачок, где чудом уцелели с полдюжины деревьев почти без листьев и островок зеленой травы. Тут было полным-полно народу. На скамейках тесно сидели матери, кормящие грудью чахлых младенцев. Дети постарше, у которых можно было пересчитать все кости, играли, сбившись в кучку.

— Играют перед смертью, — сказал мой спутник слева сдавленным голосом.

— Да эти дети вовсе не играют! — вырвалось у меня. — Они только делают вид.

Вдруг мы услышали мерный звук шагов. К нам приближалась группа молодых парней. Они шли строем по середине улицы, под охраной полицейских. Одежда на них была грязная и драная, но сами они выглядели не такими хилыми и голодными, как все остальные. Однако, хоть и более здоровые на вид, они походили на роботов. Шли деревянным шагом, с застывшими от усталости лицами, уставившись блестящими глазами прямо перед собой и словно не видя ничего вокруг.

— Этим повезло, — сказал бундовец. — Немцы сочли, что они еще могут быть полезными — чинить дороги и железнодорожные пути. Пока у них хватает сил работать, их не трогают. Все им завидуют. Нам удалось спасти сотни людей: мы достали им поддельные документы, удостоверяющие, что раньше они занимались чем-то похожим. Но долго это не продлится.

По пути мы видели множество трупов, они валялись на земле, раздетые догола.

— Что это значит? — спросил я у нашего проводника. — Почему они голые?

— Когда еврей умирает, — ответил он, — родственники раздевают его, а тело выбрасывают на улицу. Чтобы его похоронить, пришлось бы платить немцам. А цена так велика, что это никому тут не по карману. Ну, а одежда может пригодиться. Каждая тряпка на счету.

Меня пробрала дрожь. На ум пришли слова, которые я часто слышал, но никогда прежде до конца не понимал: Ecce homo — се человек.

Тут я заметил старика, который шел, шатаясь и держась за стены, чтобы не упасть, и сказал:

— Что-то совсем не видно стариков. Они что, целый день сидят по домам?

Ответ прозвучал так, словно голос проводника исходил из могилы:

— Просто их больше нет!.. Их увезли в Треблинку! Может, они уже на небе? Немцы народ практичный. Тех, у кого еще осталась физическая сила, используют на принудительных работах. Остальных планомерно уничтожают. Сначала больных и стариков, потом неработоспособных, потом тех, чьи профессии не имеют прямого отношения к военным нуждам, и, наконец, тех, кто сейчас работает на заводах и ремонте дорог. А в последнюю очередь — евреев-полицейских, которые губят соплеменников, надеясь спасти свою шкуру. Но всех, всех нас ждет одно и то же! Всех отправят на смерть!

Он говорил глухо и бесстрастно.

Внезапно откуда-то донеслись крики, и вокруг началась паника, женщины в скверике хватали детей и бежали к ближайшим домам.

Спутники потянули меня за руки. Я не видел и не понимал, что происходит. Со страху подумал: может, меня разоблачили? Меня затолкали в первый же попавшийся подъезд.

— Быстро, быстро! Вы должны это видеть! И рассказать всему миру! Скорей!

Мы взбежали на последний этаж. Я услышал выстрел. Мои товарищи постучали в одну из дверей. Дверь приоткрылась, показалось бледное, изможденное лицо.

— Ваши окна выходят на улицу? — спросил бундовец.

— Нет, во двор. А что?

Бундовец с досадой захлопнул дверь и принялся кулаком колотить в противоположную. Открыл какой-то мальчик. Бундовец отпихнул его, так что тот, испугавшись, с криком отбежал назад, в комнату. Меня подтолкнули к окну и велели смотреть на улицу сквозь занавеску.

— Сейчас вы кое-что увидите. Охоту. Не увидь вы этого собственными глазами, ни за что бы не поверили.

И я увидел. Посреди улицы стояли двое юнцов в форме гитлерюгенда. Оба без головного убора — светлые волосы блестели на солнце. Круглолицые, румяные, голубоглазые — воплощение бодрости и здоровья. Они смеялись, болтали,

шутливо пихали друг друга — им было весело. Младший вынул из бокового кармана револьвер, и только тогда до меня дошло, в чем дело. Жадно осматриваясь, как мальчишка на ярмарке, юнец выискивал глазами цель.

Я проследил за его взглядом. Улица была пуста. Юнец смотрел куда-то вне моего поля зрения. Вот он поднял руку, тщательно прицелился. Раздался выстрел, звон разбитого стекла и чей-то предсмертный вопль.

Стрелявший радостно вскрикнул. Приятель похлопал его по плечу и что-то сказал — видимо, поздравил с удачей. Они еще немного постояли, улыбаясь довольно и нагло. А потом под ручку зашагали прочь, точно возвращались со спортивного соревнования.

Я замер, приникнув к стеклу, от ужаса у меня отнялись ноги и язык — я не мог сделать ни шагу, не мог произнести ни слова. В комнате стояла тишина. И мне казалось, что малейший шорох, малейшее движение способны спровоцировать новую сцену, подобную той, что только что разыгралась на моих глазах.

Я стоял, потеряв всякое представление о времени, пока кто-то сзади не тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Это была хозяйка квартиры, в тусклом свете ее исхудавшее лицо казалось белым как мел. Она заговорила, выразительно жестикулируя:

— Вы пришли на нас посмотреть? Это никому не нужно! Уходите. Бегите. Не мучайте себя больше.

Оба моих спутника неподвижно сидели на колченогой кровати, обхватив голову руками. Я подошел к ним и сказал, с трудом ворочая языком:

— Пошли. Уведите меня. Я страшно устал. Больше не могу. Я еще приду в другой раз.

Они встали, не говоря ни слова. Так же молча мы спустились по лестнице. На улице я едва не пустился бегом и так, быстрым шагом, дошел до самого выхода из гетто. Спешить было некуда, но я испытывал желание вдохнуть чистого воздуха, попить свежей воды, а здесь все вокруг казалось зараженным гниением и смертью. Я старался ни к чему не притрагиваться. И даже дыхание сдерживал. Предложи мне кто-нибудь в этом мертвом городе стакан воды — я отказался бы, даже если бы умирал от жажды. В подвале на Мурановской мы переоделись, а потом бундовец и я вернулись на арийскую сторону, а наш провожатый остался.

Через два дня я снова отправился в гетто и три часа с теми же спутниками ходил по улицам этого ада, чтобы детально все запомнить. Я собственными глазами видел смерть ре-

бенка, агонию старика, видел, как евреи-полицейские избивали дубинками старуху. Перед самым уходом из "запретного квартала" мы зашли в одну квартиру попить воды. Пожилую хозяйку, видимо, предупредили о нашем приходе. Она не жаловалась, не плакала. А воду подала мне в хрустальном бокале — возможно, это был последний ценный предмет, который у нее оставался.

О том, что видел в гетто, я рассказал в Англии и Соединенных Штатах, довел это до сведения крупных государственных деятелей. Разговаривал с еврейскими лидерами в Европе и Америке. Поведал все нескольким писателям с мировой славой: Герберту Уэллсу, Артуру Кестлеру, членам британского и американского Пен-клубов, чтобы они пересказали это с большей силой и талантом, чем я.

В Лондоне, по прошествии пяти недель, заполненных встречами и докладами, так что я был занят с девяти утра до двенадцати ночи, мне наконец сообщили, что меня желает видеть Шмуэль Зигельбойм, лидер партии Бунд за границей и член Национального совета нашего правительства.

До 1940 года он оставался в Польше и работал в еврейском подполье. Входил в совет варшавской еврейской общины, и одно время, насколько я знаю, немцы держали его в заложниках. А потом он уехал в Лондон и был уполномочен Бундом представлять в польском правительстве в изгнании еврейских социалистов.

Встреча была назначена на 2 декабря 1942 года в Стреттон-хаусе, недалеко от Пиккадилли, в помещении польского министерства внутренних дел. Это огромное здание, и я не без труда отыскал указанную мне комнату на пятом этаже. Зигельбойм ждал меня, сидя за простым письменным столом. Вид у него был утомленный. Типичный еврейский лидер, с пронзительным настороженным взглядом пролетария, поднявшегося до вершин власти. Должно быть, в молодости ему пришлось нелегко.

— Что вы хотите от меня узнать? — спросил я его.

— Все, что касается евреев, друг мой. Я сам еврей. Расскажите мне, что вам известно.

Я начал свой рассказ. Зигельбойм слушал внимательно, жадно, он подался ко мне, упираясь руками в колени и широко раскрыв глаза. Он хотел знать все до мельчайших подробностей: в каком состоянии были дома, как выглядели дети, что дословно сказала женщина, положившая руку мне на плечо после "охоты". Он спрашивал, какое у меня осталось впечатление от представителя Бунда: как он был одет, как

говорил, очень ли был взволнован? Попросил описать валяющиеся на улицах гетто трупы. Я старался, как мог, и к концу беседы выбился из сил. Зигельбойм, казалось, устал еще больше, глаза у него буквально вылезали из орбит. Пожимая мне на прощание руку, он посмотрел мне в глаза и сказал:

— Пан Карский, я сделаю все, чтобы помочь им. Все, что смогу. Выполню все, о чем они просят. Вы верите мне?

Я ответил довольно сухо и нетерпеливо. Все эти беседы и интервью меня уже так измотали!

— Конечно, верю. Не сомневаюсь, что вы сделаете все, что сможете. О Господи, каждый из нас делает все, что может!

В общем-то, я думал тогда, что Зигельбойм просто хвастает или обещает больше, чем может сделать. Я был раздражен. Он задал мне столько бесполезных вопросов... Верю ли я? Какая разница, верю я ему или нет! Я и сам не знал, чему верил, а чему — нет. Хватит уже мне докучать. У меня и своих забот по горло...

Прошло несколько месяцев, я жил в таком бешеном ритме, что и думать забыл о Зигельбойме. Но 13 марта 1943 года произошло событие, которое стало эпилогом нашей встречи. До самой смерти я буду помнить этот день. Я ненадолго присел отдохнуть у себя в номере на Долфин-сквер, как вдруг зазвонил телефон. Я не спешил отвечать и только после трех-четырех звонков неохотно снял трубку. Звонил чиновник из Стреттон-хауса, которого я знал:

— Пан Карский? Мне поручено сообщить вам, что Шмуэль Зигельбойм, член Польского национального совета и представитель Бунда в Лондоне, вчера покончил с собой. Он оставил письмо, в котором написал, что сделал все, что мог, чтобы помочь польским евреям, но ничего не вышло, что все его братья погибли и он присоединяется к ним. Он отравился газом.

Я повесил трубку.

В первый момент я ничего не почувствовал, но потом меня охватила невыносимая тоска, к которой примешивалось чувство вины. Мне показалось, что это я, пусть опосредованно и невольно, подписал смертный приговор Зигельбойму. Я подумал, что он мог счесть мой ответ на его последний вопрос холодным и черствым. До чего же тупым, циничным и жестоким стал я в своих суждениях, если не смог оценить, на какую самоотверженность способен такой человек, как Зигельбойм. Еще несколько дней после этого я чувствовал, что моя вера в себя и в наше дело сильно пошатнулась, и застав-

лял себя работать вдвое больше, чтобы прогнать эти непозволительные мысли.

С тех пор я часто думал о Шмуэле Зигельбойме, одной из самых трагических жертв страшной войны. Ведь он покончил с собой от полной беспросветности. Ушел из жизни по собственной воле, потеряв надежду. Многие ли смогут понять, что значит умереть так, как умер он, борясь за победу, которая, скорее всего, грядет, но ничего не изменит в судьбе истребленного народа, в исчезновении всего, что имело смысл для этого человека. Из всех смертей, которые я повидал за эту войну, смерть Зигельбойма — одна из самых впечатляющих: она показывает, каким жестоким и страшным стал наш мир, где люди и народы отделены друг от друга бездной равнодушия и эгоизма[1]. В нем царят враждебность и недоверие, и даже те, кто всеми силами борется за его улучшение, совершенно бессильны.

Глава XXX
Последний этап

Через несколько дней после второго посещения гетто бундовец нашел способ показать мне один из лагерей уничтожения для евреев.

Он находился неподалеку от деревни Белжец[2], примерно в ста шестидесяти километрах к востоку от Варшавы, и по всей Польше ходили о нем самые мрачные слухи. Говорили, что практически все евреи, которые попадали в этот лагерь, обречены на смерть. Только затем их туда и везли.

1. После встречи с Карским Зигельбойм лично обращался к Черчиллю и Рузвельту, выступал по английскому радио с призывом к общественности помочь польским евреям. 13 мая 1943 г., когда в Лондон пришло известие о гибели последних евреев восставшего варшавского гетто (там погибли его жена и сын), Зигельбойм покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой говорилось: "Моя смерть — выражение негодования и протеста против пассивности, с которой мир взирает на полное уничтожение еврейского народа и пассивно смиряется с этим <...>. Может быть, моя смерть поможет сломить стену равнодушия тех, кто еще может спасти остатки польского еврейства".

2. В Белжеце находился один из трех лагерей уничтожения (Белжец, Собибор, Треблинка), устроенных нацистами для приведения в исполнение плана полного уничтожения евреев на территории Польши. Лагерь существовал с 1939-го по 1943 г. За это время в нем было уничтожено более 600 000 евреев и около 2000 цыган.

Сам бундовец никогда там не был, но владел подробной информацией (которую получал, главным образом, от польских железнодорожников[1]) обо всем, что там происходило.

Мы выбрали день, на который была назначена казнь. Разузнать это не представляло большого труда, так как многие эстонцы, литовцы и украинцы, служившие в лагере охранниками под началом гестапо, одновременно работали на еврейские организации, не из гуманных или политических соображений, а за деньги. Предполагалось, что я надену форму одного из украинских охранников[2], у которого в тот день был выходной, и воспользуюсь его документами. Меня уверяли, что неразбериха и продажность в лагере так велики, что никто и не заметит подмены. К тому же операция была тщательно подготовлена. Я должен был войти в лагерь через ворота, охраняемые только немцами, — украинец легко распознал бы обман. А так — украинская форма сама по себе послужит пропуском, и никто меня, скорее всего, ни о чем не спросит. На всякий случай меня сопровождал еще один подкупленный украинец. При необходимости же, поскольку я говорю по-немецки, я смогу договориться с немецкими охранниками и заплатить им тоже.

План выглядел простым и надежным. Я, не колеблясь, принял его и ничуть не боялся, что меня схватят.

Рано утром в назначенный день я выехал с варшавского вокзала вместе с евреем-подпольщиком, работавшим за пределами гетто. Мы доехали поездом до Люблина. Там нас ждала деревенская телега. Крестьянин повез нас по проселочным дорогам, избегая оживленного шоссе, ведущего в Замосць. До Белжеца (точнее, до Избицы Любельской[3]) добрались в первом часу и сразу направились в условленное место, где первый украинец должен был передать мне свою

1. Служащие польских железных дорог были первыми, кто свидетельствовал о судьбе депортированных евреев. И в Белжеце, и в Треблинке некоторые из железнодорожников входили в ячейки сопротивления, именно они сообщали своим руководителям о том, что в лагеря прибывают составы, набитые людьми, но не доставляется еда для них. Ячейка в Замосци, подкупив лагерных охранников, узнала о существовании газовых камер и огромных рвов, где погребали трупы. Уже в июле 1942 г. эта информация была передана командованию Армии Крайовой и лондонскому правительству, однако никто не поверил, что она правдива.

2. В Белжеце служили эстонские охранники, но Карский пишет именно об украинцах.

3. Лагерь, в котором побывал Ян Карский, находился, как установлено польскими историками, в Избице Любельской, на полпути между Люблином и Белжецем, и примыкал к белжецкому лагерю. Сюда привозили узников, часть которых уничтожали на месте. Как описал Карский, остальных отвозили в Белжец, где функционировали газовые камеры.

форму. Это была бакалейная лавочка. Прежде ее хозяином был еврей, потом его убили, и теперь лавочку, с разрешения гестапо, держал местный крестьянин, разумеется, участник сопротивления. Он назвался Онышко.

Форма украинского охранника ждала меня, однако владелец ее, видимо из осторожности, решил не показываться мне на глаза. Будет лучше, верно подумал он, если, в случае чего, я бы не смог опознать и выдать его. Но экипировку передал мне всю целиком: брюки, сапоги, ремень, галстук и фуражку. Правда, документы дал не свои, а товарища, который, вроде бы, вернулся в родную деревню. Подозреваю, что на самом деле тот дезертировал, а документы продал — в Польше такое бывало сплошь и рядом. Форма и сапоги оказались мне в самый раз, а вот фуражка сползала на уши. Пришлось набить ее бумагой. Онышко на вопрос, как я выгляжу, ответил, что давно не видал такого типичного украинца.

Через час-другой явился охранник, который должен был провести меня в лагерь. Он свободно говорил по-польски. План оставался прежним: мы войдем через ворота, охраняемые двумя немцами. Они никогда не проверяют документы у украинцев, достаточно поприветствовать их и поздороваться по-немецки. На территории же мой провожатый отведет меня в такое место, откуда все видно. Мне останется только стоять и смотреть. А потом мы примкнем к группе охранников, покидающих лагерь, и выйдем вместе с ними. Общения с другими украинцами мне было велено избегать — они непременно поймут, что я "чужой".

Охранник критически оглядел меня и стал управлять мною, как куклой: заставил начистить сапоги, поправить галстук, затянуть ремень и сказал, что мне не хватает военной выправки. По его словам, немцы очень строго следили за внешним видом "своих литовцев, эстонцев и украинцев" и не терпели небрежности.

От лавочки до лагеря было километра два. Чтобы ни с кем не встретиться, мы пошли не по дороге, а по тропинке. Идти надо было минут двадцать, но уже за полкилометра до лагеря стали слышны команды, выстрелы и дикие вопли — чем дальше, тем отчетливее они доносились.

— В чем дело, что там творится? — спросил я.

— Евреям становится жарко, — усмехнулся мой спутник, явно довольный своей шуткой. Но, встретив мой суровый взгляд, видимо, удивился и пробурчал уже без всякого веселья: — Да ничего, все нормально, загрузили очередную порцию.

Больше я его не расспрашивал. Мы подходили все ближе, и крики звучали все громче, а иногда вдруг раздавался такой чудовищный вопль, что у меня шевелились волосы.

— Есть у этих людей хоть какой-нибудь шанс убежать? — спросил я, надеясь на положительный ответ.

— На малейшего, — ответил охранник, — попал сюда — пиши пропало.

— И что, совсем никак нельзя спастись, ни одному человеку?

— Ну... разве что кто-нибудь подсобит, — уклончиво сказал он.

— Кто же?

— Какой-нибудь охранник вроде меня. Только это большой риск. Если этого охранника поймают на том, что он спасает еврея, обоим конец.

Все же я раздразнил его, и он все приглядывался ко мне краем глаза. Я делал вид, что ничего не замечаю. Наконец он не выдержал и продолжал с намеком:

— Конечно, если этот еврей хорошо заплатит, то можно что-нибудь придумать. Хотя риск все равно остается!

— Да как же он заплатит? Ведь тут ни у кого нет денег!

— А кто говорит о них? Платят заранее. С ними, — он кивнул на лагерь, — никто и дела не имеет. Договариваются с кем-нибудь на воле. Вот с такими, как вы. Если ко мне придет человек и скажет, что завтра привезут такого-то еврея, я могу им заняться. Но при условии: деньжата вперед.

Что ж, он раскрыл свои карты.

— И вы уже кого-нибудь вот так спасали?

— Несколько человек. Не очень много. Можно бы и больше, — засмеялся он.

— А кроме вас, много еще таких, кто спасает евреев?

— Спасает? Да кому нужно их спасать? Это просто сделка.

Спорить не имело смысла — у него был свой взгляд на вещи. Он подробно излагал свои соображения, а я молчал. Заставить его изменить точку зрения было явно невозможно. Я смотрел на его грубоватое, но, в общем, довольно симпатичное лицо и думал, до какой же степени ожесточила его война. А ведь он был простым малым, самым обыкновенным, не таким уж хорошим, но и не слишком плохим. Судя по мозолистым рукам — крестьянином. Занимался до войны своим делом, был честным отцом семейства, ходил по воскресеньям в церковь. Теперь же, под влиянием гестапо и нацистских милостей, окруженный другими такими же, как он, ненасытными охотниками за наживой, превратился в настоящего мясника. Весь поглощенный торговлей и подсче-

том прибыли, он говорил хладнокровно, на языке профессионалов, будто колбасник о своем товаре.

— А вам-то самому что тут нужно? Зачем приехали? — делано безразличным тоном спросил он.

— Я тоже хочу спасать евреев. Разумеется, с вашей помощью.

— Без нас и не пытайтесь, не советую!

— Конечно. Без вас у меня ничего не получится. А вместе мы, глядишь, чего-нибудь добьемся.

— Как вам будут платить? Поштучно?

— А как вы посоветуете?

Он на миг задумался.

— На вашем месте, я бы брал поштучно. Оптом не так выгодно. Никогда не знаешь, на кого нарвешься и как его получше "ощипать". А тот, кто хочет вызволить кого-нибудь из близких, торговаться не будет. Нужно иметь, как они говорят, kiepele – по-нашему, мозги. Иначе ничего не заработаешь.

— Это верно, — согласился я.

— Ясное дело, верно! Смотрите же, договорились: половину — до, половину — после, и не вздумайте меня кинуть.

Я поклялся сдержать слово.

— Вы из Варшавы — там у вас все проще. Гетто под боком. Оттуда гораздо легче "спасать", — он хитро подмигнул.

— Зато и платят там меньше, — возразил я, а он пожаловался на каторжную работенку. Вокруг стоял жуткий смрад. Мы почти пришли, и я радовался, что избавлюсь от его болтовни.

Он спросил, как я думаю, скоро ли немцы выиграют войну, и, когда я ответил, что они, может, и вовсе не выиграют, ужасно удивился: это ж просто смешно, ведь все яснее ясного: Гитлер — колдун или сам черт, и никто никогда его не победит.

До лагеря оставалось меньше километра, когда опять раздались выстрелы и крики. Запахло нечистотами, усилился трупный смрад. Или мне почудилось? Во всяком случае, мой спутник, казалось, ничего не замечал и даже стал что-то напевать. Мы миновали перелесок из чахлых деревьев и вышли прямо к жуткому лагерю смерти, обители стонов и слез.

Это было плоское пространство размером около тысячи квадратных метров, обнесенное оградой из нескольких рядов колючей проволоки в два с половиной метра высотой. Изнутри по всему периметру, на расстоянии примерно в пятнадцать метров друг от друга, стояли охранники, вооруженные автоматами с примкнутыми штыками. Снаружи хо-

дили патрули — каждый охранял участок в полсотни метров. На самой территории лагеря стояло десятка полтора бараков, а между ними колыхалась плотная человеческая масса. Страшно было смотреть на это мельтешение истощенных грязных узников. Немцы и охранники прокладывали себе путь в толпе, раздавая направо и налево удары прикладом, с равнодушным, скучающим видом, как будто пастухи среди стада коров; для них это была обыденная, надоевшая работа.

Помимо двух главных ворот, в колючей проволоке было проделано еще несколько проходов, видимо, служебных. Каждый охраняли двое немцев. Мы приостановились, чтобы сосредоточиться. Слева, примерно в сотне метров, виднелась железная дорога, вернее, тупик. От лагеря к ней вел огороженный дощатыми щитами коридор, в конце которого стоял товарный поезд из трех десятков старых, грязных и пыльных вагонов.

Украинец проследил за моим взглядом и оживленно сказал:

— Это поезд, который скоро будут загружать. Вот увидите!

Мы подошли к служебному входу. Там стояли двое унтерофицеров, я расслышал обрывки немецкой речи и приостановился. Украинец подумал, что я заколебался, и торопливо шепнул, пихнув меня сзади:

— Пошли, пошли, не бойтесь, они увидят, что на вас эта форма, и даже не заглянут в документы.

Действительно, мы спокойно прошли, старательно поприветствовав немцев — они в ответ лениво шевельнули рукой, — и смешались с толпой заключенных.

— Идите за мной, — сказал мой провожатый. — Я покажу вам хорошее место.

Мы прошли мимо старика — он сидел прямо на земле, совершенно голый, и раскачивался взад-вперед. Глаза его лихорадочно блестели, он часто моргал. Никто вокруг не обращал на него внимания. Рядом со стариком корчился в спазмах и испуганно озирался мальчик в лохмотьях. Вокруг кишели, судорожно метались обезумевшие люди. Они размахивали руками, кричали, плевались, ругались. У них помутился рассудок от голода, жажды, истощения и страха. Судя по всему, их по три-четыре дня держали в лагере без куска хлеба и капли воды.

Всех их свозили из разных гетто. С собой разрешалось взять пять килограммов багажа. Большинство брали еду, одежду, одеяла и деньги или украшения, у кого они имелись. Но в поезде всё хоть сколько-нибудь ценное отбирали нем-

цы. Оставляли только самую плохонькую одежду и немного съестного. Те же, у кого ничего не было, умирали от голода.

И никакого порядка, везде царил хаос. Люди были не в состоянии хоть чем-то поделиться, помочь друг другу, теряли человеческий облик, в них оставался только простейший инстинкт самосохранения. Вдобавок ко всему, стояла холодная дождливая осень. В бараках могло поместиться не больше двух-трех тысяч человек, а с каждой партией прибывало пять с лишним тысяч. Это означало, что две-три тысячи мужчин, женщин и детей оставались мерзнуть под открытым небом.

Весь ужас того, что я увидел, не передать словами. Воздух был отравлен миазмами, воняло потом, гнилью, нечистотами. Чтобы добраться до нужного места, нам надо было пройти через весь лагерь. Это оказалось тяжелым испытанием. Приходилось буквально шагать по людям. Мой спутник пробирался сквозь толпу довольно ловко — ему было не привыкать. Я же каждый раз, когда наступал на человеческое тело, замирал, едва сдерживая тошноту, но украинец подталкивал меня.

Наконец мы остановились метрах в двадцати от выхода, через который евреев загоняли в вагоны. Тут и правда не было такой толкучки. Мне стало полегче. Охранник дал последние указания:

— Вы останетесь здесь, а я пошел. И помните: к другим охранникам не подходить! В случае чего — я вас не знаю. Ясно?

Я слабо кивнул, и он ушел. Почти полчаса я наблюдал чудовищное зрелище человеческих мук, подавляя желание убежать и с трудом убеждая себя, что я не принадлежу к числу заключенных. Еще следовало постоянно быть начеку и держаться подальше от украинских охранников, которые время от времени проходили мимо. Довольно долго они все так же спокойно расхаживали среди скопища умирающих, но в какой-то миг, точно сговорившись, застыли, глядя в сторону поезда.

К воротам подошли два немецких полицейских и здоровенного роста эсэсовец. По его команде тяжелые ворота медленно раскрылись. Выход из коридора был перекрыт двумя товарными вагонами, так что никто не смог бы бежать.

Эсэсовец повернулся к толпе евреев, широко расставил ноги, подбоченился и заорал на весь лагерь:

— Ruhe! Ruhe! Тишина! Тишина! Все евреи должны погрузиться в этот поезд! Он отвезет вас туда, где вы получите работу! Не толкайтесь, соблюдайте порядок! Кто начнет сеять панику — будет застрелен на месте!

Он надменно оглядел море несчастных жертв. Потом вдруг расхохотался, выхватил пистолет и несколько раз, не целясь, выстрелил в толпу. Тотчас раздался чей-то душераз-

дирающий крик. Ухмыльнувшись, эсэсовец вложил пистолет в кобуру и снова гаркнул:

— Alle Jüden, raus, raus![1]

Но еще несколько мгновений толпа оставалась на месте. Хотя в ней началась неописуемая давка: стоявшие в первых рядах пытались спастись от пуль и протиснуться вглубь, а задние их не пускали. Прогремели новые выстрелы — теперь с разных сторон: справа, слева и сзади. Тогда вся людская масса хлынула в узкий проход, едва не опрокинув деревянные щиты, однако двое полицейских, обеспечивавших ход операции, дабы усмирить самых ретивых, выстрелили прямо в лицо подбежавшим первыми евреям.

- Ordnung, Ordnung![2] — как бесноватый, орал эсэсовец.

— Тихо, тихо! — вторили ему двое охранников.

В конце концов, запуганные стрельбой несчастные люди устремились к вагонам и быстро заполнили оба.

Однако самое страшное мне еще предстояло увидеть. Проживи я сто лет — и то не забуду этого ужаса.

По военному уставу, товарный вагон вмещает в себя восемь лошадей или сорок человек. Максимум — сто, это если все без багажа и стоят буквально впритирку. Так вот, немцы установили норму — от ста двадцати до ста тридцати евреев в каждый вагон. Полицейские, орудуя то дулом, то прикладом автомата, втискивали людей в уже набитые битком вагоны. Обезумевшие от страха узники карабкались по спинам и головам товарищей. А те пытались сбросить их и заслоняли лицо. Трещали кости, раздавались надрывные крики.

Когда уже некуда было просунуть иголку, охранники наглухо закрыли двери вагонов с человеческим месивом и заперли на железные засовы.

Но и это еще не все. Заранее знаю: многие не поверят мне, подумают, что я преувеличиваю или выдумываю. Так вот, я клянусь, что говорю чистую правду. Других доказательств, вроде фотографий, у меня нет, но все было именно так, как я сейчас расскажу.

Полы в поезде были засыпаны густым слоем белого порошка — негашеной извести. Все знают, что бывает, если на негашеную известь попадает вода: смесь начинает шипеть и выделять огромное количество тепла.

В данном случае немцы использовали это вещество одновременно из практических соображений и из жестокости.

1. Все евреи, марш, марш! (*нем.*)
2. К порядку, к порядку! (*нем.*)

Влажная плоть при контакте с известью обезвоживается и обугливается. То есть люди, запертые в вагонах, будут медленно сгорать, так что останутся одни кости. Таким образом, исполнялось обещание Гитлера, данное в Варшаве в 1942 году, о том, что "по воле фюрера, евреи умрут мучительной смертью". Кроме того, благодаря извести, трупы не будут разлагаться и разносить заразу. Все просто, действенно и дешево.

На то, чтобы заполнить поезд, понадобилось три часа. Уже начало смеркаться, когда закрыли последний, сорок шестой, по моим подсчетам, вагон. Их оказалось вдвое больше, чем я думал. Весь состав, начиненный мучениками, трясся и голосил, будто заколдованный. На территории лагеря осталось лежать несколько десятков агонизирующих раненых. Полицейские с дымящимися револьверами ходили между ними и приканчивали по одному. В лагере теперь было тихо и спокойно. Тишину нарушали только нечеловеческие вопли, которые доносились из поезда. Потом и они прекратились, остался только сладковатый, тошнотворный запах крови — ею пропиталась земля.

Я знал от информаторов, что будет дальше с поездом. Его отгонят на сотню километров, остановят посреди поля и оставят там дня на три-четыре, пока смерть не охватит все, до последнего уголка. А затем сильные молодые евреи, под надежной охраной, вычистят вагоны, вытащат дымящиеся останки и сбросят в общую могилу. Они будут проделывать это каждый день, пока однажды сами не станут пассажирами поезда смерти. Весь цикл займет несколько дней. Потом лагерь снова понемногу наполнится, поезд вернется, и все повторится сначала.

Я стоял и смотрел вслед уже невидимому поезду, когда кто-то тронул меня за плечо. Это был мой украинский охранник.

— Проснитесь, — резко сказал он, — не стойте, разинув рот! Надо поскорее убираться, пока мы оба не попались. Давайте живо за мной!

С трудом соображая, что делаю, я поплелся за ним. Мы подошли к выходу. Мой провожатый показал на меня пальцем немецкому офицеру, тот сказал:

— Sehr gut, gehen sie[1].

И мы прошли.

1. Хорошо, проходите (*нем.*).

Сначала шли вместе, но очень скоро разошлись, и я чуть ли не бегом побежал к бакалейщику. В лавку я влетел, еле переводя дух, но на обеспокоенный взгляд хозяина ответил, что все в порядке. Поскорее стащил с себя форму, бросился в кухню и заперся на ключ. Хозяин встревожился еще больше. Как только я вышел из кухни, он ринулся туда сам и в ужасе закричал:

— Что случилось? Вся кухня залита водой!

— Мне надо было помыться, — ответил я. — Я был очень грязный.

— Оно и видно, — пробурчал он.

Я попросил разрешения отдохнуть в саду, без сил растянулся под деревом и мгновенно провалился в сон. А когда очнулся, окоченевший от холода, была уже ночь, светила луна. Шатаясь, я пошел в дом и рухнул на свободную кровать; хозяин спал, тотчас заснул и я.

Утром я проснулся с жуткой головной болью, которая от солнечного света, даже не такого уж яркого, еще усиливалась. Хозяин сказал, что я всю ночь метался. А стоило мне встать с постели, как началась неукротимая рвота. Она продолжалась весь день и всю ночь, под конец меня рвало какой-то кровянистой жидкостью. Хозяин перепугался, и я еле убедил его, что это незаразно. Перед сном я попросил у него водки, он принес бутылку, и я выхлестал два полных стакана, после чего опять заснул и проспал около полутора суток.

При следующем пробуждении голова болела меньше, и я смог проглотить немного пищи, но был еще очень слаб. Хозяин отвез меня на станцию и помог сесть в варшавский поезд.

Картины лагеря смерти навсегда останутся у меня перед глазами. Мне никогда не избавиться от них, и при одном воспоминании к горлу подступает рвота. Но еще больше, чем сами зрительные образы, меня мучает мысль о том, что такие чудовищные вещи вообще были возможны.

Жорж Перек
Думать / Классифицировать

Эссе

Перевод с французского Валерия Кислова

Заметки о том, что я пытаюсь делать[1]

Если попробовать определить то, что я пытаюсь делать с тех пор как начал писать, мне сразу представляется следующее: у меня нет двух похожих книг; я ни разу не старался повторить в последующей книге формулу, построение или манеру письма, которые были выработаны в предыдущей.

Это систематическое непостоянство не раз сбивало с толку некоторых критиков, озабоченных найти в книгах авторский "почерк" и, вне всякого сомнения, обескураживало кое-кого из читателей. Этим непостоянством я обязан определенной репутации, представляющей меня чуть ли не компьютером, эдакой машиной по производству текстов. Со своей стороны, я бы предпочел сравнение с крестьянином, который обрабатывает разные поля; на одном он выращивает свеклу, на другом — люцерну, на третьем — кукурузу и т. п. Точно так же написанные мною книги связаны с четырьмя различными областями, с четырьмя способами постижения, которые, возможно, в конце концов ставят один и тот же вопрос, но задают его с различных позиций, соответствующих, на мой взгляд, разным видам литературной работы.

Первый из этих способов постижения можно назвать "социологическим": как смотреть на повседневность? — он дал жизнь таким текстам, как "Вещи", "Простые пространства", "Попытка описания некоторых парижских мест", и стал импульсом для сотрудничества в коллективе журнала "Общее дело", объединенного вокруг Жана Дювиньё и Поля Вирильё. Второй — носит автобиографический характер: "W, или Воспоминание детства", "Темная лавка", "Я помню", "Места, где я спал" и т. д. Третий, игровой, отражает мою склонность к ограничениям, рекордам, "граммам", а также отсылает к работе,

© Editions du Seuil, 2003. Collection *La Librairie du XXI-e siècle*, sous la direction de Maurice Olender
© Валерий Кислов. Перевод, 2012

1. Notes sur ce que je cherche / Le Figaro, 8 décembre 1978, p. 28. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)

идею и приемы которой мне подсказали исследования УЛИПО[1]: палиндромы, липограммы, панграммы, анаграммы, изограммы, акростихи, кроссворды, и т. д. И, наконец, четвертый относится к романическим историям, он выявляет мое пристрастие к приключениям и перипетиям, мое желание писать книги, которые читались бы с упоением, лежа на диване; "Жизнь способ употребления" — типичный тому пример.

Это разделение несколько произвольно, оно могло бы быть менее категоричным: наверное, ни в одной книге мне не удалось избежать некоей автобиографической маркировки (например, в текущую главу вставляется аллюзия на событие, происшедшее со мной в тот же день); ни одна моя книга не обходится и без того, чтобы я не обратился — пусть даже чисто символически — к тем или иным ограничениям и структурам УЛИПО, даже если вышеупомянутые структуры и ограничения меня совершенно ни в чем не ограничивают.

За этими четырьмя полюсами, определяющими четыре направления моей работы, — окружающий меня мир, моя собственная история, язык, вымысел, — мои писательские устремления, как мне представляется, могли бы свестись к следующей установке: пройти всю современную литературу, причем без ощущения, что идешь в обратную сторону и шагаешь по своим собственным следам, а еще написать все, что сегодняшний человек способен написать: книги толстые и тонкие, романы и поэмы, драмы, оперные либретто, детективы, романы приключенческие и фантастические, сериалы, книги для детей...

Мне всегда неловко говорить о своей работе абстрактно, теоретически; даже если то, что я делаю, кажется результатом уже давно продуманной программы, долгосрочного проекта, мне представляется, что я обретаю — и испытываю — свое движение по ходу и на ходу: последовательность моих книг рождает во мне порой успокаивающее, порой неспокойное ощущение (поскольку оно всегда связано с "книгой грядущей", с незавершенностью, указывающей на невысказываемость, к чему, впрочем, безнадежно сводится всякое желание писать), ощущение того, что они проходят путь, организуют пространство, отмечают маршрут на ощупь, описывают пункт за пунктом все стадии поисков, относительно которых я не смог бы ответить "зачем", но могу лишь пояснить "как": я смутно чувствую, что написанные мною книги, обретая свой смысл, вписываются в об-

1. УЛИПО (*франц.* OULIPO — Ouvroir de littérature potentielle) — Цех Потенциальной Литературы. Объединение писателей и математиков, созданное в Париже в 1960 г. математиком Франсуа Ле Лионне и писателем Раймоном Кено. Они ставили своей целью исследование языка и его возможностей путем литературных экспериментов наряду с теоретическим осмыслением, близким к точным наукам. В УЛИПО входили литераторы Жорж Перек, Итало Кальвино, Жак Рубо, художник Марсель Дюшан и др.

щий образ литературы, который я сам для себя и создаю, но мне никогда не удастся зафиксировать этот образ в точности, он для меня – нечто запредельное письму, некий вопрос "почему я пишу", на который я способен ответить лишь тем, что пишу, беспрестанно откладывая тот самый миг, когда – при прерывании письма – этот образ станет зримым подобно неминуемо разгадываемой головоломке.

О *некоторых случаях употребления глагола "жить"*[1]

Проходя перед домом, в котором я живу, я могу сказать "я живу здесь" или, точнее, "я живу на втором этаже, в глубине двора", а если мне захочется придать своему утверждению более официальный характер, то я могу сказать "я живу в глубине двора, вход С, дверь напротив".

Находясь на своей улице, я могу сказать "я живу там, в тринадцатом", или "я живу в доме номер 13", или "я живу на другом конце улицы", или "я живу рядом с пиццерией".

Если кто-то в Париже спросит у меня, где я живу, у меня появляется выбор между доброй дюжиной ответов. Я мог бы сказать "я живу на улице Линне" лишь тому, кто знает улицу Линне наверняка; в большинстве случаев мне пришлось бы уточнять географическое положение вышеназванной улицы. Например: "я живу на улице Линне, рядом с клиникой Сент-Илэр" (которая хорошо известна таксистам), или "я живу на улице Линне, в районе Жюссьё", или "я живу на улице Линне около университета", или же "я живу на улице Линне вблизи Сада растений", а еще "я живу на улице Линне, недалеко от мечети". В особых случаях я мог бы сказать "я живу в пятом", или "я живу в пятом округе", или "я живу в Латинском квартале", или даже "я живу на левом берегу".

Неважно, где во Франции (если уж не в самом Париже и близких пригородах), меня, наверное, поймут, если я скажу "я живу в Париже" или "я проживаю в Париже" (между этими двумя формулировками есть разница, но какая?). Я мог бы еще сказать "я живу в столице" (кажется, я ни разу так не говорил), и ничто не мешает мне вообразить, что я мог бы также сказать "я живу в Городе просвещения", или "я живу в городе, который некогда назывался Лютецией", хотя это непохоже на указание адреса, а напоминает начало какого-нибудь романа. Зато я серьезно рискую оказаться непонятым, если скажу что-нибудь вроде "я живу в точке с координатами 48°50' северной широты и 2°20' восточной долготы" или "я живу в 890 километрах от Берлина, 2600 километрах от Константинополя и 1444 километрах от Мадрида".

Если бы я жил в Вальбонне, я мог бы сказать "я живу на

1. De quelques emplois du verbe habiter // *Construire pour habiter*, Paris: L'Equerre-Plan Construction, 1981, pp. 4–5.

Лазурном берегу", или "я живу рядом с Антиб". Но, живя в самом Париже, я не могу сказать "я живу в парижском регионе", "я живу в парижском бассейне" или даже "я живу в департаменте Сены".

Не очень хорошо представляю себе, при каких обстоятельствах было бы уместно сказать "я живу к северу от Луары".

"Я живу во Франции" или "я проживаю во Франции": подобную информацию я мог бы выдать из любой точки, расположенной вне "Шестиугольника"[1], даже если я официально нахожусь во Франции (например, в одной из заморских территорий); и лишь в шутку я мог бы сказать "я живу в Шестиугольнике"; зато, если бы я был корсиканцем, живущим в Ницце, или обитателем острова Ре, живущим в Ла-Рошели, я мог бы запросто сказать "я живу на материке".

"Я живу в Европе": подобная информация могла бы заинтересовать американца, которого я встретил бы, например, в японском посольстве Канберры. "Oh, you live in Europe?" — повторил бы он, а мне, наверное, пришлось бы уточнить: "I am here only for a few hours (days, weeks, months)"[2].

"Я живу на планете Земля". Представится ли мне когда-нибудь возможность сказать это кому-то? Если это будет пришелец "контакта третьей степени"[1], спустившийся в наш бренный мир, то он узнает это и без меня. А если я окажусь где-нибудь в районе Арктура или KX1809B1, то мне наверняка придется уточнить: "я живу на одной (впрочем, единственной обитаемой) из планет солнечной системы, третьей по мере увеличения расстояния от Солнца", или "я живу на одной из планет одной из самых молодых желтых звезд-карликов, расположенных с краю не очень значительной галактики, совершенно произвольно именуемой Млечным Путем". И будет приблизительно один шанс из ста тысяч миллионов миллиардов (то есть всего лишь 1020), что мне ответят: "Ах да, Земля..."

Заметки о предметах, находящихся на моем письменном столе[2]

На моем письменном столе много предметов. Самый старый, наверное — моя ручка; самый молодой — маленькая круглая пепельница, которую я купил на прошлой неделе; она белая, керамическая, на ней изображен памятник жертвам, павшим в Бейруте (полагаю, во время войны 14 года, а не той, которая только что разразилась).

1. Контур Франции напоминает правильный шестиугольник (гексагон).
2. "Правда, вы живете в Европе?" ... "Я остановился здесь на несколько часов (дней, недель, месяцев)" (*англ.*).

1. "Близкие контакты третьей степени" — научно-фантастический фильм С. Спилберга (1978).
2. Notes concernant les objets qui sont sur ma table de travail // Les Nouvelles littéraires, 26 février 1976, n° 2521, p. 17.

Я провожу по многу часов в день за своим письменным столом. Иногда мне хочется, чтобы он был пуст насколько это возможно. Но чаще всего мне нравится, когда он завален почти до предела. Сам стол состоит из стеклянной столешницы — метр сорок в длину, семьдесят сантиметров в ширину, — которая закреплена на металлических подставках. Его устойчивость далеко не совершенна, и, в общем-то, не так уж и плохо, что он нагружен или даже перегружен: тяжесть лежащих на столе предметов делает его устойчивым.

Свой письменный стол я довольно часто привожу в порядок. Это сводится к тому, что я убираю с него все предметы, чтобы потом по одному вернуть их на место. Я вытираю стеклянную столешницу тряпкой (иногда смоченной специальным составом) и делаю то же самое с каждым предметом. Проблема заключается в том, чтобы решить, должен ли тот или иной предмет оставаться на столе (затем предстоит найти ему место, но это обычно несложно).

Подобное обустройство моей территории редко происходит ни с того ни с сего. Чаще всего оно совпадает с началом или завершением определенной работы; напрашивается в такие смутные дни, когда я сам не очень хорошо представляю, за что и как браться, и хватаюсь лишь за действия, маскирующие отступление: разбирать, классифицировать, упорядочивать. В такие моменты я мечтаю о чистой, нетронутой рабочей поверхности: каждая вещь на своем месте, ничего лишнего, ничего выступающего, все карандаши остро отточены (но зачем столько карандашей? — я бросил взгляд и увидел сразу шесть штук!), все бумаги сложены в стопки или, еще лучше, бумаг нет вовсе, одна лишь тетрадь, открытая на белой странице (мифические, безупречно гладкие столы президентов и генеральных директоров фирм; один из таких столов мне как-то довелось рассмотреть: это была маленькая стальная крепость, нашпигованная электронными или претендующими на это приборами, которые появлялись и исчезали при нажатии клавиш на огромной панели управления...).

Позднее, когда моя работа продвигается или буксует, мой письменный стол загромождается предметами, собранными здесь иногда по чистой случайности (секатор, складной метр) или в силу мимолетной необходимости (кофейная чашка). Некоторые предметы пробудут здесь несколько минут, другие несколько дней, третьи, попав сюда вроде бы беспричинно, пребывают здесь постоянно. Речь идет не только о предметах, напрямую связанных с писательской работой (бумага, канцелярские принадлежности, книги); некоторые предметы соотносятся с действиями ежедневными (курить) и периодическими (нюхать табак, рисовать, есть конфеты, собирать пасьянс, решать головоломки), с навязчивыми и, возможно, суеверными идеями (ежедневно устанавливать дату на настольном крутящем-

ся календаре); их наличие объясняется не каким-то конкретным назначением, а, возможно, воспоминаниями, осязательным и зрительным удовольствием или всего лишь пристрастием к безделушкам (коробочки, камешки, галька, вазочка для одного цветка).

В общем, я мог бы сказать, что предметы, которые находятся на моем рабочем столе, находятся там потому, что я хочу, чтобы они там находились. Это нельзя объяснить только их назначением или моей небрежностью: например, на моем письменном столе нет тюбика с клеем; он лежит рядом в отдельной тумбочке с выдвижными ящиками: я положил его туда сразу, после того как им воспользовался; я мог бы оставить его на столе, но почти машинально убрал (я говорю "почти", потому что, описывая то, что находится на моем столе, я более внимательно отношусь к действиям, которые, сидя за ним, совершаю). Так, некоторые предметы, нужные для моей работы, отсутствуют или не всегда находятся на моем рабочем столе (клей, ножницы, липкая лента, чернильницы, степлер); другие же, не нужные сиюминутно (печать), служащие другим целям (пилочка для ногтей) или ненужные вовсе (аммонит), на нем все же лежат.

Каким-то образом эти предметы были выбраны и предпочтены другим. Например, очевидно, что на моем рабочем столе всегда будет стоять пепельница (если только я не брошу курить), но это не всегда будет одна и та же пепельница. Хотя одна и та же пепельница остается довольно долго; однажды, в силу причин, которые было бы, наверное, небезынтересно рассмотреть подробнее, я поставлю ее в другое место (например, около столика, на котором печатаю на машинке, или возле доски, на которой стоят мои словари, или на этажерку, или в другую комнату), а ее заменит другая пепельница (явное опровержение того, что я только что заявил: в настоящий момент на моем столе сразу три пепельницы, то есть на две больше, причем обе пусты; одна — недавно приобретенный памятник жертвам; другая — с очаровательным видом на крыши города Ингольштадт, поступившая в коллекцию только что; используемая в настоящий момент — черная, пластмассовая, с белой металлической крышкой с отверстиями. Глядя на эти пепельницы, описывая их, я замечаю, что они не соответствуют моим сиюминутным предпочтениям: "памятник жертвам" явно слишком маленький и призван служить во время еды, "Ингольштадт" слишком хрупкий, а в черной пепельнице с крышкой брошенные мной окурки очень долго тлеют...).

Лампа, сигаретница, ваза для одного цветка, пирофор[1], картонная коробочка с маленьки-

1. Комплект "химических", или бестёрочных (огнеопасных), спичек, применявшихся до распространения терочных (безопасных).

ми разноцветными карточками, большая инкрустированная перламутром чернильница из папье-маше, стеклянная подставка для карандашей, несколько камней, три точеные деревянные шкатулки, будильник, перекидной календарь, кусок свинца, большая коробка из-под сигар (без сигар, зато наполненная всякой мелочью), стальная спираль, в которую можно всунуть текущие письма, каменная рукоятка ножа, блокноты, тетради, отдельные листы, множество принадлежностей и аксессуаров для письма, большой бювар, несколько книг, стакан, заполненный карандашами, позолоченный деревянный ларчик (вроде бы, нет ничего проще, чем инвентаризация, но на самом деле это куда сложнее, чем может показаться: всегда что-то забывается, что-то хочется дописать и т. д., но перечень как раз и не требуется расписывать, и т. п. За редкими исключениями (Бютор) современное письмо утратило искусство перечисления: описи Рабле, переписи рыб по Линнею в "Двадцати тысячах лье под водой", списки исследующих Австралию географов в "Детях капитана Гранта"...).

Уже несколько лет я собираюсь рассказать историю некоторых предметов, находящихся на моем рабочем столе; скоро будет три года, как я написал начало; перечитывая его, я замечаю, что из семи описываемых мной предметов четыре по-прежнему находятся на моем рабочем столе (хотя за это время я переехал); два предмета сменились: я заменил один бювар на другой, очень похожий, но крупнее, а будильник на батарейках (чье обычное место, как я уже отмечал, на моей прикроватной тумбочке, где он и находится сегодня) — на будильник заводной; третий предмет вообще исчез с моего рабочего стола: это плексигласовый куб, состоящий из восьми кубиков, соединенных между собой таким образом, что он может принимать самые разные формы; это подарок Франсуа Ле Лионнэ, и теперь он находится в другой комнате, на полочке над батареей, рядом с другими головоломками и пазлами (один из них передо мной на столе: это двойной танграм, то есть два раза по семь белых и черных пластинок, которые могут образовывать почти бесконечное множество геометрических фигур).

Раньше у меня не было рабочего стола, я хочу сказать, не было стола специально для работы. И даже сегодня довольно часто мне доводится работать в каком-нибудь кафе; однако дома я очень редко работаю (пишу) не за своим письменным столом (например, я никогда не пишу, так сказать, на кровати), и мой письменный стол не служит ничему другому, кроме моей работы (в очередной раз, после написания этих слов, оказывается, что это не совсем верно: два-три раза в год, когда я устраиваю праздники, мой письменный стол освобождается от всего, накрывается бумажными скатертями — как и доска, на которой кипами сложены словари, — и я ставлю на него угощения).

Таким образом, в этот проект должно вписаться что-то вроде истории моих вкусов и пристрастий (их постоянство, эволюция, фазы). Точнее, это в очередной раз будет способом разметить мое пространство чуть окольным приближением к моей ежедневной практике, манерой рассказывать о моей работе, о моей истории, о моих интересах, усилием, направленным на то, чтобы уловить нечто, принадлежащее моему опыту не на уровне отдаленных соображений, но в сокровенности его появления.

Краткие заметки об искусстве и способе расставлять книги[1]

Любая библиотека[2] отвечает двойной потребности, которая зачастую оборачивается двойной манией: хранить некоторые вещи (книги) и расставлять их в соответствии с определенными правилами.

Как-то один мой приятель задумал ограничить свою библиотеку 361 книгой. Идея заключалась в следующем: начиная с энного количества книг, достигнуть, путем сложения или вычитания, количества K=361, призванного соответствовать если не идеальной, то, по крайней мере, достаточной библиотеке, и дать себе установку приобретать новую книгу X лишь после того, как будет изъята (подарена, выброшена, продана или устранена другим приемлемым способом) старая книга Z, чтобы таким образом общее количество книг K оставалось неизменным и равным 361:

$$K + X > 361 > K - Z.$$

Реализация этого увлекательного проекта натолкнулась на вполне ожидаемые препятствия, для преодоления которых были найдены соответствующие решения: сначала было решено считать, что один том — предположим, из серии "Плеяда" — приравнивался к одной (1) книге, даже если он включал в себя три (3) романа (поэтических сборника, эссе и т. п.); из этого следовало то, что три (3), или четыре (4), или энное количество (n) романов одного и того же автора приравнивались (имплицитно) к одному (1) тому этого автора, как еще не составленные, но в неминуемой перспективе составные части Полного собрания сочинений. Основываясь на этой логике, мы стали полагать, что какой-нибудь недавно приобретенный роман какого-нибудь англоязычного романиста второй половины XIX века

1. Notes brèves sur l'art et la manière de ranger ses livres / L'Humidité, printemps 1978, n°25, p. 35–38.

2. Библиотекой я называю собрание книг, составленное непрофессиональным читателем для личного пользования и собственного удовольствия. Это исключает коллекции библиофилов и подборки корешков по размеру, а также большинство специализированных библиотек (принадлежащих, например, научным сотрудникам), которые сталкиваются с теми же частными проблемами, что и публичные библиотеки. (*Прим. автора.*)

должен считаться не новым произведением *X*, а произведением *Z*, которое принадлежит составляемой серии: множеству *T* всех романов, написанных вышеупомянутым романистом (Бог знает, сколько их может быть!). Это никоим образом не изменяло начальный проект: мы лишь решили, что достаточная библиотека должна состоять в идеале не из 361 произведения, а из 361 автора, вне зависимости от того, сколько он написал: одну тонюсенькую брошюрку или столько, что хватило бы наполнить самосвал. Измененный принцип успешно действовал в течение нескольких лет, но вскоре оказалось, что у некоторых произведений — например, у рыцарских романов — нет автора или есть несколько авторов и что некоторых авторов — дадаистов, например, — невозможно разделить, автоматически не теряя при этом восемьдесят-девяносто процентов из того, что делает их интересными: так мы пришли к идее ограничить библиотеку 361 *темой* — слово расплывчатое, но расплывчаты и охватываемые им группы, — и это ограничение строго выполняло свою функцию вплоть до настоящего времени.

Таким образом, одна из основных проблем, с которой сталкивается человек, сохраняющий прочитанные или намеченные для будущего прочтения книги, — это проблема увеличения библиотеки. Не всем удается стать капитаном Немо:

> Свет перестал существовать для меня в тот день, когда "Наутилус" впервые погрузился в морские глубины. В тот день я в последний раз покупал книги, журналы, газеты. С того дня для меня человечество перестало мыслить, перестало творить[1].

Двенадцать тысяч идентично переплетенных томов капитана Немо были классифицированы раз и навсегда и так просто, что принципы этой классификации, как уточняет автор, неопределимы, во всяком случае, с точки зрения языка (это уточнение совершенно не связано с искусством составления библиотеки, оно лишь напоминает нам, что капитан Немо говорит с одинаковой легкостью на всех языках). Но для нас, по-прежнему имеющих дело с человечеством, которое упрямо продолжает мыслить, писать и, самое главное, публиковать, единственной насущной проблемой становится проблема увеличения наших библиотек: ибо очевидно, что вовсе не трудно хранить десять, двадцать или, скажем, сто книг; но если их 361, тысяча или три тысячи, и их число возрастает чуть ли не каждый день, то возникает проблема все эти книги сначала где-то разместить, затем суметь отыскать, когда по той или иной причине нам однажды захочется или понадобится их наконец-то прочитать, а то и перечитать.

Таким образом, проблема библиотек оказывается двойной проблемой: сначала —

1. Жюль Верн. 20000 лье под водой / Перевод Н. Яковлева, Е. Корш. // Собрание сочинений, т. 4. — М., 1956, с. 83.

проблемой пространства, затем — проблемой упорядочивания.

1. О *пространстве*

1.1. О*бщие положения*

Книги не разбрасывают, а собирают. Как все банки с вареньем составляют в один буфет, так и все книги держат в одном и том же месте или в нескольких, но одних и тех же местах. Вообще-то, желая сохранить книги, можно было бы их складывать в сундуки, уносить в подвал или на чердак, или задвигать вглубь шкафа, но обычно предпочитают держать их на виду.

На практике, книги чаще всего стоят рядом, вдоль стены или перегородки, на ровных, не слишком глубоких полках, параллельно закрепленных на не очень большом расстоянии друг от друга. Книги ставятся — как правило — вертикально и таким образом, чтобы название, напечатанное на корешке книги, было видно (иногда, как на витринах книжных магазинов, книга выставляется обложкой вперед, но в любом случае кажется непривычным, неприемлемым и почти всегда шокирующим, когда виден один лишь книжный обрез).

В современной меблировке библиотека — это угол: "библиотечный уголок". Чаще всего это стеллаж, который является составной частью "гостиного" гарнитура, куда также входят:

бар с откидной крышкой,

секретер с откидной крышкой,

шкаф для посуды с двумя дверцами,

подставка для музыкальной аппаратуры,

подставка для телевизора,

подставка для диапроектора,

сервант

и т. д.,

и который в каталогах изображен с двумя-тремя декоративными переплетами.

И все же на самом деле книги можно ставить почти где угодно.

1.2. П*омещения, в которых можно держать книги*

В прихожей,

в гостиной,

в спальне или спальнях,

в туалете.

На кухне держат, как правило, лишь книги одного рода, те самые, которые как раз и называют кулинарными книгами.

Крайне редко можно найти книги в ванной, хотя для многих это любимое место чтения. Влажность единодушно считается главной угрозой для сохранения печатных текстов. В крайнем случае, в ванной можно найти аптечный шкафчик с маленькой брошюркой под названием "Что делать до прибытия врача?"

1.3. М*еста в комнате, где можно размещать книги*

На полках каминов или радиаторов (следует все же

отметить, что со временем тепло может повредить книги),

между окнами,

в проеме заколоченной двери,

на ступеньках библиотечной лестницы, что делает невозможным использование библиотеки (шикарно, см. Ренан),

под окном,

в стеллажах "елочкой", которые делят комнату на две части (шикарно, еще эффектнее с растениями).

1.4. *Предметы, не являющиеся книгами, но часто встречающиеся в библиотеках*

Фотографии в позолоченных латунных рамках, маленькие гравюры, рисунки пером, засушенные цветы в бокалах, пирофоры, иногда с химическими (опасными) спичками, оловянные солдатики, фотография Эрнеста Ренана в его кабинете в Коллеж де Франс, почтовые открытки, кукольные глазки, шкатулки, пакетики с солью, перцем и горчицей авиакомпании "Люфтганза", весы для писем, крючки в форме "Х", шарики, ершики для табачных трубок, миниатюрные модели старинных автомобилей, разноцветные камешки, экс-вото[1], пружинки.

1. Различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания.

2. *Об упорядочивании*

В библиотеке, которую не упорядочивают, происходят неурядицы: на этом примере мне попытались объяснить, что такое энтропия, и я не раз проверял это на собственном опыте.

Сам по себе библиотечный беспорядок не страшен; что-то вроде того "в какой ящик я засунул носки?": нам кажется, что на подсознательном уровне мы помним, куда поставили ту или иную книгу; а если не знаем, то нам не составит труда быстро осмотреть все полки.

Этой апологии симпатичного беспорядка противопоставляется мелочное стремление индивидуального бюрократизма: каждая вещь на своем месте, каждое место для своей вещи и наоборот; между этими стремлениями — одно располагает к попустительству, анархическому добродушию, другое превозносит добродетели tabula rasa, эффективную бесчувственность генеральной уборки — мы так или иначе стараемся упорядочить свои книги; это утомительное занятие, настоящее испытание, которое, однако, чревато приятными неожиданностями, как, например, в случае с забытой, поскольку она уже давно не попадалась на глаза, и вновь обнаруженной книгой, которую — отложив на завтра то, что можно сделать сегодня, — вновь прочитывают взахлеб, лежа на диване.

2.1. *Способы расположения книг*

В алфавитном порядке,
по континентам или по странам,
по цвету,
по времени приобретения,
по времени публикации,
по размерам,
по жанрам,
по основным литературным периодам,
по языкам,
по читательским предпочтениям,
по переплетам,
по сериям.

Ни одна их этих классификаций, взятая в отдельности, не может удовлетворять нас полностью. На практике любая библиотека выстраивается из сочетания разных способов упорядочивания: их уравновешенность, сопротивляемость изменениям, устаревание и инерционность придают любой библиотеке неповторимый личностный характер.

Прежде всего, следует различать классификации постоянные и временные. Подразумевается, что постоянные классификации соблюдаются и в дальнейшем; временные классификации служат всего лишь несколько дней: время, пока найдется или вновь обретется окончательное место. Это могут быть самые разные книги: недавно приобретенные и пока еще не прочитанные; недавно прочитанные, но которые непонятно куда ставить и которые вы обязуетесь убрать при первой же "большой перестановке"; которые вы не дочитали и собираетесь убрать, как только завершите прерванное чтение; которыми вы какое-то время постоянно пользовались; которые вы доставали, чтобы найти справку или ссылку, но не успели убрать на место; которые нельзя убрать на полагающееся им место, потому что они принадлежат не вам и вы уже не раз обещали их вернуть и т. д.

Что касается меня, три четверти всех моих книг по-настоящему никогда не распределялись согласно классификации. Те, что не занимают окончательно временное место, занимают место временно окончательное, как это водится в УЛИПО. В ожидании лучшего порядка я их перемещаю из одной комнаты в другую, с одной этажерки на другую, из одной стопки в другую; иногда я часа по три ищу и не нахожу какую-то книгу, но зато порой испытываю удовольствие, оттого что обнаруживаю шесть или семь других, которые ее прекрасно заменяют.

2.2. *Книги, которые очень легко расположить*

Большие тома Жюля Верна в красных переплетах (будь то оригинальные издания "Этзель" или переиздание "Ашэт"), книги очень большие или очень маленькие, путеводители "Бедекер", книги редкие или считающиеся таковыми, книги переплетенные, тома из коллекции "Плеяда", "Презанс дю Фютюр", романы издательства "Минюи", серии ("Шанж", "Текст", "Ле Летр Нувель", "Ле Шмен"), журналы, когда их не меньше трех номеров, и т. п.

2.3. *Книги, которые не очень трудно расположить*

Книги о кино, будь то эссе о режиссерах, альбомы о звездах или сценарии фильмов; южно-американские романы, труды по этнологии, психоанализу, кулинарные книги (см. выше), справочники "боттэн" (возле телефона), книги немецких романтиков, книги серии "Que sais-je?" (вопрос, ставить ли все выпуски вместе или относить их к той области знаний, которую они затрагивают) и т. д.

2.4. *Книги, которые никак невозможно расположить*

Все остальные, например, журналы, представленные всего лишь одним номером, или "Русская кампания 1812 года" Клаузевица, в переводе с немецкого, капитана Бегэна, командира 31-го драгунского полка, по разрешению Генштаба, с картой (Paris: Librairie militaire R. Chapelot et Cie, 1900), или 6-я брошюрка 91-го тома (ноябрь 1976) "Publications of the modern Language Association of America" (PMLA) с программой 666 рабочих собраний ежегодного конгресса вышеуказанной ассоциации.

2.5. Подобно вавилонским библиотекарям Борхеса, выискивающим книгу, которая даст им ключ ко всем остальным книгам, мы колеблемся между иллюзией завершенности и головокружительным провалом неуловимости; во имя завершенности нам хочется верить, что существует единый порядок, способный незамедлительно привести нас к познанию; во имя неуловимости нам хочется думать, что порядок и беспорядок — два слова, означающие случай.

Возможно, и то и другое всего лишь уловки, обманки, призванные скрыть ветхость книг и систем.

Во всяком случае, вовсе не плохо, если, находясь между двумя этими полюсами, наша библиотека будет иногда служить еще и памяткой для нас, закутком для кошки и кладовкой для чего угодно.

Читать: социофизиологический очерк[1]

Нижеследующие страницы не более чем заметки: больше интуитивный, чем организованный набор разрозненных фактов, отсылающих лишь в исключительных случаях к определенным знаниям; они принадлежат скорее к тем плохо разграниченным областям, к тем оставленным под пар полям описательной этнологии, о которых Марсель Мосс упоминает в своем введении в "техники тела" (см. "Социология и антропология"[2]) и которые, будучи отложенными в

1. Lire: esquisse socio-physiologique // Esprit, janvier 1976, n°453, p. 9–20.
2. Marcel Mauss. Sociologie et Anthropologie. — Paris: P. U. F., 1950, p. 365 sq.

рубрику "разное", составляют жизненно необходимые зоны, о которых известно лишь то, что о них мало что известно, но где предположительно можно много что обнаружить, если обратить на них хоть какое-то внимание. Это факты заурядные, обойденные молчанием, оставшиеся в стороне, само собой разумеющиеся; однако они описывают нас, даже если мы, как нам кажется, можем обойтись без того, чтобы описывать их, гораздо острее и актуальнее, чем большая часть институтов и идеологий, которыми обычно кормятся социологи, они отсылают к истории нашего тела, к культуре, которая смоделировала наши движения и позы, к образованию, которое сформировало нашу моторику в не меньшей степени, чем нашу психическую деятельность. Мосс уточняет, что это затрагивает ходьбу и танец, бег и прыжки, виды отдыха, технику ношения и бросания, манеры поведения за столом и в кровати, знаки уважения, меры личной гигиены и т. д. Это относится и к чтению.

Чтение — это действие. Мне хотелось бы поговорить об этом действии и только о нем, о том, из чего оно складывается, что его окружает, а не о том, что именно оно производит (чтение, читаемый текст) и что ему предшествует (предпочтения написания, предпочтения издания, предпочтения печатания, предпочтения распространения и т. д.); в общем, нечто вроде экономики чтения и ее аспекты: эргологические (физиология, мышечная работа) и социоэкологические (пространственно-временное окружение).

Все современные критические школы уже несколько десятилетий делают акцент на том, как писать, на делании, на пойэсисе. Рассматривается не сакральная майевтика, не пойманное на лету вдохновение, а то, что выводится черным по белому, текстура текста, пропись, след, графическая буквальность, мышечная работа, пространственная организация письма, орудия письма (перо или кисточка, пишущая машинка), его носители (Вальмон Президентше де Турвель: "Даже стол, на котором я вам пишу, впервые для этого употребленный, превращается для меня в священный алтарь любви..."[1]), его коды (пунктуация, красные строки, реплики и т. д.), его автор (пишущий писатель, места и ритм его работы; те, что пишут в кафе, те, что работают ночью, те, что работают на заре, те, что работают по воскресеньям и т. д.).

Мне кажется, подобным образом следовало бы изучить и явление, происходящее вследствие этого производства: освоение текста читателем. Здесь следует рассматривать не воспринимаемую информацию, а восприятие информации на ее простейшем уровне, изучать то, что происходит, когда мы читаем — взгляд падает на строчки и перемещается, — а также все то, что сопровождает его перемещение; чте-

1. Шодерло де Лакло. Опасные связи / Перевод Н. Рыковой. — М.: Росмэн. 2002, с. 141.

ние вновь становится тем, чем оно было изначально: в результате движений тела, активизации некоторых мышц, различных комбинаций положения тела, последовательных операций, временных решений и всей совокупности стратегий, встроенных в континуум социальной жизни, мы не читаем невесть как, невесть когда, невесть где, даже если читаем невесть что.

I. Т*ело*

Г*лаза*

Мы читаем глазами[1]. То, что делают глаза, пока мы читаем, столь сложно, что это одновременно оказывается вне моей компетенции и выходит за рамки данной статьи. Из литературы, посвященной этому вопросу с начала века (Ярбус, Старк и др.), можно все же вынести простейшую, но основательную уверенность: глаза читают не букву за буквой, не слово за словом, не строку за строкой, а движутся скачками и останавливаются, с излишней настойчивостью рыская по всему полю чтения: непрерывная беглость размечается остановками, словно для того чтобы найти искомое, глаз должен беспокойно цепляться за страницу, не равномерно охватывать ее, как телезритель (на что мог бы указывать термин "охват"), а хвататься за нее произвольно, беспорядочно, многократно или, если угодно — поскольку наше описание уже стало глубоко метафоричным, — как голубь, клюющий землю в поисках хлебных крошек. Разумеется, этот образ несколько сомнителен и все же представляется мне характерным; я готов незамедлительно вывести из него то, что могло бы стать исходной точкой теории текста: читать — это прежде всего вычленять из текста означающие элементы, крошки смысла, что-то вроде ключевых слов, которые мы выявляем, сравниваем, обретаем. Именно убеждаясь в их наличии, мы знаем, что мы в тексте, мы его идентифицируем, мы его распознаем; этими ключевыми словами могут быть слова (например, в детективных романах и гораздо чаще в эротической и якобы эротической продукции), но ими могут быть и звучания (рифмы), виды форматирования страницы, строение фразы, типографические особенности (например, выделение курсивом некоторых *слов* в *чрезмерном* количестве современных художественных, критических и

1. Кроме слепых, которые читают пальцами. А также кроме тех, кому читают вслух: в русских романах — графиням с компаньонками, французским девушкам из приличных семей, разоренных французской революцией; в романах Эркман-Шатриана — безграмотным крестьянам, которые собираются вечерами (длинный деревянный стол, миски, кувшины, кошки у печи, собаки у двери) вокруг одного из них, а тот читает им письмо от раненного на фронте сына, газету, Библию или альманах; а еще бабушке и дедушке Мориса, к которым приходит Доде в тот момент, когда сиротка разбирает по складам жизнь святого Иринея: "Тут-же-два-льва-нане-го-на-бро-си-лись-и-рас-тер-зали". (*Прим.автора.*)

художественно-критических текстов), а иногда целые повествовательные куски (см. Жак Дюшато. Маргинальное прочтение Питера Чейни. – В сб. La Littérature potentielle. – Paris: Gallimard. – Idées, 1973).

Речь идет о том, что информационная теория называет узнаванием формы: выискивание соответствующих черт позволяет перейти от линейной последовательности букв, пробелов и знаков пунктуации, в виде которой сначала и представляется текст, к тому, что окажется его смыслом, после того как на разных уровнях чтения мы сумеем выявить синтаксическую связность, повествовательную организацию и то, что называется "стилем".

Если не брать в расчет самые известные простейшие, то есть лексические примеры (читать – это сразу же понимать, что слово *couvent* означает то, что делают курицы, когда яйцо снесено, или же монастырь[1], а *Fils Aymon* не то же самое, что *fils à coudre*[2]), я не знаю, с помощью каких экспериментальных наблюдений можно изучать эту работу узнавания; лично я могу похвастаться лишь отрицательными результатами: меня долго преследовало ощущение глубокой неудовлетворенности при чтении русских романов ("...после смерти Анны Михайловны Друбецкой овдовевший Борис Тимофеевич Измайлов попросил руки Катерины Львовны Борисич, но она предпочла ему Ивана Михайловича Васильева..."), а в пятнадцать лет мне захотелось разобрать пассажи из "Нескромных сокровищ", считавшиеся неприличными ("Saepe turgentem spumantemque admovit ori priapum, simulque appressis ad labia labiis, fellatrice me lingua perfricuit..."[1]).

Искусство текста могло бы основываться на игре между предсказуемым и непредсказуемым, между ожиданием и разочарованием, соучастием и удивлением: примером могли бы служить наличие филигранно манерных оборотов, небрежно осыпанных изысканно тривиальными или откровенно арготическими выражения-

1. Couvent (*франц.*) – форма 3 лица мн. ч. гл. *couver* (высиживать, сидеть на яйцах), но еще и сущ. couvent (женский монастырь).
2. Fils (*франц.*) – форма ед. и мн. ч. сущ. fils (сын), а также форма мн. ч. сущ. fil (нить). Fils Aymon – сыновья Эймона: речь идет о четырех сыновьях герцога Эймона (Рено, Гишаре, Аларе и Ришарде), владевших легендарным конем по кличке Байяр. Сыновья фигурируют во многих средневековых рыцарских романах; старший, Рено де Монтабан, упоминается в поэме "Неистовый Роланд" Л. Ариосто и "Хрониках" Ж. Фруассара //Французская семиотика: От структурализма к постмодернизму / Перевод Г. Косикова. – М.: ИГ "Прогресс", 2000, с. 50.

1. "Часто она подносила к устам возбужденный и фонтанирующий спермой член, равно как одновременно и я, прижав губы к губам, ласкал ее языком, занимаясь фелляцией" (*лат.*). – Из романа Дени Дидро "Нескромные сокровища" (1748), аллегорически изображающий Людовика XV в виде султана Мангогуля из Конго, который получает от духа Кукуфа волшебное кольцо, обладающее свойством заставлять вещать женские гениталии.

ми (Клодель, Лакан...), еще лучше, отрывок "что же я вас ничем не укостила, может, выбьете юрочку слипёра, лоточек пинца?" (Жан Тардье "Слово за слово") или метаморфозы, которые претерпевает фамилия персонажа Болукра в романе Раймона Кено "Праздник жизни" (Буленгра, Брелюга, Бролюга, Ботюга, Ботрюла, Бродюга, Бретога, Бютага, Брелога, Бретуйа, Бодрюга и т. п.)[1].

Искусство чтения — не только прочтения текста, но и, так сказать, считывания картины или прочитывания города — могло бы состоять в том, чтобы читать краем глаза, взирать на текст искоса (но здесь речь идет уже не о физиологическом аспекте чтения: как научить наружные мышцы глазного яблока "читать иначе"?).

Голос, губы

Шевелить губами при чтении считается неприличным. Нас учили читать, заставляя читать вслух; затем нам пришлось отучиться от этой скверной, как нам объяснили, привычки наверняка потому, что она выдает усердие, усилие.

Когда мы читаем, оказываются задействованы перстнечерпаловидные и перстнещитовидные мышцы, натягивающие и составляющие голосовые связки и голосовую щель.

Чтение остается неотделимым от губной мимики и голосовых действий (одни тексты следует шептать и нашептывать, другие — выкрикивать или чеканить).

Руки

Трудно читать не только слепым. Есть еще безрукие: они не могут переворачивать страницы.

Руки служат лишь для того, чтобы переворачивать страницы. Распространение книжного ширпотреба лишает сегодняшнего читателя двух огромных удовольствий: первое — разрезать страницы (если бы я был Стерном, я поместил бы здесь целую главу во славу разрезных ножей: от картонных, которые дарили в книжных магазинах всякий раз, когда покупалась какая-нибудь книга, до бамбуковых, каменных, стальных, в том числе ножей в виде кривой сабли [Тунис, Алжир, Марокко], шпаги матадора [Испания], меча самурая [Япония] и облаченных в кожзаменитель уродливых предметов, которые составляют с другими предметами того же типа [ножницы, подставка для ручек, стакан для карандашей, календарь, блокнот, подложка с бюваром и т. п.] то, что на-

1. Мне кажется, для уточнения и прояснения вышесказанного как нельзя лучше подходят две цитаты: первая — из книги "Чепуха в голове" Роджера Прайса: "Книга правильная (не путать с книгой правленой или не правленой) — это книга, в которой издатель вписал карандашом некое количество непристойностей"; вторая — из начала эссе "Нулевая степень письма": "*Эбер* не начинал ни одного номера своего 'Папаши Дюшена' без какого-нибудь ругательства вроде 'черт подери' или еще похлеще. Эти забористые словечки ничего не значили, зато служили опознавательным знаком". (*Прим. автора*).

зывается "настольным канцелярским набором"); второе, еще большее удовольствие, — начинать читать книгу, не разрезая страниц. Мы помним (ведь это было не так давно), что книги складывались таким образом, что каждые восемь страниц нужно было разрезать: сначала по верхнему краю, а затем, в два приема, по боковому. При таком чередовании восемь первых страниц могли читаться почти целиком без использования ножа; из восьми следующих можно было читать, соответственно, первую и последнюю, а чуть отгибая — четвертую и пятую. Но не больше. Так в тексте оказывались лакуны, которые заставляли читателя томиться в ожидании и уготавливали ему всякие сюрпризы.

Позы

Разумеется, выбор позы при чтении слишком связан с внешними условиями (которые я перечислю ниже), чтобы его можно было рассматривать обособленно. На эту тему могло бы получиться увлекательное исследование, неразрывно связанное с социологией тела, и приходится удивляться, что ни один социолог или антрополог до сих пор не удосужился за это взяться (несмотря на проект Марселя Мосса, о котором я уже упомянул в начале статьи). В отсутствие какого-либо систематического изучения, остается лишь набросать грубый перечень:

читать стоя (наилучший способ пользоваться словарем);

читать сидя, но сидячих положений очень много: ноги на полу, ноги выше сидения, тело откинуто назад (кресло, диван), локти на столе и т. д.;

читать лежа; лежа на спине; лежа на животе; лежа на боку и т. д.;

читать, сидя на коленях (дети, листающие книжку с картинками; японцы?);

читать, сидя на корточках (Марсель Мосс: "На мой взгляд, сидение на корточках — интересная поза, которую можно сохранить у ребенка. Самая большая ошибка — исправлять ее. Все человечество кроме нас ее сохранило");

читать на ходу. Мы сразу вспомним о прогуливающемся и читающем требник кюре. Но есть еще турист, который фланирует по незнакомому городу с картой в руке или проходит перед картинами в музее, читая их описание, предложенное путеводителем. А некоторые гуляют за городом с книгой в руке и громко читают вслух. Мне кажется, такое случается все реже.

II. Вокруг

> I have always been the sort of person who enjoys reading.
> When I have nothing else to do I read.
>
> Charlie Brown[1]

Можно очень грубо разделить чтение на две основные кате-

1. "Я всегда относился к тем, кто любит чтение. Когда мне нечего делать, я читаю". Чарли Браун (*англ.*).

гории: то, что совмещается с другим занятием (активным или пассивным), и то, что несовместимо ни с каким другим. Первое приличествовало бы господину, который перелистывает журнал в очереди к стоматологу; второе подошло бы к тому же самому господину, который возвращается домой, удовлетворенный своими зубами, садится за стол и принимается читать "Воспоминания о посольстве в Китай" маркиза де Можеса.

Итак, случается, что мы читаем, чтобы читать; случается, что чтение в какой-то момент оказывается нашим единственным занятием. Примером могут служить читатели, сидящие в читальном зале библиотеки: в этом конкретном случае библиотека становится местом, специально предусмотренным для чтения, одним из тех мест, где чтение является коллективным действием (чтение обычно деятельность индивидуальная, хотя и не обязательно одиночная; бывает, что читают вдвоем, щека к щеке или заглядывая через плечо; или же перечитывают вслух для других; но мысль о том, что несколько человек читают одно и то же в одно и то же время несколько удивительна: джентльмены, читающие в клубе "Таймс"; группа китайских крестьян, изучающих "Маленькую красную книжицу").

Другой пример, как мне кажется, хорошо проиллюстрирован фотографией из журнала "Экспресс", который несколько лет назад опубликовал исследование о книгоиздательстве во Франции: на ней мы видим утопающего в удобном кресле Мориса Надо в окружении стопок книг, выше его самого.

А еще ребенок, который читает, или пытается читать, главу из учебника по естествознанию и переживает, что на следующий день его вызовут к доске.

Можно легко набрать множество подобных примеров. И связывает их, как мне кажется, то, что всякий раз "читать, чтобы читать" сопряжено с усердным занятием, с чем-то, связанным с работой или профессиональной деятельностью и, во всяком случае, с осознанием какой-то необходимости. Разумеется, следует уточнить и, в частности, найти более или менее удовлетворительные критерии, чтобы отличать работу от *не*работы. Учитывая современное состояние дел, мне кажется уместным отметить это различие: с одной стороны, чтение, скажем, профессиональное, которому важно посвящать себя целиком, которое нужно сделать единственным занятием на протяжении часов или дней; с другой стороны, чтение, допустим, на досуге, которое всегда сопровождается каким-то другим занятием.

На самом деле, именно это, в связи с данной темой, больше всего поражает меня в способах чтения: не то, что чтение воспринимается как разновидность досуга, но то, что, в общем, оно не может существовать в одиночку, что ему нужно встраиваться в другую необходимость, его должна поддерживать другая деятельность — чтение ассоциируется с идеей

заполнения времени, с мертвым временем, которым надо воспользоваться, чтобы почитать. Возможно, эта другая поддерживающая деятельность лишь повод для чтения, но как это узнать? Читающий на пляже господин находится на пляже, чтобы читать, или же читает, потому что он на пляже? Хрупкая судьба Тристрама Шенди важна для него больше, чем загар, который покрывает его икры? Может, следует обратить внимание на этот антураж чтения: читать — это не только прочитывать текст, разбирать знаки, следить за строчками, просматривать страницы, вникать в смысл; это не только абстрактная сопричастность автора и читателя, мистический союз Идеи и Уха; в то же самое время это еще и шум метро, покачивание железнодорожного вагона, солнечный зной на пляже и крики играющих неподалеку детей, ощущение теплой воды в ванне и ожидание сна...

Вот лишь один пример для уточнения сути подобных размышлений, которые, впрочем, можно с полным правом счесть совершенно праздными: лет десять тому назад я ужинал с друзьями в маленьком ресторане (закуска, горячее блюдо с гарниром, сыр или десерт); за другим столом ужинал один заслуженно признанный философ; он ужинал в одиночестве, читая ксерокопированный текст, вероятно, какой-то диссертации. Он читал в перерывах между блюдами и даже во время еды, и мы с друзьями задумались, каким может быть результат этого двойного занятия, как все это смешивается, каков вкус слов и каков смысл сыра: кусочек еды, мысль, кусочек еды, концепт... Как концепт жуется, как он поглощается, как переваривается? И как передать воздействие этой двойной пищи, как его описать, как его измерить?

Нижеследующий перечень, набросок типологии ситуаций чтения, вызван не только удовольствием от перечисления. Мне кажется, он может задать направление общему описанию видов деятельности в сегодняшней городской среде. В запутанном пересечении ежедневных ритмов то там, то здесь открываются пропуски, перерывы, промежутки для чтения; будто чтение изгнано из нашего существования необходимостью следовать расписанию по часам, но сохранило память о тех временах, когда мы еще детьми каждый четверг пополудни заваливались в постель с тремя мушкетерами и детьми капитана Гранта, — украдкой проникает в щели и дыры нашей взрослой жизни.

Промежутки

Чтение можно классифицировать по затраченному на него времени. Первая категория — в промежутке. Читают в ожидании у парикмахера, у стоматолога (чтение рассеянное из-за приближающегося события); читают программу репертуара в очереди перед киносеансом; в официальных заведениях (органы социального страхования, почтовые

отделения, бюро находок и т. д.), пока не подошла очередь.

Зная, что ждать у ворот стадиона или у входа в оперу придется долго, самые предусмотрительные запасаются складными стульями и книгами.

Тело

Чтение можно классифицировать по функциям, выполняемым нашим организмом.

Прием пищи: чтение во время еды (см. выше). Распечатывать письма, разворачивать утреннюю газету во время завтрака.

Туалет. Чтение в ванной воспринимается многими как истинное наслаждение. Однако часто замысел оказывается гораздо более увлекательным, нежели его осуществление; в большинстве случаев ванны неудобны, и без специального обустройства — подставка для книг, плавающая подушка, кран и полотенце под рукой — и особых предосторожностей в ванне читать не намного проще, чем курить сигарету: это одна из небольших бытовых проблем, которыми было бы неплохо озадачить *дизайнеров.*

Справление нужды. Людовик XIV давал аудиенции на своем стуле с отверстием. В те времена это было обычным делом. Современное общество более скрытно (см. "Призрак свободы"). Однако уборная по-прежнему является привилегированным местом для чтения. Меж облегчающимся чревом и текстом устанавливается глубокая связь, возникает какая-то напряженная готовность, усиленная восприимчивость, читательская радость: встреча утробного и наглядного, которую, мне кажется, никто не сумел описать лучше Джойса:

> Раскорячившись на позорном стуле, он развернул журнал на оголенных коленях и стал читать. Что-нибудь новенькое и полегче. Не торопись особо. Попридержи. Наш премированный осколок: "Мастерский удар Мэтчена". Автор — мистер Филип Бьюфой, член лондонского Клуба театралов. Гонорар по гинее за столбец. Три с половиной. Три фунта три. Три фунта тринадцать и шесть. Он мирно прочел, сдерживая себя, первый столбец, затем, уступая, но еще придерживая, начал второй. На середине, окончательно уступив, он дал кишечнику опорожниться свободно, продолжая мирно, неторопливо читать, вчерашний легкий запор прошел без следа. Авось не слишком толсто, геморрой снова не разойдется. Нет, самый раз. Ага. Уфф! Для страдающих запором: одна таблетка святой коры. В жизни может такое быть[1].

Сон. Много читают перед сном и часто — чтобы заснуть, а еще чаще — когда заснуть не могут. Какое огромное удовольствие, когда в доме, куда тебя пригласили на выходные, ты находишь книги, которые не читал, но хотел бы прочитать, или знакомые кни-

1. Джеймс Джойс. Улисс / Перевод В. Хинкиса и С. Хоружего. — Т.2. — М.: изд. Знаменитая книга, 1994, с. 74.

ги, которые уже давно не перечитывал. Уносишь десяток таких книг в спальню, читаешь, перечитываешь чуть ли не всю ночь до утра.

Социальное пространство

Люди редко читают на работе, кроме тех случаев, когда работа как раз и заключается в том, чтобы читать.

Матери читают в скверах, присматривая за играющими детьми.

Зеваки заглядывают к букинистам или читают газеты, вывешенные у дверей редакций.

Посетители кафе читают вечернюю газету за бокалом аперитива на террасе.

Транспорт

Много читают по пути на работу или с работы. Можно было бы классифицировать чтение по виду транспорта: машины и междугородние автобусы совсем не годятся (от чтения болит голова); городские автобусы лучше адаптированы, но читатели в них встречаются куда реже, чем можно подумать, вероятно из-за того, что можно наблюдать в окно за тем, что происходит на улице.

Место, где обычно читают, — метро. Это могло бы стать почти определением. Я удивляюсь, что ни министр культуры, ни советник, отвечающий за университеты, еще не воскликнул: "Господа, перестаньте требовать денег на библиотеки: настоящая народная библиотека — это метро!" (бурные аплодисменты из сектора парламентского большинства).

С читательской точки зрения, у метро существует два преимущества. Первое состоит в том, что поездка в метро длится отрезок времени, определяемый почти с идеальной точностью (приблизительно по полторы минуты на станцию): это позволяет рассчитывать время для чтения — две страницы, пять страниц, целая глава — в зависимости от продолжительности поездки. Второе достоинство заключается в частотности поездок (дважды за день, пять раз в неделю): книгу, начатую в понедельник утром, можно дочитать в пятницу вечером...

Путешествия

Много читают в путешествиях. Им даже посвящена специализированная литература, окрещенная "вокзальной". Особенно читают в поездах. В самолетах чаще всего листают иллюстрированные журналы. На кораблях читают все реже. С читательской точки зрения, корабль — это не что иное, как шезлонг (см. ниже).

Прочее

Читать на каникулах. Чтение отдыхающих. Чтение курортников. Чтение туристов.

Читать во время болезни дома, в больнице, в санатории.

И т. д.

На этих страницах меня занимало не то, что именно читается — книга, газета или рекламный проспект, — а лишь сам факт чтения в разное время и в разных местах. Во что превращается текст, что от него остается? Как воспринимается роман, растянувшийся между станциями "Монгале" и "Жак-Бонсержан"? Как происходит дробление текста, беспрестанное освоение текста

собственным телом, другими людьми, временем, гулом коллективной жизни? Я задаю себе эти вопросы и думаю, что для писателя они отнюдь не праздны.

О *том, как трудно вообразить идеальный город*[1]

Мне бы не хотелось жить в Америке но иногда да

Мне бы не хотелось жить под открытым небом но иногда да

Мне бы хотелось жить в пятом округе но иногда нет

Мне бы не хотелось жить в донжоне но иногда да

Мне бы не хотелось жить в экстремальных условиях но иногда да

Мне хочется жить во Франции но иногда нет

Мне бы хотелось жить на Крайнем Севере но не очень долго

Мне бы не хотелось жить на хуторе но иногда да

Мне бы не хотелось жить в Иссудене но иногда да

Мне бы не хотелось жить на джонке но иногда да

Мне бы не хотелось жить в арабском ксаре но иногда да

Мне бы хотелось слетать на Луну но теперь уже слишком поздно

Мне бы не хотелось жить в монастыре но иногда да

Мне бы не хотелось жить в "Негреско" но иногда да

Мне бы не хотелось жить на Востоке но иногда да

Мне хочется жить в Париже но иногда нет

Мне бы не хотелось жить в Квебеке но иногда да

Мне бы не хотелось жить на рифе но иногда да

Мне бы не хотелось жить на подводной лодке но иногда да

Мне бы не хотелось жить в башне но иногда да

Мне бы не хотелось жить с Урсулой Андресс[1] но иногда да

Мне бы хотелось жить до старости но иногда нет

Мне бы не хотелось жить в вигваме но иногда да

Мне бы хотелось жить в Шанду но даже и там не навсегда

Мне бы не хотелось жить в Йонне[2] но иногда да

Мне бы не хотелось чтобы все мы жили в Занзибаре но иногда да

1. De la difficulté qu'il y a à imaginer une Cité idéale // La Quinzaine littéraire, 1er août 1981, n° 353, p. 38.

1. Урсула Андресс — швейцарская актриса, звезда 1960-х гг.
2. Иссуден — небольшой город во Франции, в департаменте Эндр (Центральный регион); Шанду — исторический город на территории современной Монголии, входил в состав Китайской империи; Йонна — один из департаментов района Бургундия во Франции.

Дмитрий Померанцев

Что в имени тебе моем?

Жозе Сарамаго *Книга имен* / Перев. с порт. Александра Богдановского. — М.: Эксмо, СПб.: Домино, 2010

Жозе Сарамаго *Каин* / Перев. с порт. Александра Богдановского. — М.: Эксмо, СПб.: Домино, 2010

Существует неписаный закон парности событий, который наиболее наглядным и наиболее печальным образом проявляет себя в том, как один за другим уходят из жизни выдающиеся люди, чьи образы неким неуловимым образом ассоциировались у нас друг с другом. Судите сами: не стало Ингмара Бергмана, и почти сразу же мы потеряли Микеланжело Антониони. Можно найти пример и ближе: Кирилл Лавров — Михаил Ульянов. В начале 2010 года умер замечательный испанский писатель Мигель Делибес и, не прошло и полугода, как за ним последовал его одногодок и собрат по перу — выдающийся португальский романист, лауреат Нобелевской премии по литературе Жозе Сарамаго. Смерть последнего стала, пожалуй, наиболее ощутимой потерей для мировой литературы, в частности, и для всего думающего и читающего человечества в целом за последние годы. Сравнить ее можно разве что с уходом Сэлинджера, но тот литературу покинул много десятилетий назад, а Сарамаго писал до последнего и как писал!

Просто в голове не укладывается, как могло не стать человека, начавшего писать в ту пору, когда многие, исчерпав себя, с литературным творчеством заканчивают, и писавшего столь просто, с такой пронзительной ясностью, как это мог бы делать — обладай он подобной возможностью — лишь младенец, впервые узревший наш мир. И каждая следующая книга была лучше — глубже, ярче, увлекательней — предыдущей. Как если бы некий неутомимый путник взбирался на некую вершину — все выше и выше. Казалось, конца не будет этому удивительному путешествию. Однако конец был...

В нашей стране это печальное событие было отмечено выходом сразу двух романов писателя: одного — давно ожидаемого, написанного еще в минувшем веке, полтора десятилетия назад, и другого — совсем свежего, самого последнего, по сути — творческого завещания Жозе Сарамаго. В оригинале первая из этих книг называется “Все имена”. Этот заголовок кажется и бо-

© Дмитрий Померанцев, 2012

лее звучным, и более соответствующим масштабу творчества автора, да и в тексте данное словосочетание встречается, подчеркивается и обыгрывается не раз. Тем не менее, в русском переводе роман обрел новое название: "Книга имен". В чем причина подобной замены? Зачем вселенское "все" уступило место компактной "книге"? Быть может, затем, чтобы, взяв первые и последние буквы каждого из составивших новый заголовок слов, читатель получил название второго романа? Теперь, увы, остается лишь гадать, как отнесся бы к подобной вольности сам Сарамаго, однако, учитывая его великолепное чувство юмора, а также склонность к литературной игре, мистификации (что особенно ярко проявилось в романе "Год смерти Риккардо Рейса"), можно с большой долей уверенности предположить, что подобная шарада пришлась бы ему по вкусу.

Сюжет "Книги имен" можно пересказать двумя-тремя фразами, да и для экранизации ее не потребовалось бы много пленки — вполне хватило бы десятиминутного ролика. Но стоит ли уточнять, что как в том, так и в другом случае суть романа не была бы передана ни в малейшей степени? Хотя это были бы забавные, трогательные и печальные кадры: вот немолодой сотрудник архива балансирует под потолком на шаткой стремянке, перебирая карточки с именами и датами: рождения, браки, смерти. Вот он рыщет по улицам в поисках обладательницы одного из этих имен. Вот, наконец, находит — как всегда, слишком поздно... Ну и где же тут то, ради чего стоило бы браться за книгу? Подобный вопрос могут задать те, кто никогда не читал романов Сарамаго. Те же, кто с его творчеством знаком, лишь радостно потрут руки в предвкушении. Им не нужно объяснять, сколь богатые дары сумеет извлечь этот автор из столь скудного, ничем не примечательного сюжета. Ибо наличие ладно скроенной и крепко сшитой интриги для Сарамаго — дело третье, если не десятое. Главное достоинство его книг не в событийных коллизиях, но в том, как о них поведано.

Кстати, появление на сцене в качестве главного героя сотрудника архива — момент не случайный и, по всей видимости, автобиографический. Ведь именно представитель этой малозаметной, но совершенно незаменимой профессии стал в свое время "крестным отцом" писателя, самочинно вписав в его метрику вместо настоящей фамилии де Соуза давнее прозвище их семейства — местное название дикой редьки. Благоприобретенная фамилия оказалась воистину говорящей: едко саркастичный, пряно горький стиль Сарамаго неизменно оказывал и оказывает на читателя отрезвляюще бодрящее, проясняющее, целебное действие. Про его книги уж точно не скажешь, что они "редьки слаще". "Любезность" архивариуса не осталась безответной: своему герою писатель уступил собственное имя — Жозе.

"Книга имен" вышла из-под пера уже всемирно известного писателя, автора таких романов, как "Воспоминание о монастыре", "Год смерти Риккардо Рейса" (Рейс — девичья фамилия первой жены писателя — еще один автобиографический момент?), "Каменный плот", "Евангелие от Иисуса", хотя до Нобелевской премии еще и оставалась пара лет. Книга эта, как и предыдущие, касалась "вечных" тем и в их числе — вполне традиционного для Сарамаго вопроса жизни и смерти. Пожалуй, именно здесь автор впервые не просто попытался заглянуть за грань небытия, как, скажем, в "Годе смерти...", и не просто признал закономерную неизбежность конца, как в романе "Каменный плот", но бросил смерти вызов, предложил ей ни много ни мало отступить. Эта тема позднее получит свое — более акцентированное и мощное — развитие в великолепном романе "Перебои в смерти", однако именно в "Книге имен" она прозвучала в первый раз.

В остальном Сарамаго верен себе — роман написан в его "фирменном" стиле, который невозможно ни воспроизвести, ни подделать. Трудно представить другого автора, способного позволить себе затянуть предложение на полстраницы, напрочь игнорируя знаки препинания, сваливая диалоги в одну кучу, да еще и отвлекаясь то и дело на совершенно посторонние, рожденные, казалось бы, случайными ассоциациями темы, и только в самом конце фразы вернуться к сути, то есть к тому, с чего она, собственно, началась. И ладно если вернуться, а то ведь возникают еще и сослагательные, вероятностные ответвления, которые, разумеется, ни к чему не ведут, ибо в конце автор непременно напоминает, что так оно было бы, если б... Смысловые акценты при этом можно расставить, ориентируясь по контексту, интонация же и вовсе оставляется на усмотрение читателя. Мол, сами решайте, вопрос это был, восклицание или спокойная констатация факта.

И вот эта-то совершенно немыслимая синтаксическая конструкция еще и читается на одном дыхании. Делая все возможное и невозможное, чтобы превратить текст в неудобоваримый словесный брикет, в бесформенный поток сознания, Сарамаго добивается эффекта прямо противоположного — мысль выкристаллизовывается, суть обнажается и из кажущегося сумбура и хаоса рождается простая истина, готовый афоризм, вроде такого: "Дух никуда не ходит без плотских ног, плоти же невмочь сдвинуться с места без крыльев духа". Согласитесь, красиво, поэтично и... волнующе. Недаром в издательской аннотации жанр книги определен как "метафизический триллер".

Кстати, о метафизике. Автор нимало не сомневается в своем даре рассказчика и даже слегка подтрунивает над коллегами: "что же до метафизических мыслей, дорогой мой, то, по моему мнению, их способна породить всякая голова, а вот способность облечь их в

слова дана далеко не каждому". Не каждому, но некоторым все-таки дана. И тут самое время вспомнить о переводчике этой книги, оказавшемся достаточно решительным, чтобы дать ей новое имя.

Именно Александр Богдановский перевел на русский язык большинство романов Жозе Сарамаго, так что его с полным правом можно назвать "главным сарамаговедом" нашей страны. В одном из интервью переводчик признался: "У меня за тридцать лет работы сложилась привычка: я не читаю книжку вперед. Перевожу параллельно с чтением и иногда даже не дочитываю фразу до конца, а угадываю ее. С Сарамаго у меня происходит 'замыкание контактов'. Он парадоксален, и предугадывания возникают совершенно неосознанно".

В этом — еще одна особенность прозы португальского классика: она обладает безупречной внутренней логикой. Каждая последующая фраза настолько просто и неизбежно вытекает из предыдущей, что, вчитавшись, начинаешь ее предугадывать. Что, впрочем, отнюдь не лишает книгу интриги, так как читательского ясновидения хватает на шаг-два, не больше. Но и такой резонанс дорогого стоит. Читатель как бы включается в увлекательный творческий процесс, предвосхищая очередной поворот авторской мысли и искренне радуясь собственной прозорливости. Тем больше, на мой взгляд, заслуга переводчика, сумевшего подметить эту особенность прозы Сарамаго и передать ее в русском тексте. Заслуга, кстати, по достоинству оцененная: за работу над "Книгой имен" Александр Богдановский был удостоен премии "Мастер" — профессиональной награды переводчиков.

Как уже отмечалось ранее, главная прелесть Сарамаго не в том, что́ он пишет, а в том, как... Язык его книг сочен, живописен, поэтичен и метафоричен. Свое отношение к его возможностям и назначению писатель однажды выразил следующим образом: "Чудесен и блажен язык наш, который, чем больше выкручивают его и ломают, тем больше способен сказать... О, если бы узаконить выворачивание фраз наизнанку, какой удивительный мир сотворили бы мы". Собственно, именно этим писатель и занимается в своей книге, не дожидаясь какого-либо специального законодательного акта, — ломкой языка, выкручиванием фраз. И предсказанный эффект действительно достигается: созданный Сарамаго мир поистине удивителен.

Удивителен и... забавен. Ибо писатель не был бы самим собой, если б остался совершенно серьезен. Недаром в своей нобелевской лекции он поставил на одну доску поэтов, пророков и... шутов, "пришествие коих мир спокон веку встречает глумлением". И не случайно слово "ирония" — наряду с "воображением" и "состраданием" — значилось в формулировке его заслуг при вручении ему упомянутой премии. В "Книге имен" юмор автора мягок, по-домашнему ласков и уютен. Вот герой попада-

ет под дождь и приобретает весьма комичный вид — "с каплями на ушах". А вот в лабиринтах архива теряется забредший туда по делу нотариус — и, для того чтобы не умереть с голоду, бедняга вынужден питаться делами (спасибо, что не телами) усопших граждан. Как тут не вспомнить незадачливого персонажа Семена Фарады из фильма "Чародеи"?

И, раз уж мы заговорили о нобелевской лекции, вспомним и то, как охарактеризовал в ней писатель свой самый "архивный" роман: "И тогда подмастерье, словно в попытке изгнать бесов, порожденных слепотой рассудка, стал писать самую простую из своих историй: один человек ищет другого, потому что понимает — ничего важнее не может потребовать от него жизнь. Эта книга называется 'Все имена'. Все наши имена, хоть и ненаписанные, — здесь. Имена живых и имена мертвых". Подмастерьем, как вы и сами, наверное, догадались, Сарамаго скромно называет самого себя, а "Слепота" — другой его роман, предшествовавший "Книге имен".

В одной из последних сцен романа герой забирается на кладбище, где встречает пастыря с собакой и овцами. А так как у Сарамаго ничто не происходит случайно, то кто знает, не тот ли это пастух, что ввергал в сомнения юного Иисуса в "Евангелии"? И не тот ли это пес, что был прямым потомком самого Цербера и, ухватив зубами конец синей шерстяной нити, собирал, точно заблудших овец, вместе героев "Каменного плота"? Или, быть может, то был слезный пес из "Слепоты", что так своевременно поддержал и утешил героиню в минуту отчаяния? Персонажи Сарамаго свободно путешествуют из романа в роман, поэтому, прощаясь с героем "Книги имен", не думайте, что прощание это — навек. В одном из следующих произведений писателя — романе "Двойник" — читатель встретит некоего "делопроизводителя из отдела записи гражданских состояний, который уничтожал свидетельства о смерти, причем все их усопшие обладатели, возможно по случайному совпадению, были лицами мужского пола".

Тем, кто уже повстречал этого героя на страницах "Двойника", наверняка небезынтересно будет узнать, как тот дошел до жизни такой, и уже хотя бы ради этого им стоит прочесть "Книгу имен". Нам же предстоит путешествие в глубь веков, в ветхозаветные, допотопные времена — туда, где протекает действие последней — увы! — книги Жозе Сарамаго "Каин". И тут первым, что наверняка бросится в глаза читателю, будут... ну, разумеется, имена. Дело в том, что все имена в романе пишутся со строчной буквы. Возможно, таким образом автор подчеркнул, что действие книги разворачивается в эпоху столь отдаленную от нашего времени, что даже имена собственные с тех пор успели сделаться нарицательными. Как говорится — ничего личного.

И если "Книга имен", как уже было отмечено, ведет

свою родословную от романа о докторе Рейсе и предвосхищает "Перебои в смерти", то "Каин" явно подхватывает и развивает тему, впервые прозвучавшую (да что там — прогремевшую!) двадцатью годами раньше — в "Евангелии от Иисуса". В центре повествования вновь оказывается взаимозависимое противостояние человека и бога. Только на этот раз объектом авторского внимания и критического переосмысления становится уже не Новый, но Ветхий завет. В поисках истины писатель возвращается к истокам — к моменту сотворения мира.

Тему обеих книг — и "Евангелия", и "Каина" — весьма условно можно определить как богоборчество. Условно, потому что богоборчество Жозе Сарамаго имеет мало общего как с воинствующим атеизмом представителей левых движений (хотя большую часть жизни писатель и был членом компартии Португалии), так и с показным стремлением иных артистических натур к свободе самовыражения, проявляющемся, как правило, в ниспровержении святынь и осквернении авторитетов. Его невозможно представить ни в опьяненной вседозволенностью толпе, стягивающей крест с колокольни, ни среди тех, кто разрушает храм в собственной душе. Не присущи ему ни хулиганские наклонности Маяковского, грозившего "божику" ножиком, ни нарочито пасторальное озорство Есенина, предлагавшего господу отелиться.

Атеизм Сарамаго (а он именно атеист — тут неясностей быть не должно) носит скорей метафизический (никуда не уйти нам от этого слова), чем политический или же эстетический характер. Это сложная нравственно-философская концепция, автор которой не отрицает бытие божье (еще в романе об Иисусе он подчеркивал, что его евангелие никогда не ставило себе "недостойную цель опровергнуть уже написанные ранее и другими, заявить, будто не было того, что было, и наоборот"), однако общаться с вседержителем согласен только на равных. Позиция Сарамаго — это трезвый и, если угодно, практичный взгляд человека, привыкшего ничего не принимать на веру, пока не увидит это собственными глазами или не пощупает руками. Абсолютного добра не бывает, абсолютного зла — тоже. Ну, так давайте разберемся, из чего же этот бог, о котором так много говорят, состоит, чего в нем больше.

В одной из ключевых сцен "Евангелия от Иисуса", когда всевышний, дьявол и Иисус оказываются на лодке посреди озера, из тумана до них доносятся голоса, которые явственно дают понять, что боги — суть плоды поэтического воображения, порождения человеческой фантазии. Этот момент может служить ключом к пониманию прикладной теософии Сарамаго. Не бог создал мир, но мир придумал бога, породив для этой цели человека. Идея, мягко говоря, не нова, однако писателю удается придать ей новое — вдохновенное — звучание.

И здесь уместно будет слово, которое приблизит нас к пониманию главного творче-

ского принципа автора. Слово это — гуманизм. Потому что наряду с окрыляющим воображением и ободряющей иронией книги Сарамаго пронизаны живым состраданием — тут шведские академики абсолютно правы. И потому гибнет на кресте Иисус, пытаясь обмануть своего небесного отца и спасти человечество от мук, что сулит ему порожденная им религия. И потому раздает себя всю, без остатка окружающим жена доктора, волею случая оставшись единственной зрячей в мире слепцов. И потому идет на верную гибель брат горничной — подруги доктора Рейса, когда его корабль — португальский броненосец "Потемкин" — бросает вызов вооруженной до зубов армаде, оставшейся верной салазаровскому режиму.

Но это все — другие, прежние романы Сарамаго. А где же гуманизм и человеколюбие в "Каине", романе, который начинается с убийства, а заканчивается и вовсе геноцидом, когда ради того, чтобы расстроить планы всевышнего, герой намерен принести в жертву уже не себя, но... все остальное человечество. Возможно ли более страшное, более мизантропическое решение? Впрочем, не будем забегать вперед — обо всем по порядку.

Начнем с того, что Каин, в отличие от героя "Евангелия" — вовсе не прекраснодушный альтруист, наивный мессия, готовый служить проводником чужой воли, лишь бы это послужило в итоге всеобщему благу или хотя бы никому не навредило. Нет, это гордый, самолюбивый, и совсем не добрый индивидуалист, готовый ради того, чтоб настоять на своем, буквально на что угодно. С другой стороны, Каин Сарамаго — не ветхозаветный злодей, носитель одной строго определенной функции завистника и братоубийцы, но одинокий бунтарь, поэт и романтик, искатель истины и борец за свободу. В нем без труда обнаруживаются черты, роднящие его и с Прометеем, и с Че Геварой, с Минотавром из пьесы "Цари" Хулио Кортасара и с горьковским Данко, с Сиддхартхой Германа Гессе и даже с вольтеровским Кандидом. Хотя его, в отличие от последнего, не так-то просто одурачить.

Сарамаго, как и в "Евангелии", не переписывает библейский текст, не искажает, не вносит правок — так, коечто уточняет, делает пометки на полях, да в некоторых местах подчеркивает. Писатель использует принцип детского "почему", прием "незамутненного взгляда ребенка". Он не комментирует деяния божьи, не дает им оценок и не вешает ярлыков, а просто приводит на место событий своего героя, и тот простодушно (вот в чем его родство с Кандидом) спрашивает: почему так, а не иначе? Почему господь отверг дары земледельца и принял жертву животным? Он что, любит кровь? Ему угодна смерть? И почему человек должен, не задумываясь, по первому его требованию перерезать горло своему ребенку? Почему за грехи отцов пришлось гибнуть невинным детям, когда всевышний устроил в Содоме Дрезден образца

февраля 45-го? И почему столь мил его божественному сердцу кровожадный предводитель избранного им народа Иисус Навин?

Забравшись в самую глубь божественной истории, автор не расшатывает устоев, но просто предлагает трезво на них взглянуть и решить для себя, стоит ли строить светлое завтра на подобном фундаменте. При этом он, возможно, даже рассчитывает на понимание со стороны части верующих, так как уже встречал его там прежде, о чем свидетельствует его высказывание в одном из интервью: "Да, разгоревшаяся десяток лет тому назад полемика вокруг книги (речь идет о "Евангелии от Иисуса") все еще жива. Католики считают книгу ужасной. Но, заметьте, умные католики одобрили роман. Он им понравился. Многие из них писали и звонили мне, чтобы высказать свое одобрение".

Далее в том интервью писатель делится соображениями по поводу своего апокрифического писания и его героя: "Для меня Иисус Христос был просто человеком. Человеком, которому повезло или же не повезло тем, что на него пал выбор господа бога. Бога, в которого он верил. Я, например, не верю в существование бога. А он был избран господом богом для миссии, которая, как мы знаем, и привела его к смерти. Мы знаем, что некоторые деяния требуют жертв, что и произошло в данном случае. Вот и все, что об этом можно сказать".

Каин тоже избран и приговорен богом. Но избран он не за смирение, не как сын, но за строптивость, как враг, и, быть может, потому приговорен не к смерти (неисповедимы пути...), но практически к вечной жизни — пусть и в статусе изгоя. Здесь Сарамаго как бы скрещивает двух библейских персонажей — Каина и Агасфера, но это, вероятней всего, дань требованиям жанра: герой должен быть один, причем именно такой, какой нужен автору — бунтарь и скиталец, свидетель и участник. И еще он зачем-то нужен богу (герой, а не его автор) — не из милосердия же в самом деле тот оставил его в живых! Может быть, ему просто стало скучно среди покорных его воле людей? Понадобился оппонент — не равный, но хотя бы независимый? Если так, то бог явно просчитался, потому что "история людей есть история всех недоразумений, что вышли у них с господом, ибо ни он нас не понимает, ни мы его".

При чтении "Каина" возникает ощущение, что в этой книге действует какой-то другой бог — не тот, что был в "Евангелии от Иисуса". "Боги подобны бездонным колодцам, заглянешь внутрь — не увидишь даже собственного отражения". Откуда такое отчуждение? На первый взгляд, Сарамаго противоречит сам себе. Если бог — порождение человека, как он может не отражать своего создателя? Но проблему можно рассмотреть и под иным углом — как вечный конфликт отцов и детей. Возможно ли такое: бог — ребенок? А почему бы и нет? Человек — дитя природы, бог — сын человеческий. Сын, а не

отец. Вот и третирует дитя родителей, не желая на них походить. Самоутверждается.

Не знаю, имел ли писатель в виду подобный вариант, но бог из его последнего романа и в самом деле более всего напоминает избалованного, эгоистичного ребенка, не видящего особой разницы между добром и злом. Его нравственные принципы очень наглядно им же самим в книге и охарактеризованы: "Я наделен совестью столь гибкой и подвижной, что она неизменно соглашается со всем, что бы я ни делал". Это действительно другой бог — deus ludens, бог играющий, забавляющийся. Он похож на сына медиамагната из французской комедии "Игрушка" — тот тоже был не прочь поманипулировать живыми людьми. И подобно герою Пьера Ришара, игрушкой для всемогущего карапуза становится Каин.

В фильме все завершается благополучно: герой перевоспитывает своего мучителя, привив ему понятие о добре и зле. Задача Каина несравнимо трудней, ибо в распоряжении бога — целый мир. Он играет в солдатики Иисусом Навином, мучает приносимых ему в жертву животных, разводит большой костер в Содоме, жестоко испытывает на верность Авраама и Иова (примерно так большие мальчишки зло пошутили над малышом в рассказе Леонида Пантелеева "Честное слово"). Да он и слушать ничего не будет, пока не наиграется, а наиграется он еще явно не скоро. Что можно сделать с заигравшимся, неуправляемым ребенком, как привести его в чувство? Способ только один, любой родитель это знает: нужно отобрать игрушку.

С богом такие шутки плохи, и простые-то дети порой относятся без понимания, когда покушаются на их любимые забавы (достаточно вспомнить "Вельд" Рэя Брэдбери). Однако Каин таки смог, и в этом главный гуманистический пафос романа, сколь бы жутким нам ни казался способ, каким герой добивается своей цели. Там, где потерпел поражение добрый непротивленец Христос, победил неоднозначный, противоречивый, но гордый и упорный Каин. Его поступок перекликается с деяниями героев раннего Горького — самоотверженных и прямодушных. И в тоже время он созвучен с вдохновенным и страстным монологом Сатина из пьесы "На дне": "Все — для человека, все — во имя человека!" И как бы подтверждая и продолжая слова русского писателя о человеке, о гордости и об унижении, Жозе Сарамаго говорит: "Унижая жизнь, мы извращаем разум". Эти слова — еще один готовый афоризм — стоило бы высечь где-нибудь на скрижалях или хотя бы просто хорошенько запомнить. Для того, например, чтобы в некий прекрасный момент не позволить сделать из себя чью-либо игрушку. И, разумеется, затем, чтобы не делать своими игрушками других, если судьба по каким-то причинам даст вам над ними власть.

Григорий Стариковский
Копенгаген

Игорю Привену

1. *Ночь*

Часы на башне молчат, но скоро запнется минутная стрелка, нацеленная в рентгеновский снимок северного неба, разверстую, непроницаемую пленку в чешуйчатых потеках фонарного света. Я просыпаюсь навстречу замиранию-предвременью и не могу заснуть, ворочаюсь, слушаю, как натягивается струна времени, чтобы лопнуть, когда пробьют куранты.

Пока куранты молчат, время течет беспрепятственно, неуязвимое и бессовестное. Оно обманчиво, как колыбельная, которую поют ребенку, чтобы тот уснул, не заботясь, сколько будет продолжаться сон: одну ночь или вечность. И все же каждые четверть часа течение времени прерывается, и оно застревает в пересохших шлюзах часового механизма. Время обмирает и рождается заново — мифом, легендой, сказкой. Принц снова превращается в свинопаса; стойкий оловянный солдатик любуется танцовщицей; плывущий лебедь опять становится гадким утенком... За приоткрытым окном ночь пахнет хлынувшим дождем, землей из-под развороченного асфальта перед музеем, землей пополам с каменной крошкой и древесной трухой снесенных домов. Ночной Копенгаген: влажное пенье автомобильных шин, унылая сирена полицейского фургона, отрывистый, как сухой кашель, смех прохожего.

(Вчера — двухъярусный экскурсионный автобус, остановка возле Ратуши, осмотр города. Сын заснул на моем плече, так и проспал всю экскурсию. Рядом немолодая пара из Калифорнии. Неудобоваримый "бритиш инглиш", сочащийся в наушники. Переключаюсь на русский. Неужели это мой язык? Женщина — представляю ее дамой среднего роста и возраста, неулыбчивой, затянутой в бизнес-костюм, синтетические чулки обтягивают икры — читает с листа, не задумываясь над смыслом прочитанного. Без знаков препинания русская речь раскисает, как суглинок после дождя. "Этот замок построил король такой-то в таком-то веке в честь победы над шведами или голландцами". Сын спит на плече, шепчет сквозь сон:

© Григорий Стариковский, 2012

– Когда будет русалочка?

– Русалочки сегодня не будет. Ее увезли в Шанхай.

Обаяние датского сказочника... У Андерсена девочка в красных башмаках пляшет, пляшет, а потом ей отрубают ноги. А другая девочка продает спички, пока не замерзает в снегу. Русалочка, умирая, превращается в облако и улетает в свой Шанхай. Мы, вышедшие из "Шинели", не в меньшей мере обязаны нашей судьбой "Гадкому утенку" и "Снежной королеве".

Сын просыпается. Прошу водителя, чтобы выпустил нас в Строгете. На пешеходной улице – миндальные глаза араба, продавца орешков, поджаренных в сахарном сиропе. Араб перемешивает орешки длинной деревянной лопаткой, а потом наполняет сладким миндалем полупрозрачные вощеные пакетики. Мы подходим к нему и здороваемся. Он смотрит на нас, нехотя кивает и отводит взгляд в сторону. Теплый пакетик постепенно остывает в руках.)

Зависаю между сном и явью, мозг не может привыкнуть к этим зияниям, отливам времени. Между периодическими остановками времени и его непрерывной текучестью сознание выбирает непрерывность, выбирает как привычку, которая, как известно, дается нам свыше и заменяет счастье. Дается нам, чтобы мы не сошли с ума... Наконец я забываюсь, но скоро просыпаюсь под четвертый удар башенных часов. Отзвук пробивших курантов еще витает в воздухе, как библейский дух над водной гладью. Я смотрю на свою правую руку и не узнаю ее – чья это рука? Она – чужая, затекшая, как будто оторгнутая. Лежу, не двигаюсь, чувствую, как понемногу она прирастает к телу, привыкает ко мне, становится моей. Потом я засыпаю и сплю до утра.

2. *Новая гавань*

Снова пешеходный Строгет. Мы открываем неповоротливую дверь и входим в магазин одежды. На стеллажах с покорностью эмбрионов – рукав на рукаве – лежат присмиревшие рубашки, разлинованные, как листки из школьной тетрадки. Ссохшиеся брючины висят на блестящих защепках, вязаные свитера обволакивают пластмассовый перламутр манекенов. У всех манекенов нос кнопочкой, а у одного – орлиный, с горбинкой. У входа нас встречает женщина – брюки черные в тонкую серую полоску, белая блузка с высоким воротником.

– Здравствуйте. Могу ли я вам помочь?

– Да, – отвечаю, – мы ищем подарок, какой-нибудь нарядный свитер.

– У нас есть все, на любой вкус, – говорит она.

Рот расплывается в улыбке, как кусок сыра в горячем супе. Она ведет нас в отдел женской одежды, ожившая выпуклая статуя из музея, легко ступающая по шашечной магазинной плитке...

Выйдя из магазина, направляемся в сторону гавани. Незнакомые люди похожи на знаки препинания, следующие за еще неуслышанной фразой, не-

прочитанным предложением. Так всегда: первое впечатление от человека — бессловесное; скорее интонация несказанного, чем сам голос — интонация утвердительная, вопросительная или восклицательная. Вот рыжеволосая валькирия мчится на велосипеде безусловным победным воплем-восклицанием; пастор проходит, стриженая голова откинута назад, взгляд блуждает по крышам и дымовым трубам — это знак вопросительный с чуть отогнутым вверх рыболовным крючком вопрошания. Из дверей дома напротив выходит банковский служащий (костюм с иголочки, ботинки начищены до приторного блеска, выглаженные брючины как острие меча) — это безоговорочная точка, обладающая неким окончательным знанием о месте человека в мире. А еще есть люди-запятые, при виде которых взгляд запинается на мгновение, но только на мгновение, а потом легко расстается с ними.

В гавани дует холодный ветер, задувает за воротник, поднимает полы дождевика. Пытаешься укрыться от ветра в подворотню, спрятаться за высоким воротником, приподняв его так, чтобы защитить шею, подбородок и рот с его сбивающимся, перекошенным дыханием, но ветер начинает дуть не сбоку, а сверху и в сильном порыве размазывает воротник по плечам и затылку. Мы забегаем в кофейню, выпиваем по чашке горячего шоколада, согреваемся. Выходим наружу. Ветер прибивает нас к ультрамариновой стене музыкальной школы, мусолит скатерти на столах под ресторанными зонтами с рекламой датского пива "Карлсберг". Зонты на тонких стальных ножках раскачиваются, все вокруг готово уже сдвинуться с места, и только какой-то невидимый якорь удерживает эту утлую улицу от крушения. Кажется, еще немного, и в воздухе зашумит, загудит, завоет. Поднимется ураган, и сорвет печные трубы, и согнется шпиль собора Святого Николая, и будет все, как в сказке: вывески поменяются местами — бочка бондаря будет теперь висеть над женским ателье, а ресторанное меню повиснет над входом в театр: "суп из хрена и фаршированная капуста".

Куранты бьют двенадцать, наступает сказочное безвременье, и память играет со мной злую шутку, отбрасывает в детство, а может быть, еще дальше, в прошлую жизнь, в страну, которой больше нет на карте. Когда мне было двенадцать лет, к нам в гости приходила девочка. Она оставляла в прихожей лакированную сумочку с платком и пудреницей, и мы выбегали во двор. Во дворе росли два клена. Она залазила на одно дерево, а я — на другое. Садилась на толстую ветку и начинала мяукать. Я отвечал ей со своего дерева — собачьим лаем или выл по-волчьи. А еще мы перекликались друг с другом, как два снегиря. По вечерам, когда ее увозили домой, я уходил в свою комнату и думал об этой странной дружбе. Потом она переехала в Ивано-Франковск, куда перевели ее отца, офицера автомобильных войск. Оттуда она прислала

мне единственное письмо, тетрадный лист, весь испещренный птичьим "уить-уить-уить". Я давно забыл об этой девочке, а теперь, в Копенгагене, вдруг вспомнил нашу давнюю перекличку, холодные ветви осенних кленов, на которых почти не осталось листвы.

Северный ветер, леденящий даже в августе, напоминает о Снежной Королеве, о Герде, которая не поверила в смерть Кая (Кай, человек, люди смертны, потому Кай смертен — сгинь, Кизеветтер[1]!) и отправилась на поиски своего друга.

— Помнишь, говорю я сыну, лапландку, которая жарила рыбу при свете фитиля, погруженного в ворвань, помнишь, как ледышки сами собой сложились в слово "вечность"? В этой странной сказке маленькая Эвридика находит своего Орфея и, разбив в прах ледяную вечность, отогревает его теплом своих слез и уводит обратно на мансарду. Холодный ветер, как дыхание Снежной Королевы, — того и гляди зацелует до полусмерти.

3. *Розенборгский замок*

Парк перед замком Розенборг. Каждое дерево держит на себе низкое небо. Оголенность, выстуженность округи на фоне холодных камней Розенборга. Я отдал продрогшему сыну свою ветровку. Он кутается в нее, но все равно не может согреться. Сколько нужно иметь в себе тепла, чтобы пройти этот парк наискосок?

Женщина выгуливает собаку, поводок натянут как струна. Двое студентов бегут по аллее, добегают до конца и останавливаются. Делают зарядку, поднимают руки, наклоняются вперед, стараются коснуться ладонями земли. Выдыхают. Выпрямляются. Они похожи на физкультурников из старой кинохроники. Кроссовки в потеках пыли, струйки пота на висках, слипшиеся русые волосы и — холодный ветер с залива. Нерушимый строй северного лета, в которое нас никто не звал.

В Розенборгском замке мы вливаемся в поток туристов, который истончается в узких коридорах, разделяется на рукава, постепенно заполняет залы и комнаты. Оказываемся в одной группе с пряноголосыми итальянцами. Заходим в боковое помещение — стена (или это тыльная сторона огромной печки?) выложена бело-голубой плиткой, в дальнем правом углу возвышается деревянный стульчак. Представляю себе, как его величество здесь тужился, глядя на дельфтские изразцы, на все эти цветочки, на развивающиеся платья пастушек. Вот лодка плывет под парусом, солдат бьет в барабан, всадник восседает на битюге, штандарт вьется, зайцы, олени, мельница, роза, петух клюет зерно, аист приносит ребенка в колыбель.

— Помнишь, — говорит сын, — сказку, в которой два деятеля (он так и сказал —

1. Иоганн Кизеветтер (1766–1819) — немецкий логик и философ; популяризатор учения Канта.

"деятеля") пообещали королю выткать такую ткань, которой не видывал свет?

— Конечно, помню. Два ловкача, которые обманули весь город.

— Ну и что с того, что они обманщики, зато как здорово они работали на пустых станках, с утра до поздней ночи кроили воздух большими ножницами, шили иголкой без ниток, а потом камергеры вместо шлейфа подхватывали руками невидимую ткань, сотканную из воздуха. Они и вправду работали на совесть, перед выходом короля трудились всю ночь, при свете шестнадцати свечей, ни разу даже не прилегли отдохнуть.

Сын говорит, что они заслужили все отданное им золото до последней кроны...

Слева от дворца, около ограды, растет ясень, ствол — как древко копья, навсегда вогнанное в землю. Ветер выкручивает ветви дерева, оно то и дело вздрагивает, как внезапно разбуженный человек. По ту сторону ограды — подстриженные кусты шиповника. Там, за решетчатым ограждением, маршируют солдаты. Они похожи друг на друга, как братья. Мундиры синие с красным. Автомат в правой руке, приклад касается мыска. Они вышагивают под маршевый высвист флейты-пикколо и под дробный речитатив военного барабана. Командует солдатами щуплый офицер, вылитый щегол, выкрикам которого подчиняется весь невеликий строй. Из парка солдаты кажутся ненастоящими, игрушечными, и занозистый восторг флейты лишь подчеркивает их игрушечную выправку.

По аллее в сторону улицы везут девушку в инвалидной коляске. Колеса оставляют две аккуратные бороздки на дорожке, посыпанной песком. Коляска подкатывает к ограждению и останавливается. Несколько минут девушка, белокурая датчанка, и пожилая филиппинка, которая везла девушку, смотрят, как солдаты проходят торжественным шагом, как приклады их автоматов зависают над ботинками. Потом девушка что-то говорит. Филиппинка достает плед и укутывает ей ноги, обрубленные по колено. Коляска катится дальше, к выходу из парка. Солдаты маршируют на плацу. Щегол в офицерской форме выкрикивает команды. Заливается военная флейта.

4. *Сквер возле Королевской библиотеки.* Кьеркегор. *Новая глиптотека*[1]

Привокзальный Копенгаген, неточная рифмовка домов. Налет копоти на фронтонах. Воздух Копенгагена с легкой примесью сажи — это память о дыме, вываливавшемся из печных труб на протяжении многих веков. Этот дым давно уравнял в правах всех обитателей Копенгагена независимо

1. Глиптотека (от *греч* glyptys — вырезанный, изваянный и theke — хранилище) — собрание античной скульптуры.

от сословной принадлежности. Это – Копенгаген обывательского уюта, Копенгаген стеганых халатов и ночных колпаков, город торфяных брикетов, рдеющих в камине.

Есть еще Копенгаген окисленных бронзовых памятников. Их как будто подняли с морского дна. Памятник Кьеркегору в скверике возле Королевской библиотеки. Лицо источила экзема малахитовой патины. Мне показалось, что налет окиси – отрицание первоначальных, правильных черт лица – дает верное представление о датском философе, чья мысль зачастую дыбится и кривится, как вставшая на дыбы лошадь, бунтующая против своего седока и собственного бега. Кьеркегор однажды сказал: воображение создает бесконечное. В поисках бесконечного Кьеркегор увлекает нас в зазеркалье смерти, как болотный царь, обросший лягушачьей кожей отчаянья.

Мы уходим из скверика, где стоит позеленевший Кьеркегор, и направляемся в новую глиптотеку. В музее – одна из богатейших коллекций римской скульптуры за пределами Италии. Тыквообразная голова Помпея Великого, покорителя Митридата. Налет добродушия, под которым – толстая мраморная корка ума. Такой своего не упустит. Никогда не упускал. Почему-то вспомнился заплывший жиром шериф Кеннеди из фолкнеровского "Света в августе". Рассудок, спрятанный до поры до времени в глубине мраморных бельм.

Римская скульптура, особенно скульптура периода Республики, благодаря своему почти болезненному реализму, принимает земную жизнь как абсолютную данность. Каждая морщина на лице римлянина, как именная печать нотариуса, знаменует непреложность бытия. Каждая деталь портрета – бородавка на носу, узкие губы, проплешина – незаменима, как иудейское слово в Пятикнижии. Римские скульпторы изжили греческий символизм, вернее, окончательно еще не подпали под обаяние греческого искусства (это произойдет в эпоху вечно юного Августа), воплощавшего некий абстрактный дух в мраморе и бронзе. Неслучайно в той же глиптотеке стоят рядом два бюста Еврипида, совершенно непохожих друг на друга. Римская скульптура – это победа над жалостью к себе и к миру, над пропастью, которой заканчивается мир. Пожалуй, эти мраморные бюсты – лучшее лекарство против экзистенциального отчаяния, именно потому, что римский мрамор и римская бронза есть полнейшее приятие человеческой судьбы. Вот он, выход из тупика, в который уводит нас датский мыслитель.

5. *Остров* Мён

– Это – не карта местности, это – дизастер[1], – жалуется

1. От *англ.* disaster – несчастье, катастрофа.

сын и тычет указательным пальцем в пунктирную линию на карте, словно хочет проткнуть этот несуществующий велосипедный маршрут. Мы увиливаем от легковых машин и туристических автобусов. Водители с нами не церемонятся. Я видел, как ухмылялся белобрысый паренек, сидящий за рулем новенькой "хонды", когда мы съехали на обочину, чтобы не попасть под колеса его машины.

Над головой — низкие клочья облаков, вдали — лопасти ветряных генераторов, стены ферм, занавешенные окна. Трактор рокочет на пахоте. Стая чаек облепила черную землю; кажется, что выпал снег. Вдалеке, слева, — стальная полоса Балтийского моря. Мы останавливаемся в Элмелунде, возле церковной ограды. Пчелы желтым, пружинящим нимбом окружают нас, почти касаются наших висков. Возле ограды растет черемуха. Запах настигает внезапно. Еще немного, и я заплачу. Сын спрашивает:

— Что с тобой?

— Понимаешь, этот запах... Мое детство все пропахло черемухой, под Москвой и в Литве так пахнет.

Сын-американец подходит ближе, принюхивается и говорит:

— Да ну тебя... запах какой-то приторный, как в доме для престарелых.

Я достаю бутерброды из рюкзака.

— Перекуси, а я загляну в церковь.

Через погост иду к главному входу, открываю тяжелую дверь. В церкви светло и безлюдно. Там, где в католическом храме должна быть апсида — между букетами гладиолусов в алебастровых вазах, — аляповатый барельеф Тайной вечери. Своды церкви разукрашены фресками, беспомощно-детскими фигурами и орнаментами. Теплые, детские краски — кирпично- и коричнево-красная, нежно-зеленая и желтая. Ювенильная роспись, как будто на излете XV века старейшины прихода пригласили в Элмелунде компанию школяров, и они, не мудрствуя, украсили церковь выводком библейских персонажей, не вдаваясь в тонкости строения человеческого тела, не думая даже о правильности случайных контуров. Вот спит человек, тело его изнурено, червеобразно, левая нога слегка согнута. Над ним стоит улыбающийся юноша с посохом, вокруг головы нимб, как широкополая мессионерская шляпа. Он разрывает брюхо спящего и оттуда появляется абрис женщины. На соседней фреске женщина держит в руке яблоко, сосредоточенная, погруженная в себя (другую руку в знак благодарности прикладывает к животу), а рядом — змей, такой же в-себя-смотрящий, похожий на ундину. Ева протягивает яблоко мужчине, а он уже надкусил свое яблоко (он как будто говорит ей: вот погляди, у меня тоже есть яблоко), а рядом все тот же юнец в широкополой шляпе, улыбаясь, разговаривает с мужчиной и женщиной, и те ему тоже улыбаются, стыдливо прикрывая руками бутафорские животы. А вот — на другой фреске — они, счастли-

вые, оборачиваются и машут руками ангелу, который в ответ улыбается им и на прощание размахивает мечом. А потом Адам в средневековом одеянии погоняет лошадь с непомерно растянутым крупом. Он идет за сохой, взрывая весеннюю землю. Вот два чертика, похожие на арлекинов, уводят людей, тощих, как спички, в геенну огненную, напоминающую невыкошенный сентябрьский луг с пожелтевшей травой. А рядом под навесом лежит младенец. Женщина стоит на коленях, на голове — широкополая желто-оранжевая шляпа-нимб. Иисус протягивает к ней тонкие руки.

6. Йенс. Эллинг. Музей викингов

Мы подобрали его на заправке. Йенс был похож на викинга. Высокий, голубоглазый. Тонкое лицо окаймляла рыжая бородка. За спиной у него висел огромный рюкзак. Под рюкзаком — на длинных шнурках — болтались гигантские тимберланды.

— Добрый вечер. Куда вы едете?

— На север, в сторону Эллинга.

Он улыбнулся и медленно спросил, подбирая английские слова:

— Не могли бы вы подвезти меня до следующей заправки?

Мы сели в машину и покатили по пустынному шоссе. Сначала несколько минут молчали. Потом я спросил его:

— Вы датчанин?

— Нет, я из Германии, живу около Ганновера. Слышали о Ганновере?

— Да, слышали.

— Куда вы едете?

— Еду в Осло, оттуда до мыса Нордкап, самой северной оконечности Европы. Каждый год провожу там свой отпуск.

— Вы учитесь? — спрашиваю я, чтобы хоть как-то поддержать беседу.

— Нет, не учусь. Я работаю с огнем.

— Вы пиротехник?

— Нет, — засмеялся Йенс, — я не пиротехник. Показываю фокусы с огнем.

— Вы глотаете огонь?

— Да, бывает... Разъезжаю по ярмаркам и показываю фокусы.

За окном темнело. В нарастающих сумерках буковые леса становились непроницаемыми, похожими на базальтовые скалы. Неторопливо поворачивались серые лопасти ветряных турбин. Потом я спросил:

— Почему Вы ездите именно туда, за полярный круг?

Йенс неторопливо подыскивал нужные слова. Казалось, что он раз и навсегда уже ответил для себя на этот вопрос:

— Там, где я живу, полно людей. Они везде — в домах, на улицах, в парках. Нет, я не против людей, просто иногда хочется побыть в одиночестве. Норвегия — то норвежское, заполярное безлюдье — для меня, оно как лекарство что ли. Лечит. А еще там — последняя пядь материка. Конец пути, дальше дороги нет. Мне

нравится это чувство последней скалы (the feeling of the final cliff, – сказал он), за которой больше ничего нет, одни только северные льды.

Высадив Йенса, мы свернули с шоссе. Переночевав в Вайле, направились в сторону Эллинга. Эллинг – одно из самых древних поселений в Дании. Провинциальная затрапеза Центральной Ютландии. Супермаркет, хозяйственный магазин, магазин игрушек. Краеведческий музей. В эллингской церкви готовятся к воскресной службе. Собираются прихожане. Пасторесса в мантии, ее белый гофрированный воротник похож на небольшой мельничный жернов, как на картинах Франца Гальса. Спиной к нам сидят двое органистов, он и она. Она кладет голову ему на плечо, он обнимает ее и гладит по волосам.

Рунный камень во дворе эллингской церкви. Варяжский орнамент, ленточная плетенка. В Эллинге король Харольд I Синезубый ("синезубый", потому что любил чернику) принял христианство в 968 году. Харальд-король поставил этот камень в честь Горма, отца своего, и Тюры, матери своей. Харальд, покоривший всю Данию и Норвегию, тот, кто крестил датчан. На одной стороне камня вырезан Мидгардский змей, опоясавший, по варяжской легенде, всю землю. На другой – Иисус, оплетенный гибкими ветвями-лозами древа жизни.

За погостом начинается древнее захоронение, расстановка камней повторяет очерк варяжского судна. Издалека скопище камней напоминает мусульманское кладбище. На средневековом кургане, могиле короля Горма, мальчишки поедают мороженое, потом бегают среди могильных камней, играют в салки или гоняют на велосипедах возле церкви. Вспомнился древнеримский ипподром Чирко Массимо, на котором теперешние римляне выгуливают собак. Средневековое прошлое стало неотъемлемой частью теперешнего Эллинга. Минувшее срослось с нынешним до такой степени, что заезжий турист, приехавший сюда в поисках Средних веков, вероятно, будет разочарован, особенно когда умолкнет церковный колокол и воздух пронзят острые жальца велосипедных звоночков.

Музей викингов в окрестностях ютландского города Рибе оказался импровизированной варяжской деревней. Длинный дом наподобие барака, приподнятые полы. Крышу подпирают два толстых столба, испещренные варяжской резьбой. Ближе к потолку стены слегка загибаются, как будто и вправду вместо крыши дом покрывали перевернутой лодкой. Вдоль стен стоят лавки, на которых лежат матрасы, набитые соломой. Каждый матрас покрывает овечья шкура. Около очага сидит мужчина в длинной льняной рубашке. С толстого кожаного пояса свисает охотничий нож в кованых ножнах. На голове – круглая вязаная шапочка, напоминающая лыжную. Шерстяные гетры надеты поверх узких льняных штанов. Он пьет воду из деревянной чашки. Рядом женщина в

плиссированном платье печет овсяные лепешки на плоской каменной плите. На ключице — огромная брошь в форме черепахи. Волосы стянуты узлом на затылке. Около выхода другая женщины сидит на лавке и чешет шерсть. В кузнице — вросший в землю деревянный сруб, сверху покрытый толстым слоем торфа, — выставлен на обозрение плуг с отвалом и стреловидным лемехом. Невдалеке от кузницы — похожий на землянку коровник и конюшня, построенная из камня и торфа. Сын пробует стрелять из лука. Помогает ему паренек лет пятнадцати в огромной лисьей шапке, закрывающей половину головы. Сын целится в мишень, изображающую черного кабана, натягивает и отпускает тетиву. Стрела вздрагивает и, не долетев до мишены, падает на землю.

7. Рибе

Датское слово "река" — звуковое подражание текучей воде. Город стоит на реке. Чуть выше по течению работает водяная мельница. Как лососи на нересте, выскальзывают из воды лопасти. Поддаваясь течению, крутится деревянный барабан. Главная улица — кафе, рестораны, сувенирные магазины. Заходим в городской собор. Навстречу выбегает человек в полосатом костюме (из пиджачного кармана выглядывает накрахмаленный платок), отечный, с мутными глазами в красных прожилках (глаза навыкате, на которые наползают тонкие, почти прозрачные рыбьи веки), усы как бы разделены надвое — справа и слева желтоватая, колючая поросль, посередине узкая полоска голой кожи. По лицу расплывается масляная улыбка, и цвет лица у него такой желтый, что, кажется, поскобли его щеку — из нее закапало бы подсолнечное масло.

— Сюда нельзя, — говорит он, — здесь проходит венчание.

Он поворачивается к нам спиной и быстро закрывает за собой тяжелую входную дверь. Я вижу, как осыпается перхоть на воротник пиджака.

По главной улице прогуливаются туристы, дойдут до собора и возвращаются к парковке. Во всем остальном городе пусто, несмотря на выходной день. Кажется, что все местные жители разом покинули этот город. Только проходя мимо открытых окон, догадываешься, что там, за окнами, кто-то живет. Догадываешься по шепотку из кухни, по прошелестевшей и смолкнувшей занавеске, по тонкому звону серебряных ложечек о чайный фарфор (иногда слышно весь чайный прибор — чайник, сливочник, сахарницу, чашки), по монотонному хрипу радио или телевизора. Невидимки, которым принадлежит этот город. Шесть часов вечера, еще не поздно. В глубине пустынной улицы стоит церковь, захлебывается колокол. Сын говорит: давай вернемся. Мне страшно.

К церкви медленно подходит семейство — отец, мать и дочка. Девочка-подросток в новеньких джинсиках и в ро-

зовой майке с надписью “Welcome”, смотрит на нас и отворачивается, потом на повышенных тонах обращается к отцу:

— Пап, когда мы будем ужинать?

Русская речь звучит непривычно и беспомощно. Мы идем по безлюдной улице. Перед нами проскальзывает черная кошка и исчезает в подворотне. Я говорю сыну:

— Остановись, пусть кто-нибудь другой сперва здесь пройдет или проедет.

Он не слушает меня и идет дальше.

— Что ты наделал?! — кричу я.

— При чем здесь кошка? — говорит он.

Александр Стесин
Проводы Пятого солнца

1

Давай, Команданте Же, еще раз про пернатого змея. И про город — как он у них там назывался, Тянитолкай? Теночтитлан. Но и Тянитолкай неслучайно вертится на языке: по сходству звучания с именами науатль; по ассоциации с теми проволочными фигурками мифических животных, коими до отказа завален рынок Бальдерас. Впрочем, сувенирные тянитолкаи из Оахаки — это одно, а их пращуры, обитатели ацтекского пантеона-зоомузея, — совершенно другое. Обсидиановая бабочка Ицпапалотль с когтями ягуара, бог дождя и грома Тлалок с глазами совы и змеиными завитками перед носом, бог землетрясений Тепейоллотль с руками, похожими на надувные лодки; полурыба-полукрокодил Сипактли, принцесса Иламатекутли с лицом, скрытым бахромой из кинжалов, пернатый змей Кецалкоатль и колибри левой стороны Вицлипуцли. Сон разума порождает сакральных чудищ. Давай, Же, про Вицлипуцли.

Же не любит про ацтеков. Любит про мексиканскую революцию, про Каррансу, Обрегона и Панчо Вилью. Про самонадеянного генерала Санта-Ану, трижды объявлявшего войну Соединенным Штатам и не выигравшего ни единого сражения, кроме потешной "кондитерской" кампании 1838 года. "Дети мои, за мной!" — командует генерал, надувая обвисшие щеки. Же рассказывает в лицах, входит в образ. Мексиканскую историю он знает как свои пять пальцев. Давние знакомые, мы не общались несколько лет, с тех пор как он покинул Нью-Йорк в поисках новых рубежей. Тогда я знал Же как человека разносторонне одаренного, немало пьющего и, кажется, склонного к меланхолии на предмет собственной нереализованности. А сейчас, путешествуя с ним по Мексике, видел перед собой счастливого первопроходца, обретшего новую родину среди ушастых кактусов "нопаль" и котловин Сьерра-Мадре.

— Ладно, на чем мы остановились? На Теотиуакане? Теотиуакан был одной из самых продвинутых цивилизаций. Когда пришли чичимеки...

— Чучмеки?

© Александр Стесин, 2012

— Сам ты чучмек. Тольтеки и чичимеки, которые подмяли под себя теотиуаканцев и, в общем, присвоили их культуру. Раньше считалось, что тольтекская цивилизация — это что-то оригинальное и значительное. А когда раскопали Теотиуакан, выяснилось, что у тольтеков не было ничего своего, все заимствованное. Просто дикие племена с севера, кажется, из Колорадо. Кстати, и ацтеки из тех же краев. Но ацтеки — это вообще не цивилизация, а черт знает что. Сплошные войны да человеческие жертвоприношения. Они и пленных брали с единственной целью принести их в жертву своему Вицлипуцли. Так что в итоге соседние племена были только рады посодействовать конкистадорам. Хотя, конечно, Кортес тоже по головке никого не гладил. Но по сравнению с Писарро и другими был вполне приличным человеком.

— Слышь, Же, а что это там за вышки торчат?

— Вот как раз туда я вас и везу. Город-призрак.

Все предыдущие дни — с того момента, как наша группа из шести человек погрузилась в салон микроавтобуса с забулдыгой-водителем, откликавшимся на нежное русское имя Люся, — Мексика представала чередой уютных колониальных городков, никак не вязавшихся с моими наивными представлениями о "диких южных соседях" цивилизованной Америки. Вместо сугробов мусора и оцинкованных кровель лачуг — фотогеничные фасады двухэтажных зданий, облицованных изразцовой плиткой или украшенных лепниной, с вазообразными балясинами балюстрад и балконными цветниками. В Керетаро мы глазели на гонки старинных автомобилей и, замирая от ужаса, аплодировали подростку, жонглировавшему факелами в местном цирке; в Гуанахуато проталкивались через уличный бал-маскарад, посвященный творчеству Сервантеса. Окна гостиницы выходили на площадь с ратушей и фонтаном, с медленной воскресной толпой и пожилыми парами, вальсирующими под духовую музыку в парке, со шкатулочной мелодией мороженщика и продавцом воздушных шаров, издали похожим на двуногое дерево с клубящейся кроной разноцветных осенних листьев. Картины будничной жизни, будто специально созданные для изумленного взгляда туриста, наводили на мысль о том, что весь "магический реализм" латиноамериканских классиков — не более чем зарисовки с натуры.

Теперь же, наблюдая однообразный ландшафт сквозь стекло микроавтобуса, я впервые увидел ту дикую Мексику, о которой, как и большинство американцев, имел смутное, но устойчивое представление априори: сухая жара, изобилие кактусов, редкие фигуры людей в сомбреро, куда-то бредущих на фоне странных пирамидальных построек. При ближайшем рассмотрении постройки оказались заброшенными штольнями, а пустынная мест-

ность — историей государства в миниатюре.

2

Первыми бледнолицыми обитателями этих пустот стали иезуиты, посланные в Сан-Луис-де-ля-Пас в середине XVI века с целью усмирения индейцев-чичимеков. Последние из некогда многочисленных чичимеков то и дело нападали на повозки с рудой, идущие из Сакатекас, где в то время были обнаружены залежи серебра. Ситуация грозила обернуться еще одной кровопролитной кампанией. Однако, поборники казуистики и приспособительной морали без труда справились со своей миссией, навязавшись в друзья к воинственным, но простодушным аборигенам. Тут же обнаружилось и новое месторождение: по легенде легковерные индейцы сами привели клерикалов к серебряной жиле, после чего с евангелизацией коренного населения было покончено и иезуитская миссия полностью посвятила себя развитию горной промышленности. В 1576-м были построены первые шахты и на карте Мексики появился новый город, получивший название Палмар-де-Вега. Так началась серебряная лихорадка, продлившаяся до 1767 года, когда иезуитский орден был изгнан из Новой Испании. Все произошло за считаные дни: многочисленные выработки опустели, плавильные печи остыли. На смену иезуитам пришли бездеятельные францисканцы.

Добыча полезных ископаемых возобновилась в середине XIX века. Оказалось, что чичимекская земля богата не только серебром, но и ртутью, на которую возлагали большие надежды. В 1871 году земля была куплена частными предпринимателями Торресом и Кобосом, а в 1873-м дело перешло в руки магнатов из Великобритании. Город, переименованный в Сан-Педро-делос-Посос, снова ожил. Не остался в стороне и диктатор Порфирио Диас, экспроприировавший британские владения в 1895 году, после чего в город, в очередной раз сменивший хозяина и название (отныне это был Сьюдад-Порфирио-Диас), провели электричество, телеграф и железную дорогу. На рубеже веков здесь насчитывалось около пятисот горно-промышленных концернов и больше трехсот действующих шахт, а численность населения города перевалила за семьдесят тысяч.

Мексиканская революция 1910 года положила конец процветанию Серебряного города, как называли его старожилы, уставшие от нескончаемой смены имен и правителей. Рабочие шахт, вдохновленные крамолой Сапаты и Панчо Вильи, примкнули к народному восстанию, Карнеги и Морганы вывели капитал. Пока горожане воевали против диктатуры Порфирио Диаса, в регионе произошло землетрясение, а вслед за ним — наводнение. Денег на осушение копей не было и не предвиделось. Оставалось одно: принять участие в следующем восстании. Волна народ-

ного гнева выплеснулась из затопленного города во время войны Кристеро. На сей раз ополченцы решили сражаться на стороне католической церкви, то есть тех, кто и заварил всю кашу четырьмя веками ранее. В конце концов, так ли важно, кто на чьей стороне? Важен сам факт действия. Осенью 1926 года жители города перебили гарнизон солдат-федералов, вчерашних революционеров, ныне провозглашенных врагами католической веры. Узнав об этой расправе, генерал Альваро Обрегон приказал расстрелять повстанцев, коих оказалось полгорода, а сам город был лишен своего статуса, вновь превратившись в безымянный населенный пункт, часть муниципалитета Сан-Луис-де-ля-Пас. К 1950 году в бывшем Серебряном городе проживало меньше двухсот человек.

3

За оградами, мало-помалу превратившимися в горы искрошившегося адоба, виднелись остовы заброшенных зданий. Стены без крыш, рухнувшие стропила, зияющие оконные проемы. Из-под сваленных в кучу стройматериалов прошлого века пробивались щетинистые выгоревшие стебли, точно волосы, растущие у покойника. “Вот здесь у них была школа, а там — резиденция губернатора, — показывал Же, обнаруживший эти развалины в позапрошлом году. — А вон в том здании находились почтамт и арбитражный суд...” Откуда ему известно? Отчего-то такой вопрос не приходил мне в голову. Когда тебя водят по местам археологических раскопок, ты автоматически принимаешь на веру все, что рассказывает экскурсовод. Но здесь не раскопки, не Помпеи. Скорее Припять или сталкерская Зона, постапокалиптический пейзаж, нагруженный тишиной. Руины из кирпича-сырца, кажущиеся мертвее всех некрополей Тюлы и Теночтитлана, как будто время — шестьдесят лет, прошедшие с тех пор, как Серебряный город официально прекратил свое существование, — успело уничтожить лишь признаки жизни, но не признаки смерти.

Впрочем, кое-какие признаки-призраки жизни были в сохранности. Например, гирлянды из бумажных медуз, натянутые между деревьями поперек грунтовых дорожек. Или шарнирные скелеты Катрины, мексиканской Леди Смерти, в роскошных дамских нарядах XVIII столетия, выставленные в преддверье Дня мертвых. Или традиционные пирамиды сахарных черепов, изготовленных по тому же поводу. Или, наконец, усыпанные маргаритками алтари, где помещались фотографии и любимые предметы усопших. Вся эта атрибутика смертолюбивой культуры свидетельствовала о том, что город вымер не окончательно.

— Так значит, здесь кто-то еще живет?

— А ты как думал, — заулыбался Же, — жизнь после смерти. Не в шахтах же мы будем ночевать.

— По мне так и в шахтах нормально, если без грызунов и без насекомых.

— Тут тебе не Африка, друг дорогой, не Гана какая-нибудь, а цивилизованный город. Хоть и призрак.

"Жизнь после смерти" оказалась благоустроенной фазендой с большим участком, разбитым на несколько патио, где все цвело, тенькало и приторно благоухало. Управляющего фазендой звали Ник, Же отрекомендовал его как старого друга. Техасец Ник перебрался сюда с любовником Педро лет десять назад. Владелица, некая богатая сеньора из Мехико, никогда не бывала в этом коттедже, доставшемся ей по наследству, однако продать родовое имение американским постояльцам отказывалась. Ник и Педро сокрушались, но продолжали грандиозный проект реставрации, и за десять лет развалюха превратилась в хоромы, так что, если бы несговорчивая рантье и согласилась продать им свои владения теперь, они пришлись бы им не по карману. Педро зарабатывал дизайном садовых участков, а Ник, профессиональный фотограф в прошлой жизни, переквалифицировался в кровельщика, кем и подвизался от случая к случаю в близлежащем городке Сан-Мигель. По вечерам стареющая чета курила анашу на веранде в компании собаки и котенка, которых назвали одним и тем же именем — Руби.

Нам отвели гостевую комнату во флигеле, украшенную многочисленными индейскими цацками и отопляемую печью-голландкой, которую мы, застигнутые врасплох ночным похолоданием, так и не сумели растопить. Утром нас разбудил заупокойный голос из репродуктора, доносившийся откуда-то со стороны главной площади.

— Это местный обычай такой, — пояснил Ник, — по утрам новости из репродуктора, а по вечерам петарды в честь какого-нибудь праздника. У наших индейцев праздники — 256 дней в году. В основном религиозные, конечно. Христианские, языческие — не важно. Но обязательно с фейерверком. А сейчас особенно: проводы Пятого солнца какникак. Слыхали небось про Пятое солнце? Говорят, по индейскому календарю 2012 год — последний.

— А как же Шестое солнце?

— А кто его знает. Может, взойдет, а может, и нет. Но даже если не взойдет, я думаю, пиротехнику не отменят. Таков уж обычай: петарды грохают, собаки подвывают.

И правда: в городке, где практически никто не живет, оказалось на удивление много собак. По крайней мере, так казалось. Фокус был в том, что собак этих никто не видел: за пару дней, проведенных в прогулках по городу, нам повстречались всего-то две-три дворняги. Тем не менее по ночам округа оглашалась надрывным лаем тысячи псов. Руби тревожно прислушивалась, но не подхватывала.

Одна из собак-привидений все же попалась нам на глаза, когда Ник повел нас на экскурсию в пустующий роскошный особняк, за которым присмат-

ривал в отсутствие хозяев. Хозяева, приезжавшие не чаще, чем раз в полгода, оставили четвероногого друга сторожить территорию. Какое там сторожить! Несчастный пес только и ждал, чтобы кто-нибудь наконец пришел его навестить. Как только скрипнула калитка, он бросился нам навстречу и принялся отчаянно лизать незнакомых людей, скуля и виляя хвостом. Ник достал из сумки собачьи консервы. "Я стараюсь кормить его каждый день и периодически беру с собой Руби, чтобы он с ней поиграл... Я бы забрал его к нам, но хозяева против".

Вскоре выяснилось, что Ник и Педро были далеко не единственными новоприбывшими в это странное место. Были и другие гринго, от профессора изящных искусств из какого-то маленького колледжа до наследницы гигантской корпорации "Тайсон Чикен", той, что обогатила наш мир ножками и крылышками Буша. И хотя почти никто из этих людей, скупавших дешевую недвижимость у черта на куличках, не собирался перебираться сюда даже на время, виллы отстраивались по высшему разряду. "Вот увидите, лет через пять-десять здесь будут строиться дорогие дома отдыха, и народ повалит со всех сторон света, — басил местный делец по имени Хайме, похожий одновременно на вышибалу и на продавца подержанных автомобилей. — Говорю вам, скоро это захолустье превратится в культурный центр. Надо покупать, покупать, пока не поздно!" Рвение, с которым он толкал эту речь, убеждало в обратном.

Для строительства нанимали индейцев, которые и составляли, по-видимому, основную часть крохотного населения бывшего шахтерского городка. Индейские дети и женщины со скарбом в руках мелькали в отдаленной перспективе безлюдных улиц и быстро сворачивали за угол. Казалось, они жили какой-то невидимой жизнью, жили и умирали в своем *всегда*, не имеющем отношения ни к захватывающей истории города-призрака, ни к призрачным надеждам на его возрождение.

4

На куске коры, прислоненном к высокому забору, было выведено: "Жилище Синего оленя. Музыкальные инструменты доиспанской эпохи". Же толкнул калитку, обратился к кому-то по-английски и, получив односложный ответ, дал нам отмашку. Территория представляла собой многоярусный сад камней и ветвящихся дорожек-арройо. В глубине участка — каменный дом без окон, а рядом — мастерская под дощатым навесом. Коренастый индеец средних лет, весь в стружке и краске, орудовал рубанком, подпевая мелодичному "зову племени", исходившему из допотопного кассетника. "Знакомься, Луис, это мои друзья..." — "Хелло, амигос!" Беззубая улыбка из-под усов, взгляд с сумасшедшинкой. Предметы в мастерской — один другого диковинней: вез-

де развешены и разложены какие-то обереги, черепа животных. Наполовину ощипанная тушка ястреба валяется на верстаке в соседстве с недоеденным завтраком.

— Располагайтесь, амигос! — пригласил Синий олень.

— Потом, Луис, вечером. Я обещал показать им шахты. Немножко полазаем, а ближе к вечеру заглянем.

— Вечером так вечером, — кивнул индеец, на удивление бегло изъяснявшийся по-английски. — Я своим скажу, чтоб темаскаль приготовили.

Пока мы слонялись по территории бывшего прииска, Же ввел в курс дела: Луис — "куикани", то бишь музыкант, слагатель песен и мастер по изготовлению музыкальных инструментов, для местных индейцев он — культовая фигура. В былые времена "куикани", с малых лет обучавшиеся в специальных школах-интернатах, занимали самое почетное место при дворе владыки. Это было задолго до прихода испанцев, в период расцвета ацтекской империи, когда аппарат государственной власти состоял из трех департаментов: судебного, финансового и музыкального. В XIV веке поэт-правитель Несауалькойотль основал "академию музыки и стиха" в Тешкоко. На дворцовых церемониях, где музыкальное исполнение было обязательным компонентом, неверно взятая нота каралась смертной казнью.

В обществе, верившем, что человеческая кровь — пища богов, а насильственная смерть — желанная участь для всякого благочестивого гражданина, в империи, где войны велись не с целью обогащения, а как часть религиозного культа, где любое событие, будь то строительство храма или сбор урожая, сопровождалось массовыми жертвоприношениями и жрецы надевали кожу, заживо содранную с пленников, а сердца, вырезанные обсидиановым ножом, складывались в каменную чашу "чак-моол", в мире ацтеков, снискавших славу самой жестокой цивилизации за всю историю человечества, музыка и поэзия почитались как нигде. Произведения пятнадцати "великих бардов" с их сложной просодией и изобилием метафор передавались из поколения в поколение. При этом выше всего ценились не хвалебные песни, не героический эпос и не любовная лирика, а ламентации о бесцельности и быстротечности жизни. Классик ацтекской поэзии Несауалькойотль — сущий Экклесиаст.

Испанские переводы песен Несауалькойотля я нашел во вкладыше в самопальный компакт-диск, приобретенный у Луиса. Там же была дана историческая справка, в которой говорилось о том, что область Сьерра-Горде издревле населялась племенами памес и хонас, собирательно именуемыми чичимекас, и что потомки этих первых поселенцев по сей день обитают в населенных пунктах региона. Точнее это, видимо, подразумевалось, а написано было другое: человек, составлявший справку, перепутал слова "потомок" и "предок", отчего весь текст

приобрел неожиданно мистический смысл.

Налазавшись по пещерному лабиринту заброшенных копей, подкрепившись традиционным индейским блюдом из муравьиных яиц, напоминавших пересоленную перловку, и запив это дело не менее традиционной агавовой брагой, мы побрели в направлении "жилища Синего оленя". Же торопил, приговаривая, что темаскаль — долгая затея, лучше прийти пораньше, и вообще не могли бы мы для разнообразия, что ли, пошевеливаться.

— Хорошо, хорошо, Же, мы идем. А темаскаль — это что?

— Индейская баня. Я в прошлый раз в ней парился с Луисом и еще одним чуваком. Мало не покажется.

У калитки мы встретили двух женщин в длинных юбках и серапе в черно-белую полосу. Женщины подметали дорожку, пританцовывая в такт барабанному бою, доносившемуся из глубины участка. Увидев нас, они быстро переглянулись и бросились врассыпную. Справа по борту показался парень с длинными косами, металлическими кольцами в мочках ушей и ореховыми погремушками на ногах. "Это один из родственников Луиса. Они тут всем кланом живут. Я пойду узнаю насчет бани, а вы идите с Луисом, он вам покажет свои инструменты". Мы пошли на звук барабана. Парень с погремушками выкрикнул что-то по-чичимекски, видимо, извещая хозяина о приходе гостей. Высунувшись из дверей бункероподобной постройки, Луис поприветствовал нас так, будто с момента нашей встречи прошло не три часа, а три года: "А, амигос! Как же, как же, я вас помню!"

Музыкальная коллекция была поистине замечательна: огромные барабаны, выдолбленные из целого ствола дерева и украшенные замысловатой резьбой, барабаны с водяным резервуаром, накрытые высушенной тыквой, барабаны из черепашьих панцирей, трещетки и погремушки из орехов гуиро, деревянные гонги, костяные трубы, дождевые палочки, тростниковые дудочки, морские раковины-окарины, двойные и тройные флейты, цимбалы и металлофоны. Трудно поверить: все это богатство изготовлено и расписано одним человеком. Человек-оркестр Луис поочередно демонстрировал звучание каждого инструмента и, войдя в раж, самозабвенно приплясывал в такт собственной игре. Загипнотизировав слушателей звуками глиняной флейты, удовлетворенно выдохнул: "Пентатоника!"

— Где же вы всему этому научились?

— Давно научился, еще в восьмидесятых. Пошел на концерт одной группы, а после концерта стал у них расспрашивать. Они говорят: "Мы свои инструменты сами делаем". И я тоже стал делать. Съездил к одному навахо в Аризону, купил у него кое-что, он мне про флейты рассказал. А теперь это они у меня покупают!.. На вот, бери на память, — Луис снял со стены расписную дощечку. — Я недавно новый барабан делал,

эта дощечка от него отвалилась. Я тогда ее и раскрасил. По-моему, красиво.

5

В задней части двора мы скинули с себя одежду и, оставшись в одних плавках, выстроились в неловкую, зябнущую шеренгу, как на уроке физкультуры в начальной школе. "Не стойте так, — приказал Луис, — встаньте полукругом. Вот так. — Помощница в пестром серапе поднесла ему дымящуюся чугунную угольницу. Запахло тлеющей хвоей. — Теперь закройте глаза. Мне надо совершить небольшой обряд". Напевая что-то колыбельное, Луис окурил каждого из присутствующих магическими благовониями. "Вот и всё. Спасибо, амигос. Теперь можете открывать глаза и забираться внутрь по одному. Только не трогайте камни, они очень горячие. Я пойду первым". Луис отодвинул могильную плиту, заслонявшую низкий проход, и мы поползли друг за другом в темноту каменного склепа. Земля внутри темаскаля была выстлана какой-то душистой листвой, в центре — аккуратно сложенная горка раскаленных камней. Жаркий воздух с запахами тимьяна, розмарина и древесины окоте. Мастер церемонии сел у входа и задвинул плиту, оставив узкий проем.

"ОК, амигос, можно начинать. Вы не бойтесь, ничего плохого здесь не случится. Я буду петь и немножко играть, а вы мне, пожалуйста, подпевайте. Темаскаль — наша древность, поэтому песни, которые мы поем, — это молитвы о наших близких и тех, кого с нами уже нет. Пока будете петь, постарайтесь думать о них. О солнце, которое мы провожаем, и об очищении, которое нам предстоит. Все, что нас держит внизу, должно превратиться в дым. Так делали наши предки, ацтеки и чичимеки. Да, и вот что еще: хоть здесь и темно, я прошу вас все время держать глаза закрытыми. Не бойтесь, плохого не будет..."

С этими словами Луис ударил в бубен и начал напевать — сначала тихо, потом все громче, пока соборная акустика пространства не наполнилась хором голосов, оголтело повторяющих заклинательную тарабарщину: "Хен-да-нена, хен-да-не-на, хен-да-не-ща-уа..." Меня прошиб пот, и я услышал собственный отдаляющийся голос. "Эй-да-хейохей, эй-да-хейо-хей..." Голос, зовущий кого-то на непонятном языке, обращающийся то ли к тем, кого нет, то ли к нам, которых не будет, то ли к самому времени, текущему по встречной полосе из будущего в никогда не бывшее, мимо всевмещающей точки *сейчас*. "Еще немножко посидим, амигос, я попрошу, чтобы нам принесли еще пару камешков".

Дружные распевки на пределе голосовых связок чередовались с сольным горловым пением куикани, одна мантрическая фраза переходила в другую. В какой-то момент мне показалось, что к нашему хору прибавилось еще не-

сколько голосов — судя по тембру, индейских. Я открыл глаза, но увидел только узкую полоску вечернего света в проеме, оставленном для связи с внешним миром. Время от времени проем увеличивался и в него просовывали музыкальные инструменты в церемониальном порядке: барабан, окарину, длинную трубку — местный аналог австралийского диджериду. После звука диджериду кто-то, сопя, передвинул плиту; связь с окружающим миром оборвалась. Я почувствовал, что погружаюсь в сон.

"Препара эль агуа"[1], — скомандовал Луис. Через несколько минут плиту отодвинули. Снаружи было так же темно, как и внутри. На выходящих из темаскаля опрокидывали по три ушата ледяной воды. Помощницы в серапе, добродушно посмеиваясь, закутывали дрожащих гринго в банные полотенца. "Вот и всё, амигос. Вот такую баню я себе устраиваю где-то раз в две недели. А теперь мне пора репетировать с группой. Если хотите послушать, милости просим".

Группа, состоявшая из пяти человек, репетировала на чердаке, привычно заваленном музыкальными инструментами и черепами животных. Накрапывающая перкуссия и протяжный звук флейты "хопи" сливались с лаем тысячи псов, которых никто не видел. Щуплый индеец в рваной футболке с логотипом нью-йоркской бейсбольной команды затянул "дорожную песню":

Приходи, помоги,
помоги мне, Нанауадин.
Я пойду один,
самым первым пойду один.
За другими пойду, самым
первым — вслед за толпой.
И тогда придешь,
поведешь меня их тропой.
Зацветут поля,
зацветут их поля вдали
да покатится по небу
желтое колесо.
И разгладятся складки гор
на лице земли.
Как пойду по земле,
не узнаю ее в лицо.

* * *

Через несколько дней, гуляя по колониальному городку в другой части Мексики, я чуть было не угодил под колеса грузовика. Водитель, едва успевший затормозить в последний момент, высунулся из окошка, чтобы обматерить разиню-пешехода. Я поднял глаза на водителя. Беззубый, усатый рот, диковатый взгляд. Рядом сидел парень с длинными косами и металлическими кольцами в ушах. Ребята, это же Луис! Луис! Какими судьбами?.. "А, амигос, вот и вы", — поприветствовал нас Луис, как если бы в этой встрече за тридевять земель от "жилища Синего оленя" не было ничего неожиданного. И, дружелюбно улыбнувшись, поехал своей дорогой.

В день нашего отъезда из Серебряного города, армия черных джипов проехала по пустынным улицам и остановилась у заброшенных шахт.

1. Готовьте воду (*исп.*).

Из джипов выгрузились люди с аппаратурой для фотосъемок, а вслед за ними — выводок топ-моделей в вечерних платьях. На вопросы шестерых любопытных очевидцев люди с аппаратурой удивленно вскидывали брови: "Разве вы ничего не слышали? Ваша деревня получила статус пуэбло махико[1]. Мы устраиваем эксклюзивную фотосессию." Возрождение города-призрака шло полным ходом.

1. Pueblo magico — волшебная деревня (*исп.*); программа мексиканского Министерства туризма, предоставляющая субсидии на коммерческое развитие городов и поселков, имеющих историческое значение.

Александр Ливергант

Инкогнито проклятое, или Дело наше веселое

Разговор в трамвае (метро, троллейбусе, электричке):

– Что это вы читаете?

– Коэльо.

– Перевод хороший?

– ???

Или такая сцена: сидит в парке человек и держит в руках раскрытыми сразу две книги. Одна – французский роман в русском переводе. Другая – он же в оригинале.

Сличает, сравнивает, делает пометки...

И диалог, и сценка, согласитесь, мало правдоподобны. Да, в узком кругу можно услышать:

– Прочтите N. Перевод бесподобен.

– А кто переводил?

– X. Очень удачная работа.

Но в очень узком. Вообще же, читатель, в большинстве своем, не делит книги на русские и переводные. Написаны по-русски (даже если и не вполне по-русски) – значит, русские.

Да и мы, почтовые лошади просвещения, когда в детстве читали Майн Рида, или Жюля Верна, Стивенсона, или Дюма, смотрели разве, кто переводчик? Всем – и читателям, и зрителям – куда интереснее, *что* написано, а не *как*. Сравните тиражи "что" с тиражами "как" – и почувствуйте разницу.

Что из этого следует? Что читателю совершенно все равно, как мы переводим. Поэтому, между прочим, – и издателям тоже. Верно, не всем, но многим. Ему, издателю, важно, чтобы переводили, во-первых, дешево, во-вторых, быстро. Если раньше нам с вами платили за то, что мы смотрим в словарь, то теперь платят, чтобы не смотрели.

Не все равно товарищам по несчастью – при возможности коллеги не преминут заглянуть в оригинал, если он доступен, да и русский текст исследуют в увеличительное стекло. Не все равно студентам, которых мы учим этой странной, безымянной и недоходной профессии. То есть и им было бы все равно, не требуй мы от них найти "подходящий русский эквивалент", да и про оригинал не забывать.

Справедливость восторжествовала. Мы стали наконец теми, кто мы есть. В лучшем случае – невидимками. В худшем – если кому-то все же пришло в голову вчитаться в наш текст или – не дай бог! – сравнить его с оригиналом – скоморохами. Престиж профессии утерян, говорят переводчики старой, советской еще, обласканной школы. Перево-

© Александр Ливергант, 2012

дчики, которые привыкли работать медленно, и за славу, и за почет, и за приличные деньги. А я бы сказал так: престиж — по профессии. Если ты настоящий переводчик — тебя нет по определению; если плохой — лучше б тебя не было. В самом деле, если смиренно держишься текста оригинала, ни на шаг не отступаешь от переводимого автора — тебя едва ли можно будет прочесть. Если же с автором "на дружеской ноге", переписываешь его, интерпретируешь — читать можно. Но кого? Не автора. Тебя. Когда перестаешь быть невидимкой, "творишь из-под автора", как выразился Набоков по другому, впрочем, поводу, то перестаешь быть переводчиком. Тебя уже числят по другому, так сказать, департаменту. Заходер не переводит — пересказывает.

Эти невеселые рассуждения касаются переводимых текстов. А как быть с непереводимыми? Вы уверены, что финн, аргентинец или китаец, даже умница и книгочей, оценят по достоинству даже добросовестно переведенные на финский, испанский или китайский "Левшу" Лескова или "Соль" Бабеля?

Отнесемся же к переводу (прозы — не поэзии) трезво, как к ремеслу, а не как к творчеству. Будем держать в уме, что читатель о переводчике, как правило, даже не догадывается. Самые талантливые из нас создают не русскую литературу, а, как теперь выражаются, "русскую версию". И, может быть, правы по большому счету пиратствующие издатели, которые нередко "забывают" поставить на обороте титула или упомянуть в содержании фамилию переводчика. Его нет. У нас все книги — и плохие и хорошие, и переводные и не переводные — русские. А у немцев — немецкие.

Да, читатель нас, переводчиков, "в упор" не видит. Мы-то, как уже говорилось, — видим и не особенно друг друга жалуем.

Представители "великой советской школы художественного перевода" любят посетовать на закат профессии, пожаловаться, что нет достойной смены. "Богатыри — не вы", сначала язык выучите, и тот, "с которого" и, первым делом, свой собственный, тот, "на который", оба они у вас сильно хромают.

Юные почтовые лошади тоже в накладе не остаются — затеяли ныне увлекательнейшую игру, переперевод называется; даже у нас в журнале такая рубрика завелась. Имеются же у итальянцев с десяток переводов "Мастера и Маргариты", а у немцев вдвое больше — "Анны Карениной". Чем мы-то хуже? Да и классики — Маршак, Любимов, Райт-Ковалева (настаивают переводчики "новой волны") — при ближайшем рассмотрении далеко не безупречны. Нашему потребителю зарубежной литературы — у молодых и не только у молодых на этот счет нет сомнений — нужны новые сэмы уэллеры, папаши горио, гланы и геки финны. Свободному человеку в свободной стране потребен не закомплексованный и инфантильный, а матерящийся через слово, точно он только что из исправительной

колонии вышел, Холден Колфилд. Почему бы в самом деле, говорят нам, не переперевести до блеска и потери смысла отполированные автором "Мистера Твистера" сонеты Барда или его же трагедии, которые в классической русской версии (да вы сравните с оригиналом!) грешат либо, пусть и гениальной, но отсебятиной (Пастернак), либо буквализмом (Лозинский) — попробуй, уверяют многие режиссеры, прочти со сцены шекспировские монологи в его, Лозинского, интерпретации. Не пора ли попробовать найти между этими полюсами золотую середину? — задаются вопросом многие современные переводчики, и ищут, и находят эту "середину", вот только золотую ли? Почему бы не "вывести на чистую воду" еще недавно непогрешимого Николая Любимова? Старик ведь, чего греха таить, нередко путался в хитросплетениях прустовской прозы, его сваны, форшвили и вердюрены то и дело сбиваются на просторечие, а ведь Сван — не Тартарен из Тараскона. Или — Корнея Ивановича: не всегда, ох не всегда, "догоняет" автор "Мойдодыра" и "Высокого искусства" скрытые библеизмы, что обыгрываются в рассказах О.Генри; увы, английский Уильям Сидни Портер куда смешнее русского.

И не беда, что вам, нынешним, часто не хватает таланта и мастерства и почти всегда — опыта и культуры. Даешь новых макбетов, форсайтов и гансов касторпов. Новых китсов, мачадо, верленов и леопарди. Новому времени — новые переводы!

Перевод — тем более переперевод — занятие, может, читателю и незаметное (вот уж действительно "невидимые миру слезы"), зато азартное. Настоящая битва книг, как некогда назвал спор между авторами античными и современными незабвенный Свифт... Переводных и оригиналов. И победу в этой "битве" в девяноста случаев из ста одерживают оригиналы.

Но мы не унываем. Один известный переводчик в конце каждого своего электронного письма обязательно напоминает: "Дело наше веселое". И он прав. Веселое — несмотря на все вышесказанное.

Весело ведь жить в вымышленном мире.

На днях, когда этот очерк был уже написан, я побывал в связи с выходом нашего специального японского номера на "Радио-Культура". Догадайтесь, как называется передача, в которой я участвовал и в которую нередко приглашают переводчиков. А вот как: "Факультет ненужных вещей".

Среди книг

с Ларисой Савельевой

Европейская лаборатория театральной мысли

Н. М. Вагапова *Международные театральные сезоны в Белграде. БИТЕФ 1967–2007* – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011. – 214 с.

БИТЕФ – эта аббревиатура знакома каждому, кто интересуется зарубежным театром и иностранной литературой. Книга Натальи Михайловны Вагаповой, историка театра, ведущего научного сотрудника Государственного института искусствознания, известного переводчика с языков южнославянских народов, посвящена Белградскому интернациональному театральному фестивалю, который в первый раз состоялся в 1967 году и с тех пор проводится регулярно.

БИТЕФ – это один из самых важных мировых театральных фестивалей, по значению он сравним с теми, что проходят в Авиньоне, Берлине, Эдинбурге. А по мнению театрального обозревателя газеты "Файнэншиал таймс" Майкла Ковени, цитату из статьи которого приводит автор книги, Белградский фестиваль "быть может, самый вдохновляющий и привлекательный".

Н. М. Вагапова – постоянный иностранный наблюдатель белградских международных театральных сезонов, в 1999 году она была членом международного жюри БИТЕФа (стоит отметить, что, согласно статуту фестиваля, критик, режиссер или актер, независимо от того, иностранец он или уроженец Белграда, может удостоиться этой чести всего один раз за свою творческую жизнь). Книга основана, как пишет в вводной главе ее автор, на собственных впечатлениях от спектаклей, на материалах "круглых столов", которые регулярно проводит дирекция фестиваля и на отзывах зарубежной прессы. Художественный директор и автор программ БИТЕФа, человек широко известный в международных театральных кругах, Йован Чирилов в предисловии к труду Натальи Вагаповой высоко оценивает книгу российского театроведа и особо подчеркивает, что, несмотря на обилие критической литературы о фестивале, монографическое исследование о нем появилось впервые.

Книга Н. Вагаповой снабжена хорошими иллюстрация-

ми, которые прекрасно дополняют впечатления автора от спектаклей. Ценно и то, что большое внимание уделено мероприятиям, сопутствующим основной программе, – демонстрации кинофильмов и видеозаписей, связанных с темой года, дискуссиям вокруг спорных и необычных спектаклей, мастер-классам режиссеров и продюсеров – одним словом, тому, что позволяет автору характеризовать белградские сезоны не только как театральные действа, но и как лабораторию театральной мысли.

БИТЕФ дает неоценимую возможность каждому, кто любит и знает театр, пообщаться с такими людьми, как режиссеры Эудженио Барба или Хайнер Гёббельс, или редактор миланского журнала "Sipario" Матеа Марио Джорджетти, побывать на авангардных молодежных программах "After Ten" и " Show Case", которые проводят молодые актеры и студенты белградских театральных вузов. Таким задумали фестиваль его основатели – покойная Мира Траилович и ныне здравствующий художественный директор и вдохновитель всех начинаний БИТЕФа Йован Чирилов.

В первых главах книги Н. Вагаповой живо описана веселая, бесшабашная обстановка первых лет жизни фестиваля, открывшегося легендарным спектаклем Ежи Гротовского "Стойкий принц" по Кальдерону и продолжившего линию, которая дала повод обозревателю белградского журнала "НИН" Владимиру Стаменковичу назвать его "королевством эксперимента". Наряду с режиссерами драматических спектаклей в белградских программах участвуют и современные хореографы: Жозеф Надь, Йоганн Кресник, Саша Вальц.

Автор анализирует, в контексте фестиваля, знаменитые спектакли европейских театров по пьесам классиков европейской литературы и современных авторов, в том числе "Сон в летнюю ночь" Шекспира в постановке Питера Брука, "Три сестры" Чехова в режиссуре Отомара Крейчи, "Неистовый Роланд" по Лариосто Луки Ронкони, "1789" Арианы Мнушкиной, "Фрекен Юлия" по Августу Стриндбергу Ингмара Бергмана, хореодраму Пины Бауш "Замок герцога Синяя Борода" на музыку Белы Бартока и другие раритеты, которые в 60–70-е годы могли видеть только избранные советские критики, время от времени выезжавшие на Запад. Тем интереснее обнаружить, что благодаря принадлежности тогдашней Югославии к странам социализма (хотя и вне "системы") рядом с ними в программах БИТЕФа оказывались спектакли Георгия Товстоногова, Анатолия Эфроса и, после долгих злоключений, "Гамлет" Юрия Любимова. Далее речь идет о театре 80-х годов и о таких постановках европейской режиссуры, как "Три сестры" и "Дачники" Петера Штайна, о спектаклях венгра Габора Жамбеки, поляков Конрада Свинарского и Анджея Вайды и, наконец, о том, что с конца 90-х годов можно увидеть и на фестивалях Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, кста-

ти, не без влияния БИТЕФа: "Эраритжаритжака" швейцарца Хайнера Гёббельса, спектакли поляка Кристиана Люпы и итальянца Ромео Кастеллуччи. Среди лауреатов Гран-при недавних сезонов — российские режиссеры Петр Фоменко и Андрей Могучий.

Воссоздавая на бумаге облик того или иного спектакля, автор ни на минуту не упускает основной нити своего живого и динамичного повествования: жизни белградского фестиваля с отчаянной борьбой мнений, столкновениями интересов, дискуссиями, спорами, с порой противоположными оценками в белградской критике, которая зрела и набиралась профессионализма вместе с развитием фестиваля.

При этом нередко приводятся оценки того или иного спектакля на родине режиссера, что создает своеобразный контрапункт или, наоборот, параллели восприятию его в Белграде. Это, например, отрывок из статьи российского шекспироведа Алексея Бартошевича о легендарном спектакле Питера Брука "Сон в летнюю ночь" (автор часто цитирует отечественных специалистов по зарубежному театру, и это придает книге основательность и достоверность. В самом деле, не мог же даже очень активный посетитель белградских сезонов видеть своими глазами более 700 спектаклей, показанных за всю историю фестиваля).

Свежее и даже неожиданное впечатление производят характеристики, данные, например, хорватскими критиками спектаклю Эфроса "Вишневый сад" (*Лунный свет в точнейшем измерении*) или разбор отвергнутого американским истэблишментом спектакля Роберта Уилсона "Эйнштейн на пляже", о котором пишет итальянский критик Франко Куадри, не раз бывавший в Белграде. Кстати, именно на примере Уилсона Вагапова прослеживает эволюцию белградской критики и, что очень важно, публики: от наивного любопытства провинциалов к знаменитости при первом знакомстве на юбилейном X фестивале 1976 года до восторженного приема, какой был оказан "Войцеку" Георга Бюхнера, и профессиональных критических разборов в 2002 году. Этот пример говорит о том влиянии, которое оказал международный фестиваль со строгим отбором лучшего, что есть в мировом сценическом искусстве, не только на воспитание вкуса, но и на изменение духовной атмосферы Белграда.

Книга о международных театральных сезонах в Белграде построена в основном по хронологическому принципу. С первых страниц читатель погружается в то время, когда начиналась новая страница европейской истории, отмеченная разными формами проявления общественного несогласия, в частности, студенческими бунтами в Париже, "Пражской весной" 1968 года да и выступлениями молодежи и интеллектуалов в самом Белграде, столице тогдашней Социалистической Федеративной Республики Югославии, в которых принимали участие и люди театра. И это отразилось на репертуаре и характере спектак-

лей из разных республик Югославии, описанных в первой главе "Истоки. Конец 60-х". Автор продолжает эту тему в главе второй, единственной, где расширяется хронология событий: "Дух протеста, жажда обновления. Политический театр 60—90-х годов". Вагапова совершенно оправданно называет БИТЕФ того периода "фестивалем политической ереси". В первые годы в его программах уделялось большое внимание авангардным коллективам из США, выражавшим идеи контркультуры с яркой антибуржуазной окраской: театрам Джудит Малина и Джулиана Бека, Ричарда Шекнера, Питера Шуманна, Джозефа Чайкина. Далее Вагапова обыгрывает тему интерпретаций шекспировского "Гамлета" и вариаций на темы Великой Французской революции — в сценических иносказаниях любая революция в конце концов превращалась в Сатурна, пожирающего собственных детей. Завершается глава реконструкциями белградских спектаклей 90-х годов, все более открыто выражавших неприятие большей частью сербского общества агрессивного национализма и милитаристских устремлений режима Слободана Милошевича.

Далее, поскольку речь идет о еще не завершившейся эпохе постмодернизма, автор предлагает периодизацию по десятилетиям и дает им интригующие определения: "Новая театральность и сила сценических безумств. Прекрасные 70-е, бурные 80-е"; "Театр и паратеатр. Кризисные 90-е"; "Новый мировой (театральный) порядок. На пороге XXI века". Завершает книгу написанная вместо заключения главка "Продолжение театральной авантюры", посвященная программе 2007 года. Каждая из этих глав — это живой, интересный рассказ о радостях и печалях современного сценического искусства, жрецы которого по-прежнему каждый год во второй половине сентября устремляются в Белград.

Книга Вагаповой обогащает нас знаниями не только о театре, но и о бурной политической и общественной жизни Балкан, о культуре шести республик, которые двадцать лет назад образовались на месте империи президента Тито: Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Практически во всех главах книги речь не раз заходит о протестных акциях писателей, ученых и студенческой молодежи в 60—90-е годы, которые свидетельствовали о кризисе югославского варианта "социализма с человеческим лицом". На их фоне и проходили столь разные по своей художественной и экзистенциальной направленности сезоны БИТЕФа, который, как подчеркивает автор, ни на один день не прекращал своей деятельности даже в условиях вооруженных конфликтов.

Особую часть монографии составляют синхронистические таблицы (современная гуманитарная наука, особенно на Западе, всё чаще прибегает к подобного рода приемам систематизации материала). Они помещены в конце книги и помогают ориентироваться во

множестве культурных и общественных процессов, оказавших влияние и на программы фестиваля, и на восприятие их критикой. Не ограничиваясь сведениями сугубо фестивально-театральными и фактами из истории "порохового погреба Европы", как в очередной раз окрестили Балканский полуостров журналисты, наблюдавшие распад Югославии и войну 1991—1995 годов, автор стремится поместить деятельность БИТЕФа в контекст мировых политических и общественных событий и, нельзя не отметить, это ему прекрасно удается. К месту и сведения о присуждении Нобелевских премий по литературе за сорок лет, прошедших со дня основания фестиваля до выхода в свет рецензируемой книги. Среди лауреатов-нобелиантов немало драматургов, чьи пьесы исполнялись на международных подмостках Белграда (Самюэль Беккет, Гарольд Пинтер, Дарио Фо) и прозаиков, романы которых положены в основу премированных спектаклей (упомянем хотя бы только Томаса Бернхардта и Элиаса Канетти).

В сентябре 2011 года состоялась презентация книги Натальи Михайловны Вагаповой в Белграде, в Театральном музее Сербии.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

"Мир — это глобальная деревня", — провозгласил еще полвека назад американский философ Маршалл Маклюэн: в 1962 году вышла его "Галактика Гутенберга" ("The Gutenberg Galaxy"), а в 1964-м — "Постижение медиа" ("Understanding Media"). "Мир — плоский, маленький, пустой и не имеет основания", — так начинает свою вышедшую в 2007-м книгу *Das ABC der Medien* немецкий философ **Норберт Больц** (*Азбука медиа*. Пер. с немецкого **Л. Ионина** и **А. Черных**. — М.: Издательство "Европа", 2011. — 136 с. — Серия "Политучеба").

Оба утверждения эффектны, парадоксальны и адекватны своему времени. Маклюэн описывает четвертую эпоху развития человеческой коммуникации, эпоху массмедиа (первые три — устная речь, письменность и книга), слегка отодвинувшей в сторону ту самую книжную "Галактику Гуттенберга"; Больц же фиксирует наступление пятой, а затем и шестой.

За прошедшие полвека, по мнению Больца, в сфере коммуникаций случились два великих события. Первое — это дигитализация, то есть перевод информационных потоков в цифровой формат и перенос их во всемирную электронную сеть с глобальным и мгновенным доступом. Второе же, не менее значимое и на сегодняшний день более актуальное событие, — это происходящее практически на наших глазах и с нашим непосредственным участием так называемое осетевление.

Осетевление — это качественно новый этап развития медиа. Суть его в том, что информационные потоки в Сети превращаются для индивида из цели в средство: главным становится не столько содержание информации, сколько факт коммуникации по поводу информации. "The Medium is the Message", то есть "Канал информации и есть ее содержание" или "Средство сообщения и есть сообщение" — тако-

БиблиофИЛ

ва была классическая маклюэновская формула, характеризующая эпоху массмедиа. Формула же нынешней эпохи: "Коммуникация и есть сообщение" или — в более афористичном варианте — "Сообщение есть прежде всего общение".

В гутенберговскую эпоху читали не столько книгу вообще, сколько конкретную книгу конкретного автора. В эпоху массмедиа стало возможным просто "слушать радио" или "смотреть телевизор" (или же, напротив, принципиально "не смотреть телевизор") — то есть акцентировать внимание не на содержании информации, а на техническом средстве ее трансляции. Появление интернета породило и количественные, и качественные сдвиги в коммуникации: невероятный рост объема информации приводит к тому, что ее восприятие становится все более и более поверхностным, а интерактивная структура Сети дает возможность каждому ее пользователю перейти из статуса пассивного потребителя (читателя, зрителя) в статус активного автора, "производителя" информации.

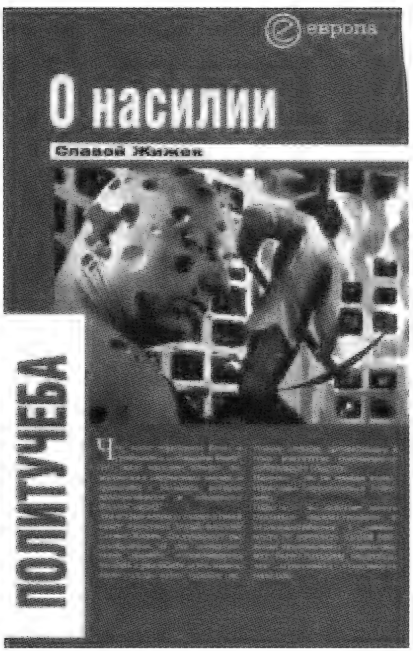
Ключевым же моментом процесса осетевления стало появление — и последующий взрыв популярности — социальных сетей: именно в них перенос акцента с предмета коммуникации на сам ее факт заметен прежде всего. Неважно, о чем говорить, главное — участвовать в процессе: выкладывать сообщения и комментарии, собирать "лайки", пополнять число "друзей". Изменение пользовательских установок меняет и общие законы развития коммуникационных процессов в Сети. Поскольку собственно информация превращается из цели во вспомогательное средство, основным итоговым "продуктом" развития парадоксальным образом становятся сами виртуальные социальные структуры: сложные конфигурации "друзей" и разнообразные тематические группы. И новой, актуальной для эпохи осетевления формулой становится вариант "Общение — это общность"; общность прежде всего в смысле "социальное сообщество"

В какой-то степени с книгой Больца перекликается другая вышедшая в том же издательстве "Европа" книга: *Размышления в красном свете: коммунистический взгляд на кризис и сопутствующие предметы* словенского философа **Славоя Жижека** (пер. с английского **Артема Смирнова**, **Михаила Рудакова**, **Армана Абельсиитова**. — М.: 2011. — 476 с.). Российского читателя слово "коммунистический" в подзаголов-

ке может, конечно, смутить; однако ничего общего со Сталиным или Зюгановым оно в данном случае не имеет. Жижек употребляет его в некоем нейтрально-обновленном смысле, пытаясь наложить классическую схему анализа капиталистических отношений, предложенную еще в позапрошлом веке Марксом, на современные реалии информационной эпохи. И главная зацепка автора в том, что слово "коммунизм" трактуется здесь как однокоренное со словом "коммуникация". Возвращаясь к "линейке" актуальных медийных формул — в английском варианте формула "Общение — это сообщество" будет звучать вполне "по-коммунистически": "Communication is Community".

Жижек, конечно, прекрасно понимает, что коммунизм как общество тотального материального изобилия — это утопия; однако он разделяет вывод Маркса о том, что свободное развитие капитализма (при котором хозяином мира фактически становится не человечество, а самовозрастающий капитал, вполне способный в процессе безостановочной погони за прибылью это человечество уничтожить) ведет наш мир к катастрофе, знаками которой становятся регулярные и все более глубокие финансово-экономические кризисы. И коммунизм, понятый как солидарность, "коммунитарность" (в противопоставлении индивидуализму и эгоизму), для Жижека представляется не только желанной, но и реальной альтернативой.

Неким прообразом новых "коммунитарных" структур могут служить как раз сетевые социальные сообщества. Во всяком случае, экономические механизмы реального мира сопоставимы с информационными механизмами мира виртуального. Движущей силой капитализма являются деньги, а значение отдельной личности, ее "социальный капитал" определяется в первую очередь суммой, которой она обладает. В виртуальном же мире функцию денег выполняет информация, а статус личности определяется степенью "социализации": количеством друзей, подписчиков, местом в сетевой структуре — то есть поговорка "Не имей сто рублей, а имей сто друзей" воплощается здесь абсолютно буквально. Впрочем, понятно, что в данной книге Жижек выступает в привычной для него роли эффектного парадоксалиста.



Еще более ярко семантический парадоксализм, игра со смыслами проявляется в другой, несколько ранее изданной "Европой" (в той же серии "Политучеба") книге **Жижека** *О насилии* (перевод с английского **Артема Смирнова**, **Екатерины Ляминой**. — М.: 2010. — 184 с.). Насилие, по Жижеку, — это не какие-то реальные действия; само отсутствие действия может быть в определенных контекстах проявлением фактического насилия. В иных же ситуациях реальное насилие может трактоваться как *божественное*; в этой связи Жижек цитирует Че Гевару, утверждавшего, что *истинным революционером движет великая любовь*. И тут уже задумываешься: хотя Че Гевара, конечно, авторитет, но такого рода семантические игры все-таки потенциально чреваты классическими оруэлловскими лозунгами типа "Война — это мир".

Сэм Сэвидж
Sam Savage
[р. 1940]. Американский прозаик, поэт. Доктор философии.

Автор романов *Фирмин* [*Firmin*, 2006; рус. перев. 2010], *Крик зеленого ленивца* [*The Cry of the Sloth*, 2009; рус перев. 2011] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Glass* [Coffee House Press, 2011].

Людвиг Фельс
Ludwig Fels
[р. 1946]. Немецкий прозаик, драматург, поэт; член немецкого ПЕН-центра [1981], живет в Вене. Лауреат многих премий, в том числе Кранихштайнской литературной премии [1992], премий имени Вольфганга Кёппена [2004] и Вольфрама фон Эшенбаха [2011].

Автор романов *Искушение Крума* [*Krums Versuchung*, 2003], *Путешествие к центру сердца* [*Reise zum Mittelpunkt des Herzens*, 2006] и др., автобиографической книги *Парки Палилулы* [*Die Parks von Palilula*, 2009], пьес *Свадьба в Сараево* [*Die Hochzeit von Sarajewo*, 1994], *День Тиллы* [*Tillas Tag*, 2002] и др., лирических сборников *Отрезвление* [*Ernüchterung*, 1975], *Синяя аллея, отбившиеся татары* [*Blaue Allee, versprengte Tataren*, 1988], *Неважно, где кончается мир* [*Egal wo das Ende der Welt liegt*, 2010] и др.
Публикуемое стихотворение взято из антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

Михаэль Крюгер
Michael Krüger
[р. 1943]. Немецкий прозаик, поэт, издатель и переводчик. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии имени Эрнста Майстера за лирику [1994], французской премии *Медичи* за иностранные романы [1996], Большой литературной премии Баварской академии изящных искусств [2004], премий имени Эдуарда Мёрике [2006] и Йозефа Брайтбаха [2010].

Автор романов *Человек в башне* [*Der Mann im Turm*, 1991], *Виолончелистка* [*Die Cellospielerin*, 2000] и др., сборника рассказов *Из жизни успешного писателя* [*Aus dem Leben eines Erfolgsschriftstellers*, 1998], лирических сборников *Кто поймает лунный свет* [*Wer das Mondlicht fängt*, 2001], *Под чистым небом* [*Unter freiem Himmel*, 2007], *Шаги, тени, дни, границы* [*Schritte, Schatten, Tage, Grenzen*, 2008] и др.
Публикуемое стихотворение взято из антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

Улла Хаан
Ulla Hahn
Немецкая писательница и поэтесса. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии *Леонс и Лена* [1981], премии имени Фридриха Гёльдерлина [1985], премии *Росвита*

Автор романов *Мужчина в доме* [*Ein Mann im Haus*, 1991], *Сокровенное слово* [*Das verborgene Wort*, 2001] и др., поэтических сборников *Сад Эпикура* [*Epikurs Garten*, 1995], *Галилей и две женщины* [*Galileo und zwei Frauen*, 1997], *Яблочно-красный* [*Süßapfel rot*, 2003], *Мир так открыт...* [*So offen die Welt*, 2004] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

[1986], премий имени Герты Кёниг [2006] и Иды Демель [2010].

Гeральд Цшорш
Gerald Zschorsch
[р. 1951]. Немецкий поэт и прозаик, член Саксонской академии искусств [2010]. Лауреат премии немецкого Шиллеровского фонда [2001].

Автор тюремных записок *Только не думайте, что мне грустно* [*Glaubt bloß nicht, dass ich traurig bin*, 1981], поэтических сборников *Складной нож* [*Klappmesser*, 1983], *Городские псы* [*Stadthunde*, 1986], *Гамбит* [*Gambit*, 1988], *Железный Феликс* [*Eiserner Felix*, 1996], *Проходные счастья* [*Torhäuser des Glücks*, 2004] и др.
Публикуемое стихотворение взято из антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

Марион Пошманн
Marion Poschmann
Немецкая писательница и поэтесса, член немецкого ПЕН-центра. Лауреат литературной премии Рурской области [2005], премий имени Петера Хухеля [2011], имени Эрнста Майстера за лирику [2011] и др.

Автор романов *Купанье в непогоду* [*Baden bei Gewitter*, 2002], *Черно-белый роман* [*Schwarzweißroman*, 2005], книги *Собачья новелла* [*Hundenovelle*, 2008], поэтических сборников *Закрытые комнаты* [*Verschlossene Kammern*, 2002] и *Духовидение* [*Geistersehen*, 2010].
Публикуемое стихотворение взято из антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

Эва Штриттматтер
Eva Strittmatter
[1930–2011]. Немецкая поэтесса и писательница. Лауреат премий имени Генриха Гейне министерства культуры ГДР [1975], имени Вальтера Бауэра [1998] и литературной премии *вер.ди* [2008], кавалер ордена *За заслуги* земли Бранденбург [2010].

Автор детских книг *Братец Четырехножка* [*Brüderchen Vierbein*, 1958], *О коте, которому предстояло стать человеком* [*Vom Kater, der ein Mensch sein sollte*, 1959], *Еж* [*Der Igel*, 1985] и др., поэтических сборников *Любовь и ненависть* [*Liebe und Hass*, 2002], *Ландшафт* [*Landschaft*, 2005], *Моим друзьям из Шульценхофа* [*Für meine Schulzenhof-Freunde*, 2008], *Дикая груша* [*Wildbirnenbaum*, 2009], *Интерлюдия* [*Zwischenspiel*, 2010] и др.
Публикуемое стихотворение взято из *Полного собрания стихотворений* [*Sämtliche Gedichte*. Berlin: Aufbau Verlag, 2006].

Ойген Гомрингер
Eugen Gomringer
[р. 1925]. Родился в Боливии, в швейцарско-боливийской семье, с начала 50-х живет в Германии. Считается основателем *конкретной поэзии*. Член Берлинской академии искусств [1971], основатель Ин-

Опубликовано *Полное собрание сочинений* Гомрингера в четырех томах [*Gesamtwerk*, I – IV, 1995–2006].
Публикуемое стихотворение взято из антологии *В этой стране. Стихи 1990–2010 годов* [*In diesem Land. Gedichte aus den Jahren 1990–2010*. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2010].

ститута конструктивного искусства и конкретной поэзии в баварском Рехау [2000]. Лауреат Культурной премии города Рехау [1997], премии *Punta Tragara* за *конкретную поэзию* [2007], кавалер баварского ордена *За заслуги* [2008]. Преподаватель поэтики в университете Кобленц-Ландау [с 2010]. Принадлежавшая ему художественная коллекция составила основу фонда *Музея конкретного искусства* в Ингольштадте.

Дурс Грюнбайн
Durs Grünbein
[р. 1962]. Поэт, эссеист, переводчик с древнегреческого. Лауреат Марбургской литературной премии [1992], премий имени Георга Бюхнера и Петера Хухеля [1995], международной литературной премии *Шпайхер* Фонда замка Лойк [2001], премий имени Фридриха Ницше [2004], Фридриха Гёльдерлина [2005], Самуила Богумила Линде [2009] и др., кавалер ордена *За заслуги перед наукой и искусством* [2008], большого креста со звездой *За заслуги* Федеративной республики Германии.

Автор поэтических сборников *Серая зона утром* [*Grauzone morgens*, 1988], *Лекция об основании черепа* [*Schädelbasislektion*, 1991] и др., поэм *О снеге, или Декарт в Германии* [*Vom Schnee, oder Descartes in Deutschland*, 2003], *Фарфор. Поэма о гибели моего города* [*Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt*, 2005], сборников эссе *Галилей измеряет Дантов ад...* [*Galilei vermißt Dantes Hölle...* 1996; рус. перев. трех эссе в *ИЛ*, 1998, № 1], *Картезианский нырялыщик* [*Der cartesische Taucher*, 2008] и др. На русском языке опубликованы *Избранные стихотворения* [2007; перев. Е. Соколовой] и подборка стихов из книги *Строфы на послезавтра* [*Strophen für Übermorgen*, 2007, в переводе А. Прокопьева; *ИЛ*, 2009, № 10].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Подражая сатирам* [*Nach den Satiren*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999] и антологии *Немецкие стихи* [*Deutsche Gedichte*. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag, 2009].

Пол Гэллико
Paul Gallico
[1897 – 1976]. Американский писатель.

Автор книг *Снежный гусь* [*The Snow Goose*, 1941; рус. перев. 1941], *Дженни* [*Jennie*, 1950; рус. перев. 1995], *Ослиное чудо* [*The Small Miracle*, 1951; рус. перев. 1995], *Любовь к семи куклам* [*Love of Seven Dolls*, 1954], *Томасина* [*Thomasina*, 1957; рус. перев. 1995], *Цветы для миссис Харрис* [*Flowers for Mrs. Harris*, 1958; рус. перев. 1995], *Миссис Харрис едет в Нью-Йорк* [*Mrs. Harris goes to New York*, 1960; рус. перев.2003] и др.
Рассказ взят из сборника *Great Stories about Show Business* [New York: Coward-McCann, 1945].

Ян Карский
Jan Karski
[1914 -2000]. Участник польского движения сопротивления, легендарный курьер Армии Крайовой во время Второй мировой войны. Праведник мира. Награжден высшим польским орденом *Орла* [1995]. Почетный доктор восьми университетов США и Польши.

Публикуемый текст взят из книги *Mon témoignage devant le monde. Histoire d'un Etat clandestine* [Robert Laffont, 2010].

Жорж Перек
Georges Perec
[1936–1982]. Французский писатель, журналист, сценарист, кинорежиссер.

Автор романа *Вещи* [*Les Choses, 1965*, премия Ренодо; *ИЛ*, 1967, № 4], экспериментально-игровых книг *Спящий* [*Un homme qui dort*, 1967; экранизация автора, 1974, кинопремия Жана Виго], *W, или Воспоминание детства* [*W ou le souvenir d'enfance*, 1975; рус. перев. 2002], *Я помню* [*Je me souviens*, 1978; экранизация, 1986; рус. перев. 2001], *Жизнь способ употребления* [*La Vie mode d'emploi*, 1980, премия Медичи; рус. перев. 2009], *Кунсткамера* [*Un cabinet d'amateur*, 1979; рус перев. 2001]. В *ИЛ* опубликованы также фрагменты книги *Темная лавочка* [2003, № 12].
Публикуемый текст печатается по изданию *Penser/Classer* [Hachetle, 1985].

Дмитрий Александрович Померанцев
[р. 1974]. Писатель, журналист. Ведущий колонки книжных рецензий в журналах *Прием* и *Крупный план*.

Стихи и проза публиковались в журналах *Нижний Новгород*, *Urbi*, *Техника – молодежи* и *Юный техник*. В *ИЛ* опубликовано его послесловие к роману Ж. Сарамаго *Слепота* [2008, № 3], рецензия на книгу М. Варгаса Льосы *Похвальное слово мачехе* [2008, № 12].

Григорий Геннадиевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его записки *По Ирландии* [2008, № 7], *Homeroom* [2009, № 12], а также переводы стихов Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4], Э. Берни [2006, № 11], П. Лейна [2006, № 11], М. Ондатже [2006, № 11], Д. Махуна [2007, № 6], П. Малдуна [2007, № 6], Л. Макниса [2007, № 6], Т. Лакса [2007, № 9], Дж. Грэм [2007, № 9], М. Уолтерс [2010, № 7], эссе Ш. Хини [2007, № 6].

Александр Михайлович Стесин [р. 1978]. Русский поэт, исполнитель собственных песен, переводчик современной американской поэзии на русский язык. С 1990 г. живет в США.

Автор книг стихов *Мягкий дым тополей* [1998, на русском, английском и французском языках], *Точка отсчета* [Нью-Йорк: Слово / Word, 2002; на русском, английском и французском языках], *Часы приема* [М.: Русский Гулливер, 2010] и др. В *ИЛ* печаталась документальная повесть *Приди и возьми* [2011, № 2, 6].

Александр Яковлевич Ливергант [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта и Д. Китса, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Лариса Александровна Савельева Филолог-славист, переводчик с сербского и хорватского языков. Лауреат премии Библиотеки журнала *Иностранная литература* [1997].

В ее переводе публиковались произведения Д. Илича, Д. Угрешич, В. Драшковича, М. Павича, Г. Петровича, Н. Тодоровича, Н. Фабрио и др., работы сербских и хорватских авторов по истории, социологии и политологии. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Елена Суриц [Елена Александровна Богатырева]

В ее переводе издавались романы Дж. Остин, У. Голдинга. Дж. Стейнбека, С. Беллоу. Д. Томаса, Р. М. Рильке, К. Гамсуна, Б. Маламуда, пьесы А. Стринберга, Э. Ионеско, сце-

Переводчик с английского, немецкого, французского и скандинавских языков. Лауреат премий *Инолит* [1994, 2006, 2009], *Единорог и Лев* [2006], *Мастер* [2006].

нарии И. Бергмана и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались романы *Я в замке король* С Хилл [1978, № 1—2], *Миссис Дэллоуэй* [1984, № 4], *Орландо. Биография* [1994, № 11], *Волны* [2001, № 10] и *Между актами* [2004, № 6] В. Вулф, *Мастер Джорджи* [2001, № 7] и *Согласно Куини* [2004, № 12] Б. Бейнбридж, *Пир* [2008, № 9] и *Не беспокоить* [2008, № 9] М. Спарк, *Море* Дж. Бэнвилла [2006, № 10], *Миссис Шекспир* Р. Ная [2009, № 6], *Мемориал* К. Ишервуда [2011, № 3] и др.

Марина Марковна Науйокс
Экономист, кандидат наук, переводчик немецкой поэзии. С 2005 г. живет в Берлине.

Ее переводы из Курта Тухольского публиковались в берлинском литературном журнале *Студия*. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны немецкие стихи и фельетоны 20—30-х годов [2011, № 2].

Олег Вениаминович Дорман
[р. 1967]. Кинорежиссер, драматург, переводчик с английского.

В его переводе опубликованы книга *Мастер-класс* К. Кеслёвского, сборник рассказов *Шутки Господа* В. Аллена, книги и статьи зарубежных кинематографистов. В *ИЛ* в его переводе печатались рассказы [2001, № 1] и пьеса *Риверсайд-драйв* [2004, № 7] Вуди Аллена.

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премий *Иноллитл* [1999] и имени Мориса Ваксмахера [2001].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* в ее переводе печатались *Песни Мальдодора* Лотреамона [1993, № 1], романа А. Сарразен *Перелом* [1993, № 10—11], Э. Ажара *Голубчик* [1995, № 7], А. Нотомб *Антихриста* [2004, № 10], Дай Сы-цзе *Комплекс Ди* [2005, № 8], миниатюры [2002, № 7] и мини-рассказы Ф Делерма [2006, № 9], пьеса Э.-Э. Шмита *Гость* [2004, № 6], фрагменты книги П. Брюкнера *Вечная эйфория* [2006, № 3], фрагменты романа Р. Де Са Морейры *Книжник* [2007, № 11] и др.

Валерий Михайлович Кислов
[р. 1963]. Переводчик с французского, поэт, прозаик, эссеист. Доктор филологических наук.

Автор многих статей о литературе и художественном переводе. В его переводе издавались произведения Б. Виана, Р. Кено, Ж. Перека, П. Фурнеля, К. Бейли, Р. Барта, С. Гензбура. В *ИЛ* опубликован его перевод романа Р. Кено *С ними по-хорошему нельзя* [1997, № 4], а также его статья *Потенциальный перевод* [2009, № 2].

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Эндрю Уайета [1917-2009] *Ренфилд* [1999].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

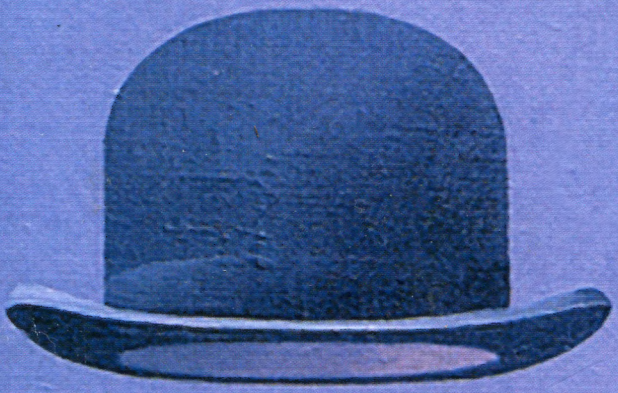
Подписано в печать 15.04.2012
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 90.
Тираж 5500 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[6] 2012

РОМАН АДАМА ФОУЛДЗА “УСКОРЯЮЩИЙСЯ ЛАБИРИНТ” / РАССКАЗЫ ТОМАСА ХЮРЛИМАНА / ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: “УСТРОЕНИЕ САДОВ” ЦЗИ ЧЭНА / ИНТЕРВЬЮ С ПЛЕМЯННИЦЕЙ ФРАНЦА КАФКИ В РУБРИКЕ “ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ОДЕЖДУ” АННЫ ХОЛЛАНДЕР

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2012, №5, 1-288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 12004
9 770130 654770